

**ГЮСТАВ
ФЛОБЕР**



ГОСПОЖА БОВАРИ

Annotation

Роман Флобера «Госпожа Бовари» составил целую эпоху в европейской литературе. Это самое известное произведение знаменитого писателя и одна из лучших книг о любви. Обманчиво простой и удивительно точный стиль романа по сей день считается вершиной французской литературы.

- [Гюстав Флобер](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Глава IX](#)
 - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Глава IX](#)
 - [Глава X](#)
 - [Глава XI](#)
 - [Глава XII](#)
 - [Глава XIII](#)
 - [Глава XIV](#)
 - [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)

- [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Глава IX](#)
 - [Глава X](#)
 - [Глава XI](#)
-

Гюстав Флобер
ГОСПОЖА БОВАРИ
роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

Мы сидели в классе, когда вошел директор в сопровождении «новичка», одетого в городское платье, и классного сторожа, несущего большой пюпитр. Кто спал, проснулся, и каждый встал с таким видом, словно его отвлекли от работы.

Директор подал нам знак сесть; потом, обращаясь к классному наставнику, сказал вполголоса:

— Господин Роже, рекомендую вам нового ученика; он поступает в пятый класс. Если своими занятиями и поведением он будет того заслуживать, мы переведем его в старшее отделение, где ему и следовало бы числиться по возрасту.

Стоявший в углу, за дверью, так что его едва было видно, новичок оказался выросшим на деревенском воздухе парнем лет пятнадцати, ростом всех нас выше. Волосы у него были подстрижены в скобку и падали на лоб, как у сельского причетника; лицо выражало рассудительность и крайнее смущение. Он был вовсе не широк в плечах, но куртка зеленого сукна, с черными пуговицами, должно быть, резала в проймах; а из обшлагов высовывались красные руки, не знавшие, очевидно, перчаток. На ногах, обтянутых синими чулками, болтались высоко вздернутые подтяжками желтоватые панталоны. Обут он был в грубые башмаки, подбитые гвоздями и плохо вычищенные.

Учитель начал спрашивать заданные уроки. Новичок слушал во все уши, напрягая внимание, как на проповеди, не смея даже положить ногу на ногу или облокотиться на стол, и в два часа, когда раздался звонок, нужно было его окликнуть, чтобы он стал с нами в ряды.

У нас был обычай — при входе в класс бросать фуражки на пол, чтобы сразу освободить себе руки; нужно было с порога комнаты зашвырнуть шапку под скамью, ударив ее предварительно об стену и подняв при этом как можно больше пыли: это считалось у нас «шиком».

Не заметил ли новичок этой проделки или же не посмел принять в ней участие — но молитва уже кончилась, а его фуражка все еще лежала у него на коленях. То был сложный, в смешанном стиле, головной убор, в котором можно было различить составные части и меховой шапки, и кивера, и круглой шляпы, и котикового картуза, и ночного колпака, — словом, один из тех убогих предметов, немое безобразие которых глубоко выразительно, как физиономия дурака. Яйцевидной формы и натянутый на китовый ус,

этот головной убор покоился на трех концентрических колбасах; затем, отделенные красной полосой, чередовались ромбы из бархата и кроличьего меха; далее следовал род мешка, кончавшийся многоугольником, подбитым картонкой и покрытым сложной вышивкой из сутажа, а с него на длинном, тонком шнурке свисала маленькая кисточка из позумента в виде желудя. Фуражка была новенькая; козырек блестел.

— Встаньте, — сказал учитель.

Он встал; фуражка упала. Весь класс захохотал.

Он нагнулся, чтобы ее поднять. Сосед ударом локтя вышиб ее у него из рук; он поднял ее снова.

— Да расстаньтесь же с вашей каской, — сказал учитель, большой остряк.

Раздался оглушительный хохот учеников, так сбивший с толку бедного малого, что он уже совсем не знал, что делать ему с фуражкой: оставить ли ее в руках, положить ли на пол или надеть на голову. Он сел на место и положил ее к себе на колени.

— Встаньте, — сказал учитель, — и скажите мне, как ваша фамилия.

Новичок дрожащим голосом пробормотал непонятное имя.

— Повторите!

Послышалось то же бормотание слогов, заглушаемое гиканьем всего класса.

— Громче! — крикнул учитель. — Громче!

Тогда новичок с последнею решимостью раскрыл непомерно рот и всюю грудью гаркнул, словно кого-то звал: «Шарбовари!»

Сразу поднялся шум, усилился в оглушительный гам со взрывами пронзительных выкриков (ученики выли, лаяли, топали ногами, повторяя «Шарбовари! Шарбовари!»); потом рассыпался отдельными нотами, то чуть затихая, то охватывая вдруг целую скамью, на которой то здесь, то там, как плохо потушенная шутиха, вспыхивал подавляемый хохот.

Однако под градом штрафных задач порядок в классе мало-помалу восстановился; и учитель, наконец усвоив имя Шарля Бовари, — после того как он заставил его себе продиктовать, называя букву за буквой, и произнести вслух, — приказал бедняге пойти и сесть на скамью лентяев, у ступеней кафедры. Тот двинулся было, но прежде, чем направиться к месту, вдруг обнаружил нерешительность.

— Чего вы ищете? — спросил учитель.

— Фураж... — робко произнес новичок, беспокойно оглядываясь.

— Пятьсот стихов всему классу! — Эти слова, прогремевшие яростным ревом, остановили, подобно «Quos ego», новую бурю. — Сидите

же смирно! — продолжал учитель в негодовании, отирая лоб платком, вынутым из шапочки. — Что касается вас, новопоступивший, то вы напишите мне двадцать раз *ridiculus sum*, во всех временах. — Потом прибавил более мягко: — Фуражку свою вы найдете; никто ее у вас не крал!

Все притихло. Головы склонились над тетрадами, и новичок сидел два часа образцово, несмотря на то что время от времени шарик жеваной бумаги, пущенный с кончика пера, летел и шлепал ему прямо в лицо. Он только вытирался рукою и продолжал сидеть неподвижно, потупив глаза.

Вечером, в классной комнате, он вынул из пюпитра нарукавники, привел в порядок свои вещи, тщательно разлиновал бумагу. Мы видели, что он работает добросовестно, отыскивает каждое слово в словаре, не жалеет труда. Без сомнения, благодаря этому проявленному им старанию он не был переведен в низший класс, чего следовало бы ожидать, потому что хоть он и знал сносно правила, зато обороты его речи не отличались изяществом. Обучал его начаткам латыни сельский священник в той деревне, где он жил, так как родители, во избежание лишних расходов, желали отдать его в гимназию как можно позже.

Отец его, Шарль-Дени-Бартоломэ Бовари, отставной военный фельдшер, заподозренный в 1812 году во взяточничестве при рекрутском наборе и принужденный около этого времени покинуть службу, воспользовался своею привлекательною наружностью, чтобы подцепить на пути, при перемене карьеры, шестидесятитысячное приданое, представившееся ему в лице дочери шляпного торговца, которая влюбилась по уши в молодцеватого военного. Видный собою, хвастун и враль, он звонко позвякивал шпорами, носил бакенбарды, сливающиеся с усами, унизывал пальцы перстнями, предпочитал в туалете яркие цвета и соединял осанку храбреца с развязностью коммивояжера. Женившись, он прожил два-три года на средства жены, кушая вкусно, вставая поздно, куря из длинных фарфоровых трубок, проводя вечера в театре, шатаясь по кафе. Тесть умер, оставив после себя весьма немного; он пришел в негодование, пустился в промышленность, потерял деньги, потом удалился в деревню, где решил сам хозяйничать. Но так как он смыслил в сельском хозяйстве столько же, сколько в ситцах, ездил верхом на лошадях, вместо того чтобы посылать их в работу, выпивал свой сидр бутылками, вместо того чтобы продавать его бочками, съедал лучшую живность с собственного птичьего двора и смазывал охотничьи сапоги салом собственных свиней, то вскоре увидел, что ему лучше бросить всякую надежду на доходы.

За двести франков в год нанял он в одной деревне на границе

Пикардии и Ко полуферму-полуусадьбу; огорченный, тревожимый поздними сожалениями, обвиняя небо и завидуя всем и каждому, в сорок пять лет он замкнулся, набив себе оскомину от людей, как говорил он сам, и решив жить на покое.

Жена его когда-то была от него без ума и доказывала это в тысяче проявлений рабской покорности, которая его еще более от нее отвратила. Некогда веселая, общительная, любящая, она стала под старость (как откупоренное вино, которое превращается в уксус) сварливой, визгливой, раздражительной. Сколько выстрадала она безропотно, когда видела его бегущим за каждою деревенской юбкой или когда его привозили к ней по вечерам из всевозможных притонов, пресыщенного и пьяного!

В ней заговорила гордость; она замолкла, глотая свою злобу с немым стоицизмом, который сохранила до самой смерти. Она была непрерывно в бегах, в хлопотах. Ходила к адвокатам, к председателю, помнила сроки векселей, вымаливала отсрочки; а дома целые дни гладила, шила, стирала, присматривала за рабочими, платила по счетам, меж тем как барин, ни о чем не хлопоча, погруженный в ворчливую дремоту, от которой пробуждался только, чтобы говорить ей неприятности, курил трубку у камина и плевал в золу.

Когда у нее родился ребенок, пришлось отдать его кормилице. Получив малыша обратно, мать стала баловать его как принца. Она закармливала его сладостями, а отец заставлял бегать босиком и, разыгрывая философа, говорил, что он мог бы ходить и совсем голый, как детеныши зверей. Наперекор стремлениям матери он лелеял в своей голове некий идеал мужественного воспитания, согласно которому и старался возрастить сына, требуя применения спартанской суровости, дающей телу должный закал. Он клал мальчика спать в нетопленной комнате, учил его пить залпом ром и высмеивать крестные ходы. Но, от природы смирный, тот туго поддавался отцовским усилиям. Мать постоянно таскала его за собой, вырезала ему фигурки из бумаги, рассказывала сказки, изливалась перед ним в нескончаемых монологах, полных меланхолической веселости и болтливой ласки. В своем одиночестве она перенесла на ребенка все свое обманутое тщеславие и разбитые надежды. Она мечтала о его будущем высоком положении и видела его уже взрослым, красивым, остроумным, служащим в министерстве путей сообщения или в судебном ведомстве. Выучила его читать, писать и даже — под аккомпанемент старого рояля, который у нее был, — петь два-три романса. В ответ на это господин Бовари, нисколько не увлекавшийся словесностью, говорил, что все это «потерянный труд». Разве у них когда-нибудь хватит средств воспитать

сына в казенном учебном заведении и купить ему должность или торговое дело? К тому же «бойкий человек всегда пробьется в жизни». Госпожа Бовари кусала губы, а ребенок бродяжничал по деревне.

Он ходил за землепашцами, и комьями земли гонял ворон, собирал по канавам ежевику, стерег с хворостиной в руке индюшек, ворошил на лугу сено, бегал по лесу, прыгал на одной ноге с товарищами по плитам церковной паперти в дождливые дни, в праздники умолял пономаря о разрешении ударить в колокол, чтобы всем телом повиснуть на толстой веревке и «ощутить», как она уносит тебя в пространство.

Зато он и вырос как молодой дубок. У него были крепкие руки и здоровый румянец.

Когда ему минуло двенадцать лет, мать настояла на том, чтобы его отдали в учение. Образование его было поручено местному священнику. Но уроки были так мимолетны и случайны, что не могли принести большой пользы. Они давались урывками, в ризнице, на ходу, второпях между крестинами и похоронами; или же священник посылал за своим учеником, когда уже отзвонили Angelus и ему никуда не предстояло идти. Оба поднимались наверх, в комнату кюре, и усаживались; мошки и ночные бабочки кружились вокруг свечи. Было жарко, ученик засыпал; да и сам наставник, сложив на животе руки, вскоре уже храпел с раскрытым ртом. Иной раз священник, возвращаясь от больного при смерти на деревне, которого только что напутствовал, встречал Шарля, занятого какими-нибудь шалостями в поле, подзывал его к себе, отчитывал с четверть часа и пользовался случаем, чтобы заставить его тут же, под деревом, проспрагать глагол. Их прерывал дождь или проходящий мимо знакомец. Впрочем, учитель был доволен учеником и говорил даже, что у «молодого человека» хорошая память.

Воспитание Шарля не могло остановиться на этом. Госпожа Бовари оказалась настойчивой. Пристыженный или, скорее, утомленный ею, господин Бовари уступил без сопротивления; но решили пропустить этот год, когда мальчик готовился к первой исповеди.

Прошло еще шесть месяцев; и год спустя Шарль окончательно был отдан в Руанскую гимназию, куда отец повез его сам в конце октября, в пору Сен-Роменской ярмарки.

Трудно было бы теперь кому-нибудь из нас припомнить о нем что-либо особенное. Мальчик был он смирный, игравший в перемену между уроками, внимательно сидевший в классе, крепко спавший в дортуаре и плотно кушавший в столовой. У него был в городе знакомый — оптовый торговец железом на улице Гантри, который брал его в отпуск раз в месяц

по воскресеньям; когда лавка запиралась, посылал его прогуляться в гавань поглазеть на корабли и в семь часов, к ужину, приводил обратно в гимназию. Каждый четверг, вечером, Шарль писал матери длинное письмо красными чернилами и с тремя облатками. Окончив письмо, он повторял свои записки по истории или читал старый том «Анахарсиса», валявшийся в классной. На прогулках любил разговаривать со сторожем, человеком деревенским, как он сам.

Благодаря прилежанию он числился в посредственных учениках; однажды получил даже похвальный лист по естественной истории. Но по окончании третьего класса родители взяли его из гимназии, предназначая сына медицинской карьере и полагая, что степени бакалавра добьется он собственными силами.

Мать нашла ему комнату в пятом этаже, на Робекской набережной, у знакомого красильщика. Она сама сторговалась о плате за его содержание, достала необходимую обстановку — стол и пару стульев, выписала из деревни старую кровать черешневого дерева и в довершение купила маленькую чугунную печку и запас дров, чтобы дитяtko не мерзло. Потом через неделю уехала — после многократных наставлений и увещаний вести себя хорошо, так как отныне он уже вполне предоставлен самому себе.

Расписание лекций, прочтенное на стенной афише, вызвало у Шарля нечто в роде головокружения: курс анатомии, патологии, физиологии, фармации, химии, ботаники, клиника, курс терапевтики, не считая гигиены и фармакологии, — все это были сплошь непонятные имена неведомого происхождения и которые представлялись ему входами во святилища, полные таинственного мрака.

Он ничего не понимал во всем этом; и сколько ни слушал, не схватывал ничего. А между тем работал, записывал лекции в переплетенные тетради, не пропускал ни одного курса, ни одного обхода. Он выполнял свой ежедневный труд как рабочая лошадь, которая должна кружиться в приводе с завязанными глазами, не зная, для какой надобности она топчется на месте.

Чтобы не вводить сына в ненужные расходы, мать каждую неделю доставляла ему с посыльным кусок жареной телятины; вернувшись утром из больницы, он принимался за свой холодный завтрак, стуча об стену подошвами. Потом предстояло бежать на лекции, в анатомический театр, в госпиталь и возвращаться домой через весь город. Вечером, после скудного обеда у хозяина, он опять уходил наверх, в свою комнату, и принимался за работу, сидя перед накалившеюся докрасна печкой, от жара которой дымилось на нем его промокшее платье.

В ясные летние вечера, когда теплые улицы пустеют, когда служанки играют в волан у дверей домов, он отворял окно и облакачивался на подоконник. Речка, превращающая этот квартал Руана в маленькую грязную Венецию, текла внизу, желтая, лиловая или синяя, между мостами и перилами. Рабочие, сидя на корточках на берегу, обмывали в воде руки до плеч. На шестах, торчавших с чердаков, сушились мотки бумажной пряжи. Прямо перед глазами, за крышами домов, сияло огромное чистое небо с заходящим красным солнцем. Как должно быть хорошо там, за домами! Какая свежесть под буками! И он раздувал ноздри, готовый вдохнуть запах полей, но запах не долетал...

Он похудел, вытянулся, и лицо его приняло жалобное выражение, от которого стало почти интересным.

Случилось как-то само собою, по беспечности, мало-помалу, что он почувствовал себя наконец свободным от всех принятых было решений. Раз он пропустил обход, на другой день не пошел на лекцию и, войдя во вкус лени, перестал вовсе посещать курсы.

Он привык к трактиру, пристрастился к игре в домино. Сидеть по вечерам взаперти в душной, грязной зале заведения и стучать по мраморному столику бараньими костяшками с черными очками представлялось ему драгоценным доказательством независимости и возвышало его в собственном мнении. То было словно посвящение в светскую жизнь, доступ к запретным наслаждениям; и, входя, он брался за ручку двери с какою-то почти чувственной радостью. Тогда многое, что он подавлял в себе, вдруг вышло наружу; он заучил наизусть куплеты и распевал их первой встречной женщине, стал восторгаться Беранже, научился варить пунш и, наконец, познал любовь.

Благодаря этим подготовительным работам он провалился на лекарском экзамене. А в тот вечер его ждали дома, чтобы отпраздновать успешное окончание курса!

Он пустился в путь пешком, остановился на задворках деревни, вызвал мать и рассказал ей все. Она его простила, отнеся неудачу на счет несправедливости экзаменаторов, и несколько подбодрила его, взявшись все уладить. Только через пять лет Бовари-отец узнал истину; но за давностью она уже потеряла значение, и он примирился, уверенный во всяком случае, что человек, родившийся от него, не мог быть дураком.

Шарль снова засел за работу и на этот раз без перерыва подготовил все, что требовалось для испытания, заранее вызубрив наизусть все вопросы. И он прошел с удовлетворительной отметкой. Счастливый день для матери! Она устроила торжественный обед.

Где же предстояло ему применять свои знания? В Тосте. Там был всего один врач, и притом старик. Госпожа Бовари давно уже выжидала его смерти; и старичок еще не успел убраться, как Шарль поселился на противоположной стороне улицы в качестве его преемника.

Но воспитать сына, обучить его медицине и отыскать место для его врачебной практики было еще не все: нужно было его женить. Мать нашла ему подходящую супругу: вдову пристава из Диеппа, ей было сорок пять лет от роду, и она получала тысячу двести ливров годового дохода.

Правда, госпожа Дюбюк была некрасива, суха как щепка, и прыщей на лице у нее было столько, сколько у весны почек на деревьях: все же она могла быть разборчивой невестой. Чтобы достичь своей цели, Бовари-мать должна была устранить других женихов и даже довольно искусно разрушила происки одного колбасника, которого поддерживало духовенство.

Шарль ожидал от брака перемены своего положения к лучшему, воображал, что будет чувствовать себя более свободным и располагать как захочет своей особой и своими деньгами. Но он оказался под башмаком у жены: должен был на людях говорить об одном, молчать о другом, поститься по пятницам, одеваться по вкусу супруги и по ее приказу торопить пациентов, медливших заплатить по счету. Она распечатывала его письма, следила за его действиями, подслушивала в часы приема за перегородкой, когда он принимал в своем кабинете женщин.

Нужно было приносить ей утренний шоколад и ухаживать за ней с бесконечною бережностью. Она непрестанно жаловалась на нервы, на боль в груди, на общее дурное самочувствие. Звук шагов беспокоил ее; когда все уходило, ее тяготило одиночество; если к ней приближались, это было, разумеется, затем, чтобы смотреть, как она умирает. По вечерам, когда Шарль входил в спальню, она протягивала из-под одеяла свои длинные, худые руки, охватывала его шею и, усадив его на край постели, принималась поверять ему свое горе: он забыл ее, он любит другую! Ей предсказывали, что она будет несчастна... И кончала просьбой: дать ей ложку какого-нибудь снадобья — и чуточку больше любви.

Глава II

Однажды ночью, около одиннадцати часов, они были разбужены топотом лошадиных копыт перед их домом. Прислуга отворила слуховое окошко на чердаке и некоторое время переговаривалась с человеком, стоявшим внизу, на улице. Он приехал за доктором, с письмом. Настази, дрожа от холода, спустилась по лестнице и стала отмыкать замок, отодвигать засовы. Приезжий оставил лошадь у крыльца и, идя вслед за служанкой, оказался позади нее в спальне. Из шерстяной шапки с серыми кисточками он достал письмо, завернутое в платок, и бережно подал его Шарлю, облокотившемуся о подушку, чтобы читать. Настази держала возле постели свечу. Барыня, из чувства стыдливости, лежала, повернувшись лицом к стене и спиною к присутствующим.

Письмо, припечатанное синим сургучом, содержало просьбу немедленно прибыть на ферму Берто, чтобы вправить сломанную ногу. От Тоста до Берто — добрых верст шесть проселком, через Лонгевиль и Сен-Виктор. Ночь была темная. Молодая Бовари опасалась, как бы с мужем чего не случилось. Было решено, что посланный поедет вперед, а Шарль тронется в путь тремя часами позднее, когда взойдет луна. Ему вышлют навстречу мальчика, который покажет ему дорогу на ферму и отопрет ворота.

Около четырех часов утра Шарль, плотно закутанный в плащ, выехал на ферму Берто. Еще не очнувшись от теплой неги сна, он отдавался баюкающему покачиванию спокойной рыси. Когда лошадь вдруг останавливалась у обсаженных колючками ям, вырытых по краю межей, Шарль спросонья вздрагивал и, тотчас же вспомнив о сломанной ноге, перебирал усилием памяти все известные ему случаи переломов. Дождь прошел; занималась заря; на голых ветвях яблонь недвижно сидели птицы, топорща перышки под холодным утренним ветром. Плоские поля расстилались, покуда хватал глаз, а купы деревьев вокруг ферм, с широкими промежутками, пятнали черно-лиловыми пятнами необъятную серую равнину, сливающуюся на горизонте с пасмурным небом. Порою Шарль открывал глаза; но вскоре мысль утомлялась, его одолевала дрема, он погружался в оцепенение полусна, где недавние впечатления смешивались с воспоминаниями и сам он двоился, представляясь себе одновременно и студентом, и женатым, то спящим на супружеской постели, как несколько минут тому назад, то шагающим, как некогда, по

операционному залу. Горячий пар компрессов смешивался со свежим запахом росы; ему слышалось позвякивание железных колец у больничных кроватей и дыхание спящей жены... Подъехав к Вассонвилю, он увидел мальчика, спящего на траве у края канавы.

— Вы — доктор? — спросил ребенок.

Услышав ответ Шарля, он взял деревянные башмаки в руки и побежал перед ним.

По дороге, из разговоров с проводником, лекарь сообразил, что старик Руо был, должно быть, один из самых зажиточных сельских хозяев. Он сломал себе ногу накануне вечером, в крещенский сочельник, возвращаясь с соседской пирушки. Жена его умерла два года тому назад. С ним жила «барышня» — дочь, помогавшая ему вести хозяйство.

Колеи стали глубже вблизи фермы. Паренек, юркнув в дыру среди живой изгороди, вдруг исчез и появился снова на дворе, чтобы отпереть ворота. Лошадь скользила по мокрой траве; Шарль нагибался, проезжая под ветвями. Сторожевые псы лаяли у конур и рвались на цепях. При въезде в Берто лошадь вдруг чего-то испугалась и шарахнулась в сторону.

Ферма являла вид достатка и порядка. В конюшнях, через отворенные двери, видны были сильные рабочие лошади, мирно жующие овес из новых колод. Вдоль строений тянулась, дымясь тонким паром, широкая полоса навоза, а на ней, среди кур и индюшек, поклевывали зерна пять-шесть павлинов — роскошь нормандских птичьих дворов. Овчарня была длинная, рига высокая, с гладкими, как ладонь, стенами. Под навесом стояли две большие телеги и четыре плуга с кнутами, хомутами и полной упряжью; на их синие шерстяные покрышки сыпалась из амбара тонкая пыль. Покатый двор был обсажен, через ровные промежутки, деревьями; у маленького пруда весело гоготали гуси.

Молодая женщина, в голубом мериновом платье с тремя оборками, встретила врача на пороге дома и ввела в кухню, где пылал веселый огонь. У огня варился людской завтрак в горшочках разной величины. Мокрая одежда сушилась над очагом. Лопатка для угольев, щипцы, мехи — все было огромных размеров и блестело металлическими частями, вычищенными как зеркало; а длинные полки были уставлены обильною кухонною утварью, отражавшею неровным блеском и яркое пламя очага, и вместе первые лучи заглянувшего в окно солнца.

Шарль поднялся по лестнице в комнату больного. Он лежал в постели, обливаясь потом под одеялами и далеко отбросив в сторону бумажный ночной колпак. То был малого роста толстяк, на вид лет пятидесяти, с белой кожей, голубыми глазами и лысиной ото лба; в уши были продеты

серьги. Возле него на стуле стоял большой графин водки, из которого время от времени он наливал себе стаканчик для бодрости; но при виде доктора его возбуждение упало, и вместо того, чтобы ругаться, как он ругался целых двенадцать часов перед тем, он стал тихо стонать.

Перелом был простой, без всяких осложнений. О более легком случае Шарль не смел и мечтать. Вспомнив приемы своих учителей у постели больных, он старался подбодрить пациента всевозможными остротами, этими хирургическими ласками, похожими на масло, которым смазывают скальпель. Для лубков послали за дранью в сарай. Шарль выбрал одну дранку, разрезал ее на куски и отполировал ее стеклом, пока служанка рвала простыни на бинты, а барышня Эмма шила маленькие подушечки. Так как она долго искала свой швейный несессер, то отец рассердился; она ничего не ответила; но, принявшись за шитье, несколько раз колола себе пальцы и подносила их ко рту, чтобы высосать кровь.

Шарля поразила белизна ее ногтей. Они были блестящие, суживающиеся к концам, глаже диепских изделий из слоновой кости, и подстрижены в форме миндалей. Руки ее, однако, не были красивы, — быть может, недостаточно бледны, с суховатыми суставами пальцев; кроме того, они были слишком длинные, в их очертаниях не было мягкости. Прекрасны были ее глаза: карие, они казались из-под ресниц черными, и взгляд ее был устремлен на собеседника прямо, с чистосердечною смелостью.

Когда нога была перевязана, господин Руо сам пригласил доктора подкрепиться едой перед отъездом.

Шарль сошел в большую комнату нижнего этажа. Два прибора, с серебряными кубками, ждали на накрытом к завтраку столике неподалеку от широкой кровати под пологом из ситца, с изображениями турок. Запах ириса и сырых простынь распространялся от высокого дубового шкафа, стоявшего против окна. По углам были свалены рядами на пол мешки с хлебным зерном — излишек, не поместившийся в соседнюю кладовую, куда вели три каменные ступеньки. Украшением комнаты служила голова Минервы, в золоченой рамке, посредине стены, выкрашенной в зеленую краску, но облупившейся от селитры; под карандашным рисунком были выписаны готическими буквами слова: «Дорогому папаше».

Сначала поговорили о больном, потом о погоде, о стужах, о волках, что рыскают по полям ночью. Барышне Руо жилось в деревне невесело, особенно теперь, когда на нее одну свалились все хлопоты по ферме. В доме было свежо; зубы ее за едой постукивали от холода, причем слегка приподымались ее полные губы, которые она имела привычку кусать в

промежутки молчания.

Шея ее выступала из белого отложного воротничка. Черные волосы, уложенные на голове двумя густыми бандо, как бы сделанными из одной сплошной массы — до того они были гладки, — разделялись посреди головы узким пробором, выдававшим линию черепа; оставляя едва открытыми кончики ушей, они сливались на затылке в пышный шиньон, обрамлявший виски волнистыми локонами, чего деревенский врач еще ни разу в своей жизни не видел. Щеки у нее были розовые. Между двух пуговиц лифа был засунут, как у мужчины, черепаховый лорнет.

Когда Шарль, зайдя к старику проститься, опять сошел вниз, готовый пуститься в путь, он застал девушку у окна; прислонясь лбом к стеклу, она смотрела в сад, где ветер опрокинул подпорки на грядах бобов. Она обернулась.

— Что-то ищете? — спросила она.

— Виноват, я оставил здесь хлыст, — ответил он. И принялся шарить по кровати, за дверьми, под стульями; хлыст завалился у стены за мешки с зерном.

Эмма увидела его и нагнулась над мешками. Шарль, из вежливости, бросился туда же и, протянув руку, почувствовал, что грудь его коснулась спины молодой девушки, нагнувшейся перед ним. Она выпрямилась, с зардевшимся лицом, и, взглянув на него через плечо, подала ему плетъ из бычачьей жилы.

Вопреки обещанию быть в Берто через три дня, доктор навестил больного на другой же день; потом стал приезжать два раза в неделю неуклонно, не считая случайных посещений в неположенные сроки и как бы невзначай.

Все, впрочем, шло прекрасно; выздоровление подвигалось правильно, и когда через сорок шесть дней соседи увидели, как дядя Руо собственными силами ковыляет по своей «лачуге», на Бовари стали смотреть как на весьма даровитого медика. Старик Руо говорил, что первые врачи Ивето и даже Руана не могли бы вылечить его успешнее.

А Шарль и не задумывался над вопросом, почему он с такою радостью ездит в Берто. Если бы он над этим подумал, то, вероятно, приписал бы свое рвение серьезности случая или, быть может, надежде на хорошее вознаграждение. Но неужели поэтому поездки в Берто составляли столь пленительное исключение среди скучных занятий его жизни? В эти дни он вставал раным-рано, пускал лошадь в галоп, соскочив с нее, вытирал ноги о траву и, прежде чем переступить порог, натягивал на руки черные перчатки. Он любил, въезжая на двор фермы, задевать плечом

открывающуюся вовнутрь калитку, слушать крик петуха на заборе, быть встреченным выбежавшей прислугой. Ему нравились рига и конюшни, нравился старик Руо, хлопавший его в ладонь для дружеского рукопожатия и величавший его своим спасителем; нравился и стук деревенских башмачков Эммы по чисто вымытым плитам кухни: высокие каблуки увеличивали ее рост, и когда она шла перед ним, деревянные подошвы, быстро подскакивая, щелкали о кожу ботинка.

Она всегда провожала его до первой ступеньки крыльца и ждала, пока ему подведут лошадь. Они уже попрощались и больше не разговаривали; ветер играл выбившимися завитками волос на ее затылке или крутил вокруг ее стана завязки фартука, развевавшиеся, как вымпелы. Однажды в оттепель, когда кора на деревьях была мокрая, а снег на крышах таял, она вышла на крыльцо с зонтиком в руках и раскрыла его. Сизый шелк, пронизанный солнцем, бросал беглые тени на ее белую кожу. Под ним она улыбалась мягкому теплу; и слышно было, как капли одна за другой падали на туго натянутую ткань.

Когда Шарль только что начал ездить в Берто, молодая Бовари каждый раз осведомлялась о больном и в своей приходно-расходной книге отвела господину Руо прекрасную чистую страницу. Но, узнав, что у него есть дочь, понавела справки; оказалось, что барышня Руо, воспитывавшаяся в монастыре у урсулинок, получила, что называется, «образование» — училась танцам, географии, рисованию, умела вышивать, играла на фортепиано. Этого еще недоставало!

«Вот почему, — догадывалась она, — он так расцветает, когда едет к ней; вот зачем надевает он новый жилет и не боится испортить его под дождем! Ах эта женщина! Эта женщина!...»

И жена Шарля слепо возненавидела Эмму. Сначала вырывались у нее только намеки, но Шарль не понимал их. Потом она перешла к общим размышлениям на родственные темы. Шарль безмолвствовал, опасаясь бури. Наконец, отвела себе душу в брани напрямик; обвиняемый не знал, что ответить.

«Зачем это он все норовит завернуть в Берто, когда Руо давно здоров? Благо бы деньги платили; а с них еще ничего не получено. Ага! Причина та, что там есть одна особа — светская девица, ученая, рукодельница! Так вот чего ему нужно: ему понадобились городские барышни!»

И начинала сызнова:

— Как, это дочка-то Руо — городская барышня! Скажите пожалуйста! Да у них дед пастухом был, а двоюродный брат едва не попал за буйство под уголовщину. Не стоит, казалось бы, напускать на себя столько важности

и выплывать по воскресеньям в церковь в шелковом платье, ни дать ни взять — графиня! К тому же, если бы не прошлогодняя репа, бедняга едва ли справился бы с недоимками!

Шарлю надоело это слушать, и он прекратил поездки в Берто. Элоиза заставила его присягнуть, положив руку на молитвенник, что он больше туда не поедет: она рыдала и в бешенстве любви осыпала его несчетными поцелуями. Он покорился; но отвага его желаний бунтовала против его рабского поведения, и с каким-то наивным лицемерием он счел в душе, что запрет видаться дает ему право любить. К тому же вдова была суха, у нее были длинные зубы и круглый год она носила черный платок, кончик которого свешивался между лопатками; ее жесткий стан с плоскими бедрами был обтянут узким и слишком коротким платьем, которое открывало ее щиколотки с завязками широких башмаков, скрещенными на серых чулках.

Мать Шарля навещала их время от времени и через несколько дней уже плясала под дудку своей невестки; тогда вдвоем принимались они пилить его своими внушениями и отчитываниями. Ему не следует так много есть! К чему угощать каждого встречного вином? Какое упрямство не носить фуфайки!

В начале весны случилось, что нотариус из Ингувиля, хранитель капиталов вдовы Дюбюк, в один прекрасный день, обещавший попутный ветер, пустился в дальнейшее плавание, увезя с собою все деньги, вверенные его попечением. Правда, у Элоизы кроме доли в торговом судне, оцениваемой в шесть тысяч, был еще дом на улице Св. Франциска; но из всего ее состояния, о котором так много трубили, еще ничего не оказывалось в хозяйственной наличности, если не считать кое-какой мебели да тряпок. Надобно было вывести все на свежую воду. Дом в Дьеппе был заложен и перезаложен: долги подточили его до последней балки. Какие суммы хранились у нотариуса, один Бог ведал, а доля в судне не превышала тысячи экю. Итак, милая барынька изволила налгать! В ярости Бовари-отец сломал о пол стул, укоряя жену за то, что она погубила сына — запрягла его на всю жизнь с клячей, у которой сбруя не стоит шкуры. Оба приехали в Тост. Начались объяснения, сцены. Элоиза в слезах кинулась на шею мужу, умоляя защитить ее от его родных. Шарль за нее заступился, родители рассердились и уехали.

Но удар был нанесен. Неделью спустя, когда она развешивала белье на дворе, у нее пошла горлом кровь, а на другой день — Шарль в эту минуту, отвернувшись от нее, задерживал оконную занавеску — она вскрикнула: «Ах, боже мой», испустила вздох и лишилась сознания. Она была уже

мертва! Какая неожиданность!

Когда все было кончено на кладбище, Шарль вернулся домой. Он никого не застал внизу; поднялся в комнату жены, увидел ее платье, висевшее у алькова, в ногах кровати, и, облокотясь о письменный стол, просидел до вечера в грустном раздумье. Как-никак, она все же его любила!

Глава III

Однажды утром явился к Шарлю старик Руо и принес ему плату за лечение ноги: семьдесят пять франков, монетами в сорок су, и индюшку в подарок. Он слышал о его горе и принялся утешать его, как умел.

— Знаю сам, что это такое! — говорил он, хлопая его по плечу. — Сам был в вашем положении! Как схоронил покойницу, все, бывало, норовлю забрести подальше; брожу в поле, чтобы глаз мой никого не видел; брошусь наземь, под деревом, плачу, призываю Господа Бога, всякий вздор Ему говорю; и зачем я, мол, не этот крот, у которого черви брюхо съели, — хочу, дескать, издохнуть. А как подумаю, бывало, что вот другие сидят себе в эту самую минуту со своими женками да целуются, — палкой по земле колючу со злобы; чуть что разумом не рехнулся; не ел, не пил; о трактире и вспомнить противно, поверите ли? И что же бы вы думали, мало-помалу, потихоньку да полегоньку, день за днем, за зимой весна, за летом осень, крошка за крошкой, капля за каплей, — отошло оно, горе-то, разошлось, что ли, будто на дно осело хочу я сказать, потому что как-никак, а все ж остается что-то внутри человека, тяжесть какая-то на груди! Но ведь уж это, так сказать, общая всем участь, и нельзя, знаете ли, себя изводить; другие умирают, так и я, мол, тоже хочу... Встряхнуться вам надобно, господин Бовари, оно и пройдет! Приезжайте-ка к нам; дочь вас время от времени, знаете, поминает, говорит так, что вы ее совсем забыли. Скоро весна; на охоту вас потащим — кроликов стрелять, это вас порассеет.

Шарль последовал его совету. Он приехал в Берто и нашел все по-старому, словно он побывал здесь накануне, а минуло целых пять месяцев. Груши уже цвели, и добряк Руо, будучи ныне в полном обладании своими ногами, сновал без усталости туда и сюда, что придавало ферме немалое оживление.

Считая долгом оказывать доктору особливую вежливость, ввиду его горестного положения, он то и дело просил его не снимать шляпы, говорил с ним вполголоса, как с больным, и даже притворился рассерженным, что для него не приготовили какого-нибудь особого, более легкого кушанья, как, например, крема или компота из груш. Он рассказывал анекдоты. Шарль поймал себя несколько раз на проявлениях неуместной в его положении веселости; он вспоминал о жене, и смешливость сменялась угрюмой сосредоточенностью. За кофе он уже забыл о своем трауре.

По мере того как он привыкал жить один, все реже думал он о

покойнице. Новая прелесть независимости была отрадой его одиночества. Он мог теперь по произволу менять часы обеда и завтрака, уходить из дому и возвращаться, не давая в этом никому отчета, а утомясь, вытягиваться на постели во всю длину своего тела и во всю ширину кровати. Он нежился, холил себя и выслушивал утешения, с которыми к нему приходили. С другой стороны, смерть его жены оказала некоторую услугу его врачебной практике, так как целый месяц все повторяли: «Ах, бедный молодой человек! Какое несчастье!» Имя его стало более известным, число его пациентов увеличилось; к тому же он мог ездить в Берто когда ему вздумается. В нем жила какая-то беспредметная надежда, он испытывал неопределенное счастье; разглаживая перед зеркалом бакенбарды, он находил, что лицо его стало как-то приятнее.

Однажды он приехал на ферму около трех часов пополудни; все были в поле; он вошел в кухню и сначала не заметил Эмму: ставни были закрыты. Сквозь их щели протягивались по полу длинные, тонкие полосы света, ломались по углам мебели и дрожали на потолке. На столе по невымытым стаканам ползали мухи и с жужжанием тонули в остатках сидра. Свет проникал через трубу, и сажа на плите казалась бархатистой, а остывшая зола слегка голубела. Между окном и очагом сидела Эмма и шила; она сняла косынку; на ее обнаженных плечах выступали капельки пота.

По деревенскому обычаю, она спросила, не хочет ли он чего-нибудь выпить. Он отказался, она настаивала и наконец, смеясь, предложила ему осушить с нею рюмку ликера. Вынула из шкафа бутылку кюрасо, достала две рюмки, наполнила одну до краев, а в другую чуть капнула и, чокнувшись с ним, поднесла ее ко рту. Так как рюмка была почти пуста, она, чтобы ее опорожнить, закинула голову назад и, вытянув шею и протянув губы, смеялась, что в рот ей ничего не попадает, и кончиком языка, высунутым из-за красивых зубов, лизала дно рюмки.

Она уселась вновь и принялась за работу — за белый нитяный чулок, который штопала; работала она нагнув голову, не произносила ни слова, и Шарль тоже. Воздух снаружи, задувая из-под двери, гнал пыль по плитам; Шарль глядел на эту влекущуюся пыль и слышал только, как стучит у него в висках да кудахчет издали, на дворе, наседка. Эмма порой, чтобы освежить себе щеки, прикладывала к ним ладони рук и опять остужала ладони на железном шаре каминной решетки.

Она стала жаловаться, что уже с начала весны чувствует головокружения; спросила, не помогут ли ей морские купанья; потом заговорила о монастыре, а Шарль о своей гимназии, и слова для беседы

нашлись. Оба поднялись наверх, в ее комнату. Она показала ему свои старые тетради нот, книжки, полученные ею в награду, венки из дубовых листьев, заброшенные на дно шкафа. Еще она говорила ему о своей матери, о кладбище и даже показала в саду грядку, с которой рвала цветы в первую пятницу каждого месяца, чтобы отнести их на ее могилу. Но садовник ничего не умеет; у них такая плохая прислуга! Ей хотелось бы по крайней мере зимой жить в городе, хотя летом деревня, пожалуй, еще скучнее: день тянется без конца... И, смотря по тому, о чем она говорила, ее голос делался то звонким и высоким, то вдруг обволакивался томностью и в замедленных переливах понижался почти до шепота, словно она говорила сама с собой — то радостная, с наивно раскрытыми глазами, то опуская веки, со взглядом потухшим и скучающим, с выражением рассеянно блуждающей мысли.

Вечером, возвращаясь домой, Шарль перебирал по очереди все фразы, ею сказанные, стараясь восстановить их в памяти и дополнить их смысл, чтобы представить себе ту пору ее жизни, когда он еще не знал ее. Но ему не удавалось вообразить себе ее иною, чем какою он увидел ее в первый раз или какою только что оставил. Потом он задумался над тем, что с нею станет, когда она выйдет замуж, — и за кого выйдет? К сожалению, старик Руо богат, а она... так красива! Лицо Эммы постоянно всплывало перед его глазами, и какой-то однозвучный голос, как жужжание волчка, твердил ему на ухо: «А почему бы тебе самому не жениться? Почему бы нет?» Ночью он не мог спать, что-то сжимало ему горло, хотелось пить; он встал, чтобы напиться из кувшина, и отворил окно; небо было усеяно звездами, проносился теплый ветерок, вдали собаки лаяли... Он поглядел в сторону Берто.

Решив, что, в сущности, он ничем не рискует, Шарль дал себе слово сделать предложение, как только представится к тому случай; но всякий раз, когда случай представлялся, страх не найти приличествующих слов зажимал ему рот.

Старик Руо был не прочь стряхнуть с шеи заботу о дочери, которая была ему плохой помощницей в хозяйстве. В душе он оправдывал ее, находя, что это дело не по такой умнице, как его дочь, — проклятое дело, так как из сельских хозяев еще ни один не сделался миллионером. Сам он не только не богател, но еще ежегодно терпел убытки: торговать, правда, был он мастер и находил особенное удовольствие в хитростях ремесла; зато земледелец и хозяин был плохой. Расхаживал, заложив руки в карманы, не рассчитывал издержек на жизнь, не отказывал себе ни в чем: любил хорошо есть, мягко спать, жить в тепле. Ему нужны были крепкий сидр, кровавый

ростбиф, подолгу сбивавшийся кофе с ромом. Обедал он один, на кухне, близ огня, за столиком, который ему приносили уже накрытым, как в театре.

Заметив, что у Шарля разгорались щеки в присутствии его дочери, что означало, что, того и гляди, он попросит ее руки, старик заранее обо всем поразмыслил. Правда, он находил Шарля немного «легковесным»: не такого себе зятя он бы желал; зато лекарь слыл человеком добропорядочным, бережливым, знающим свое дело, и нельзя было ожидать, что он станет торговаться о приданом. А так как дяде Руо приходилось продать двадцать два акра своей земли и заплатить долги каменщику и шорнику, да еще предстояло ставить новый вал в давяльне, то он сказал себе:

— Коли попросит ее руки — куда ни шло, отдам!

К празднику Михаила Архангела Шарль приехал в Берто погостить дня на три. Уж и последний день прошел, как и первые; с часа на час он все откладывал объяснение. Старик пошел его провожать; шли они по выбитой дороге, собирались уже проститься; наступала решительная минута. Шарль дал себе срок до угла изгороди и, когда завернули, наконец пробормотал:

— Дядя Руо, мне хотелось бы вам кое-что сказать.

Остановились. Шарль молчал.

— Ну говорите же, что вы там хотели! Неужто я и сам не знаю, в чем ваше дело? — сказал Руо, посмеиваясь.

— Дядя Руо... дядя Руо... — бормотал Шарль.

— Что ж, я с своей стороны весьма рад, — продолжал фермер. — Девочка, конечно, со мной не заспорит, а все же, знаете, надо и ее спросить. Идите-ка себе домой; и я тоже. Коли она согласна, то — слушайте хорошенько — вам не следует возвращаться к нам, чтобы не будоражить народ, да к тому же и она взволнуется. Но чтобы вы не мучились, я откину ставень у окна настежь, распахну его до стены: издали увидите, стоит только перегнуться через изгородь.

Он ушел.

Шарль привязал лошадь к дереву, побежал в кусты: стал ждать. Прошло полчаса, потом он насчитал еще девятнадцать минут по своим часам. Вдруг раздался удар об стену; ставня распахнулась, и задвижка еще дрожала.

На другой день, в девять часов, он был уже на ферме. Когда он вошел, Эмма покраснела, стараясь для приличия засмеяться. Старик Руо обнял будущего зятя. Заговорили о денежных делах; времени было, впрочем, довольно, так как благопристойность требовала отложить свадьбу до конца

траура по первой жене, то есть до весны будущего года.

Зима прошла в этом ожидании. Барышня Руо занялась приданым. Часть его была заказана в Руане; и еще она сама нашла себе рубашек и ночных чепчиков по модным журналам, которые брала на подержание. Когда на ферму приезжал Шарль, говорили о приготовлениях к торжеству, обсуждали, в какой комнате накрыть свадебный стол, мечтали, сколько будет блюд и что подадут для начала.

Эмма, напротив, желала бы венчаться в полночь, при факелах; но дяде Руо эта затея была совершенно непонятна. Итак, свадьбу сыграли честь честью: присутствовало на ней сорок три человека гостей; за столом сидели шестнадцать часов; празднество возобновилось на другой день и продолжалось еще несколько дней сряду.

Глава IV

Гости съехались спозаранку в разнообразных экипажах — в одноколках, таратайках, старых тарантасах без откидного верха, в рыдванах с кожаными занавесками; а парни из соседних деревень — в телегах, на которых они стояли рядом, держась руками за края, чтобы не упасть, пуская лошадей рысью и выдерживая жестокую тряску. Некоторые прибыли из мест, отстоящих на десятков верст, — из Годервиля, из Норманвиля и из Кани. Созваны были все родственники жениха и невесты; с друзьями, с которыми вышла ссора, возобновлены связи; знакомым, давно потерянным из виду, посланы письменные приглашения.

Время от времени за изгородью слышалось щелканье бича; затворы раздвигались: на двор въезжала повозка. Подкатив к нижней ступеньке крыльца, она круто останавливалась: из нее, справа и слева, выбирался народ, потирая колени и разминая плечи. Женщины были в чепцах, в платьях городского покроя, при часах на золотых цепочках, в пелеринах со скрещенными у пояса концами или в цветных косынках, приколотых на спине булавкой и обнажавших сзади шею. Подростки, одетые как их папаши, чувствовали себя, казалось, неловко в своих новеньких фраках (в тот день многие из них впервые в своей жизни обновили сапоги); а рядом с ними, затаив дыхание, в белом платье, сшитом ко дню первого причастия и ныне удлинённом, конфузилась четырнадцати- или шестнадцатилетняя девица, без сомнения их кузина или старшая сестра, краснолицая, оторопелая, с жирными от розовой помады волосами и очень боящаяся запачкать свои перчатки. Так как не хватало конюхов, чтобы распрячь все повозки, то владельцы их, засучив рукава, принимались за дело сами. Сообразно различию общественного положения, они были одеты во фраки, в сюртуки, в пиджаки, в куртки: добротные фраки, пользовавшиеся уважением всей семьи и вынимавшиеся из шкафа только в торжественных случаях; сюртуки с длинными полами, развеваемыми ветром, с цилиндрическими воротниками, с широкими, как мешки, карманами; пиджаки из толстого сукна, обычно сопровождаемые фуражкой с медным ободком на козырьке; полуфраки с двумя пуговицами на спине, посаженными рядом, словно пара глаз, и фалды которых казались обрубленными топором плотника. Некоторые из гостей (но эти люди сидели уже, разумеется, на нижнем конце стола) были в парадных блузах, то есть блузах с отложными воротниками, с мелкими складочками на спине

и низко подпоясанные матерчатым поясом.

А крахмальные сорочки на груди надувались, как латы! Все мужские головы были только что острижены, уши оттопыривались, подбородки были гладко выбриты; иные встали до зари и, бреясь в темноте, понаделали себе шрамов в виде диагонали под носом и на щеках или ссадин на коже величиною с трехфранковую монету, покрасневших дорогой на ветру, отчего все эти белые, толстые, расцветшие радостью лица были испещрены розовыми пятнами, словно жилками мрамора.

Так как мэрия находилась всего в полуверсте от фермы, туда отправились пешком и пешком вернулись домой по окончании обряда в церкви. Шествие, сначала сплошною цветною лентой извивавшееся по полям вдоль узкой межи между зелеными хлебами, вскоре растянулось и разбилось на отдельные замешкавшиеся за разговором кучки людей. Музыкант шел впереди со скрипкой, разукрашенной пестрыми бантами; за ним следовали новобрачные, родители, знакомые вперемешку, а позади, отставая, шли дети, срывали, забавляясь, колосья овса, втихомолку шалили. Платье Эммы, слишком длинное, волочилось по земле; порой она останавливалась, приподымая его, и тонкими пальчиками в перчатках отряхала с подола сухие былинки и колючки репейника, между тем как Шарль, опустив руки, ждал, пока она кончит. Дядя Руо, в новом цилиндре и во фраке, обшлага которого покрывали ему руки до ногтей, вел под руку госпожу Бовари-мать. Что касается Бовари-отца, презиравшего, в сущности, весь этот люд и явившегося запросто в одnobортном сюртуке военного покроя, — он отпускал рискованные любезности молодой белокурой крестьянке, которая приседала, краснела и не знала, что отвечать. Остальные гости толковали о делах или подталкивали друг друга в спину, заранее подбодряясь к разгулью. Прислушавшись, все время можно было различить гудение и треньканье скрипки, продолжавшей играть среди полей. Когда скрипач замечал, что гости далеко отстали, он останавливался, переводил дух, долго натирал смычок канифолью, чтобы струны визжали громче, потом трогался дальше, то поднимая, то опуская ручку своей скрипки, в такт шагал; пиликанье скрипицы уже издали спугивало птичек.

Стол был накрыт в сарае. На нем возвышались четыре жарких, шесть фрикасе из цыплят, тушеная телятина, три бараньих ноги, посредине — хорошенький жареный молочный поросенок, окруженный четырьмя колбасами, под щавелем, а по углам — графины с водкой. Сладкий сидр в бутылках вскипал густою пеной вокруг пробок, и все стаканы заранее были до краев наполнены вином. Огромные блюда с желтым кремом дрожали

при малейшем толчке; на гладкой их поверхности завитушками из леденца были выведены вензеля новобрачных. Для тортов и миндального теста выписали кондитера из Ивето. Так как он выступал в этих местах в первый раз, то все изготовил старательно и за десертом сам подал свадебный пирог, вызвавший громкие восклицания. Основанием его служил четырехугольник из синего картона, изображавший храм с выступами, колоннадами и лепными статуями в углублениях, усеянных звездами из золотой бумаги; второй ярус составляла башня-торт, окруженная бойницами из цукатов, миндаля, изюма, апельсиновых ломтиков; и наконец, на верхней площадке — подобии зеленого луга со скалами, озерами из варенья и лодочками из ореховой скорлупы — маленький амур качался на шоколадных качелях, столбы которых расцветали двумя бутонами живых роз.

Угощались до самого вечера. Устав от долгого сидения, шли прогуляться по двору или сыграть партию в пробки в риге, а потом опять садились за стол. Несколько человек к концу обеда захрапели. Но за кофе все оживилось; гости затянули песни, стали состязаться в силе и ловкости, поднимали тяжести, показывали при помощи большого пальца фокусы, пробовали взваливать на плечи телеги, говорили непристойности, целовали женщин. Вечером, перед разъездом, лошади, наевшиеся овса по горло, не хотели становиться в оглобли: брыкались, вставляли на дыбы, рвали сбрую; их хозяева ругались или хохотали; и всю ночь, при свете луны, по окрестным дорогам неслись вскачь таратайки, взлетая на рытвинах, перемахивая через кучи булыжника, задевая за придорожные кусты: женщины высовывались за дверцы и схватывали вожжи.

Оставшиеся в Берто всю ночь напролет пировали на кухне. Дети уснули под лавками.

Новобрачная умоляла отца, чтобы ее избавили от обычных шуток. Тем не менее родственник, рыбный торговец (он в виде свадебного подарка привез даже две камбалы), собирался было прыснуть водой сквозь замочную скважину свадебного покоя; как раз вовремя подоспел папенька Руо, чтобы его остановить и разъяснить ему, что почтенное положение его зятя не допускает подобных неприличий. Немалого труда стоило отговорить родственника; в душе он осудил Руо за чванство и спесь и сел в угол к четверем-пяти гостям, которые — так как им, по несчастной случайности, несколько раз кряду достались за обедом худшие куски мяса — были равно недовольны приемом, шушукались насчет хозяина и обиняками желали ему разориться.

Госпожа Бовари-мать целый день не разжимала губ. С нею не

советовались ни о туалете невестки, ни об устройстве обеда. Она удалилась рано. Ее супруг, вместо того чтобы проводить ее, послал за сигарами в Сен-Виктор и курил до рассвета, потягивая грог, изготовленный из кирша, — напиток, дотоле неизвестный присутствующим и упрочивший их уважение к господину Бовари.

Шарль на шутки был не горазд и ничем не блеснул за свадебным обедом. Он отвечал весьма ненаходчиво на остроты, каламбуры, двусмысленности, любезности и развязные подтрунивания, которыми гости сочли своим долгом осыпать его с первого блюда.

На другой день зато он казался другим человеком. Скорее его, чем жену, можно было принять за новобрачную, еще вчера — красную девушку; глядя на молодую, напротив, нельзя было подметить ни малейшей перемены. Завзятые насмешники не знали, что им изобрести, и, когда она проходила мимо, тщетно напрягали все свое остроумие. А Шарль ничего не маскировал. Он называл ее женой, говорил ей «ты», осведомлялся о ней у каждого, поминутно искал ее и уводил в глубь двора, где вдалеке, за деревьями, было видно, как он обнимает ее за талию и ходит, склонясь над ней, прижимаясь головой к вырезу ее лифа.

Через два дня после свадьбы супруги уехали: Шарль не мог покинуть надолго больных. Руо дал молодым своих лошадей и сам проводил их до Вассонвиля. Там он в последний раз поцеловал дочь, спрыгнул и пошел своей дорогой. Пройдя шагов сто, он остановился и, посмотрев вслед удаляющейся таратайке, за колесами которой поднималась пыль, тяжело вздохнул. Ему вспомнилась собственная свадьба, прошлая жизнь, первая беременность жены; он тоже был очень весел в тот день, как увозил ее от ее отца к себе, и она сидела за его седлом, а лошадь рысцой бежала по снегу: это было перед самым Рождеством и все поля были белы; она держалась за него одною рукой, а на другой висела ее корзиночка; ветер раздувал длинные кружева ее нормандского головного покрывала, и они задевали его по губам, и, оборачиваясь, он видел за своим плечом ее розовое личико, молчаливо улыбающееся, и золотую бляху на ее волосах. Чтобы согреть руки, она клала их ему порой за пазуху. Как все это было давно! Сыну их было бы теперь тридцать лет. Тут он опять оглянулся и ничего уже не увидел на дороге. Грустно стало на душе, как в опустелом доме; нежные воспоминания перемешивались с черными думами в мозгу, отуманенном недавней пирушкой; ему захотелось на минуту прогуляться к церкви, взглянуть на могилу. Но он побоялся, что это нагонит на него еще пуще грусть, и зашагал прямо домой.

Господин и госпожа Бовари приехали в Тост к шести часам. Соседи

высунулись из окон — взглянуть на молодую жену лекаря.

Вышла старая служанка, пожелала счастливого приезда барыне, извинилась, что обед еще не готов, и предложила осмотреть покуда дом.

Глава V

Кирпичный дом выходил лицевою стороной прямо на улицу, вернее — на дорогу. За дверью висел плащ с капюшоном, уздечка, черная кожаная фуражка, а в углу валялась на полу пара заброшенных голенищ, еще покрытых засохшею грязью. Направо была зала, то есть комната, где обедали и сидели. Канареечного цвета шпалеры, оттененные вверху блеклой гирляндой цветов, колыхались по всей стене на плохо натянутом холсте; белые коленкоровые занавески, окаймленные красной тесьмой, скрещивались на окнах; на узкой каминной доске красовались часы, с головою Гиппократ, между двумя подсвечниками накладного серебра под овальными стеклянными колпаками. По другую сторону коридора помещался кабинет Шарля; это была комнатка в шесть шагов шириною, где стояли письменный стол с креслом и три стула. Тома «Словаря медицинских наук», неразрезанные, но порастрепавшиеся от всех испытанных ими перепродаж, заполняли почти все шесть сосновых библиотечных полок. Запах кухонной гари проникал сквозь стену кабинета во время приема, а из кухни слышны были кашель больных и вся их повесть болезней. Следовала с выходом прямо на двор, к конюшне, большая ободранная комната с печью для хлебов; она служила теперь и дровяным сараем, и кладовою, и складом всякого хлама — старого железа, пустых бочек, земледельческой рухляди и множества других вещей, покрытых пылью, назначение которых угадать было трудно.

Длинный и неширокий сад тянулся, между двух глиняных оград со шпалерами абрикосов, вплоть до терновой изгороди, отделявшей его от поля. Посреди сада устроены были шиферные солнечные часы на каменном пьедестале; четыре грядки с тощим шиповником симметрично окружали менее бесполезный квадрат, засаженный серьезными растениями. В глубине сада под сосенками алебастровый поп читал свой служебник.

Эмма поднялась наверх, в жилые комнаты. Одна была пуста; в другой — это и была супружеская спальня — стояла кровать красного дерева в алькове с красным пологом. Коробочка из раковин украшала комод; а на маленьком письменном столе, у окна, стоял в графине букет померанцевых цветов, перевязанный белым атласом. То был свадебный букет — той, другой! Эмма посмотрела на него. Шарль заметил ее взгляд, взял букет и отнес его на чердак, а Эмма, сидя в кресле (вокруг раскладывали ее вещи),

думала о своем свадебном букете, уложенном в картон, и спрашивала себя, что-то с ним сделают, если она вдруг умрет.

Первые дни ушли у нее на обдумывание разных преобразований в доме. Она сняла стеклянные колпаки с подсвечников, велела оклеить залу новыми обоями, выкрасить лестницу и поставить скамейки в саду, вокруг солнечных часов; советовалась даже, нельзя ли устроить бассейн с фонтаном и рыбками. Муж, зная, что она любит кататься, купил по случаю шарабанчик; когда к нему приделали новые фонари и простроченные кожаные крылья, он стал похож на настоящее тильбюри.

Итак, он был счастлив и не заботился ни о чем на свете. Обед вдвоем с нею, прогулка вечером по большой дороге, движение ее руки, когда она оправляла волосы, вид ее соломенной шляпы, висевшей на оконной задвижке, и многое другое, прелести чего Шарль прежде и не подозревал, слагалось для него теперь в одно непрерывное наслаждение. Лежа по утрам в постели близ нее — голова с головой на одной подушке, — он смотрел, как солнечный свет золотит легкий пушок на ее щеках, полуприкрытых краями ночного чепчика. Он разглядывал ее близко-близко, и тогда ее глаза казались ему огромными, — особенно в те минуты, когда она, просыпаясь, несколько раз подряд поднимала и опускала веки; черные в тени и синие при дневном свете, они словно состояли из нескольких слоев краски, густой на дне и более светлой на поверхности. Его взгляд тонул в этих глубинах, и он видел там, в уменьшенном отражении, себя самого до плеч, с повязанной фуляром головой и с расстегнутым воротом рубашки. Он вставал. Она подходила к окну, провожая его взглядом; облокотясь на подоконник, между двумя горшками герани, она стояла в своем широком свободном пеньюаре. Шарль на улице, опершись ногою о тумбу, пристегивал шпоры; она говорила что-то сверху, срывая губами лепесток цветка или стебелек зелени, дула — и стебелек летел, останавливался, кружил в воздухе, как птица, и, прежде чем упасть, цеплялся за нечесаную гриву старой белой кобылы, недвижимой у крыльца. Шарль, уже верхом, посылал ей поцелуй; она отвечала ему знаком, затворяла окно, он уезжал. И потом, на большой дороге, протянувшейся бесконечною пыльною лентою, на узких выбитых проселочных тропках, над которыми деревья смыкались сводом, по межам, где хлеба доходили ему до колен, под солнцем, попригревшим ему спину, вдыхая ноздрями утренний воздух, с душою, полною счастья ночи, ощущая спокойствие духа и довольство плоти, ехал он и пережевывал свое счастье, подобно людям, которые еще долгое время после обеда смакуют вкус съеденных трюфелей.

До этой поры что хорошего испытал он в жизни? Хорошо ли жилось

ему в годы гимназии, запертому в четырех высоких стенах, одинокому в толпе товарищей, которые были или богаче, или способнее его, хохотали над его деревенским говором, поднимали на смех его костюм и получали из маменькиных муфт в приемной сладкие пирожки? Лучше ли жилось и позже, когда он изучал медицину, а в его кошельке не было даже нескольких су, чтобы позволить себе поплясать с какой-нибудь бедненькой швейкой, ставшей его любовницей! Потом он четырнадцать месяцев прожил со вдовой, у которой ноги в постели были холодны, как льдины... А теперь — и уже на всю жизнь — он обладатель обожаемой красавицы! Мир для него был ограничен шелковым подолом ее юбки; и все же он корил себя, что недоволен ее любит, торопился вновь ее увидеть, бежал домой, с замиранием сердца всходил на лестницу. Эмма сидела в своей комнате за туалетом; он подкрадывался сзади, целовал ее в спину, она вскрикивала.

Он не мог удержаться, чтобы поминутно не трогать ее гребенку, ее кольца, ее косынку; иногда он изо всех сил целовал ее в щеку, иногда покрывал сотнею легких поцелуев ее обнаженную руку, от самого плеча до кончиков пальцев; она отталкивала его, полусмеясь-полусердито, как отталкивают ребенка, который на вас вешается.

До замужества ей казалось, что она любит; но так как счастье, которое должна была дать эта любовь, не пришло, она стала думать, что, как видно, ошиблась. И Эмме захотелось узнать, что, собственно, разумеют в жизни под словами; блаженство, страсть и упоение — словами, которые казались ей столь прекрасными в книгах.

Глава VI

Она читала в детстве «Павла и Виргинию» и мечтала о бамбуковой хижине, о негре Доминго, о собаке Фидель, но больше всего о нежной дружбе доброго братца, который бы срывал для нее румяные плоды с высоких, как колокольня, деревьев или босой бегал бы по песку и приносил ей птичьи гнездышки.

Когда ей минуло тринадцать лет, отец сам отвез ее в город и отдал в монастырь. Они остановились в гостинице, в квартале Сен-Жерве; им подали ужин на тарелках с рисунками, в которых была изображена история мадемуазель де Давальер. Пояснительные надписи, пересекаемые местами царапиной ножа, восхваляли благочестие, чувствительность сердца и блеск двора.

Она совсем не скучала на первых порах в монастыре, ей было хорошо с добрыми сестрами; для развлечения они водили ее в часовню, куда вел из трапезной длинный коридор. Она мало играла во время рекреаций, хорошо усваивала катехизис и на трудные вопросы викарию всегда отвечала она. Живя безвыходно в теплой атмосфере классов, среди этих белолицых женщин, перебирающих четки, с медными крестами, она незаметно поддавалась сладко-истомной мистической дремоте, навеваемой благоуханиями алтаря, свежестью кропильниц и мерцанием восковых свечей.

За обедней, невнимательная к службе, она разглядывала в своем молитвеннике благочестивые картинки, окаймленные лазурью, и ей нравились больная овечка. Святое сердце, пронзенное острыми стрелами, бедный Иисус Христос, падающий под тяжестью креста. Ради умерщвления плоти она пыталась воздерживаться в течение целого дня от пищи; придумывала, какой бы выполнить обет.

Идя на исповедь, она выискивала мелкие грехи, чтобы остаться подольше коленопреклоненною, в полутьме, со сложенными руками, прижавшись лицом к решетке, под шепот священника. Сравнения с Женихом, Супругом, Небесным Возлюбленным, упоминания о вечном браке, которые часто встречаются в проповедях, поднимали со дна ее души какую-то неизъяснимую сладость.

По вечерам, перед молитвой, в классной комнате читалось что-нибудь душеспасительное. По будням то были краткие рассказы из Священной истории или поучения аббата Фрейссину, а по воскресеньям, в виде отдыха,

отрывки из «Гения христианства». С каким замиранием слушала она впервые звучные жалобы романтической грусти, которым вторили, казалось, все отголоски земли и вечности! Если бы детство ее прошло на задворках торгового квартала, ее душа, быть может, раскрылась бы лирическим восторгам перед природой, которые обычно доходят до нас только в переводе писателей. Но слишком хорошо знакома была ей деревня; она знала бляенье овец, дойки, плуги. Привычка к мирным зрелищам обращала ее воображение к картинам тревожным. Море любила она за его бури, а зелень — только на горах развалин. Ей необходимо было извлекать из созерцания вещей какую-то личную выгоду; и она отбрасывала, как бесполезное, все, что не служило непосредственно пищею ее сердцу, — будучи по своим предрасположениям натурою скорее сентиментальною, нежели художественною, — ища волнений, а не образов.

Была при монастыре одна старая девушка, приходившая каждый месяц на целую неделю чинить белье. Епархиальное начальство покровительствовало ей, потому что она принадлежала к старинной дворянской фамилии, разорившейся в годы революции. Она обедала в трапезной за одним столом с сестрами и после обеда, прежде чем приняться снова за шитье, немного с ними беседовала. Часто воспитанницы прибегали тайком из классов, чтобы с нею увидеться. Она знала наизусть любовные песенки прошлого века и напевала их вполголоса, работая иголкой. Она рассказывала разные истории, приносила новости, исполняла поручения в городе и давала тайком старшим воспитанницам томики романов, спрятанные в карманах ее передника и из которых, в промежутки между работою, добродушная девица сама проглатывала целые главы. В них описывались, сплошь и исключительно, любовь, любовники, любовницы, дамы, преследуемые и падающие без чувств в уединенных беседках, почтальоны, убиваемые на каждой станции, лошади, загоняемые на каждой странице, темные леса, сердечные волнения, клятвы, рыдания, слезы и поцелуи, челны при лунном свете, соловьи в рощах, кавалеры, то храбрые, как львы, то кроткие, как агнцы, неправдоподобно добродетельные, всегда щегольски одетые и исходящие слезами, как урны. Целых полгода пятнадцатилетняя Эмма пачкала себе руки пыльным хламом старых библиотек. Позже Вальтер Скотт влюбил ее в старину, заставил мечтать о кованых ларях, караульнях и менестрелях. Ей хотелось жить в старинном замке, подобно этим владетельным дамам в корсажах с длинною талией, которые под трилистниками готических окон проводили, пригорюнясь, целые дни, все поджидая и высматривая, не покажется ли за дальним полем всадник с белым пером, на вороном коне. В

эту пору она преклонялась перед Марией Стюарт и питала восторженное обожание к знаменитым подвигам или известным своими несчастиями женщинам. Жанна д'Арк, Элоиза, Агнеса Сорель, прекрасная «дама с ферроньерой» — Клеменция Изаура, словно кометы, светились перед ней в туманной беспредельности истории, из сумрака которой выступали также, но еще более окутанные тенью, и без всякого отношения друг к другу, — Людовик Святой под своим дубом, умирающий Баярд, несколько зверств Людовика XI, кое-что из Варфоломеевской ночи, султан на шлеме Беарнца и постоянно возвращающееся воспоминание о расписных тарелках с изображением слав Людовика XIV.

За уроками музыки, в романах, которые она пела, только и речи было, что об ангелочках с золотыми крылышками, о мадоннах, лагунах, гондольерах, и эти невинные композиции, сквозь глуповатое простодушие стиля и музыкальные недочеты, приоткрывали перед ней манящую фантасмагорию любовных переживаний. Ее подруги приносили с собою в монастырь кипсеки, полученные в подарок к Новому году. Их нужно было тщательно прятать, это была целая история; читали их в дортуаре. Нежно касаясь красивых шелковых переплетов, Эмма устремляла восторженные взоры на подписи незнакомых авторов, чаще всего графов и виконтов, выставленные под их произведениями.

Она трепетала, сдувая своим дыханием прозрачную бумагу над гравюрами, которая, приподнявшись, медленно падала опять на страницу. За балюстрадой балкона юноша в коротком плаще прижимал к груди девушку в белом платье, с сумочкой для раздачи милостыни у пояса; или то были портреты неизвестных английских леди с белокурыми кудрями, глядящих на вас большими светлыми глазами из-под круглых соломенных шляп. Были и красавицы в колясках, катящихся по парку в сопровождении борзых собак, прыгающих на лошадей, которыми правят два маленьких ефрейтора в белых лосинах. Другие мечтали на диванах перед распечатанным письмом, глядели на луну в полуоткрытое и полузавешенное черным занавесом окно. Наивные девицы со слезами на глазах целовали голубку сквозь решетку готической клетки или, склонив головку и улыбаясь, ощипывали маргаритку тонкими остроконечными пальчиками, выгнутыми, как башмачки. Были там и султаны с длинными трубками в руках, нежащиеся в беседках в объятиях баядерок, гяуры, турецкие сабли, греческие фески и особенно вы, бледно-туманные пейзажи сказочных стран, являющие нам зараз и пальмы и сосны, тигров направо, льва налево, татарские минареты на горизонте, римские развалины на переднем плане, а за ними отдыхающих верблюдов, — и все это среди

расчищенного девственного леса, с отвесным лучом солнца, дрожащим в воде, по которой там и сям, словно белые пятна на серо-стальном фоне, вырисовываются плавающие лебеди.

Стенная лампа под абажуром, над головою Эммы, освещала эти картины всего мира, развертывающиеся перед ней одна за другой в тишине дортуара, меж тем как с бульвара изредка доносился заглушенный стук запоздалого извозчика.

Когда умерла ее мать, она много плакала в первые дни. Заказала траурную рамку для волос покойницы и в письме, посланном в Берто и исполненном грустных размышлений над жизнью, просила, чтобы ее похоронили со временем в той же могиле. Простяк отец вообразил, что она больна, и приехал ее проводить. В душе Эмма была довольна, что в ее жизни уже осуществился редкий идеал возвышенной грусти, недоступной низменным сердцам. Так она окунулась в волны ламартиновской чувствительности, слышала звуки арф над озерами, песни умирающих лебедей, шелесты падающих листьев, голоса чистых дев, восходящих на небо, и глаголы Предвечного, гремящие в глубине долин. Вскоре, однако, все это ей наскучило, но она не хотела в том сознаться, продолжая питать свою меланхолию сначала по привычке, потом из тщеславия, пока наконец с удивлением ощутила себя окончательно успокоенною, без печали на сердце, без скорбных морщин на челе.

Добрые монахини, так безошибочно предугадавшие ее призвание, к своему немалому изумлению, заметили, что маленькая Руо ускользает, по-видимому, от их воспитательных попечений. В самом деле, они так щедро закармливали ее службами, уединенными молитвами, говениями и проповедями, так ревностно они внушали ей долг благоговейного почитания святых и мучеников, давали ей столько добрых советов для усмирения плоти и спасения души, что с нею случилось то же, что бывает с лошадьми, которых тащут за уздечку: она вдруг остановилась и выпустила изо рта удила. Ее ум, положительный, несмотря на ее восторги, полюбивший церковь за ее цветы, музыку — за слова романсов, литературу — за возбуждение страстных чувств, восстал против тайн веры; все более стала тяготить, сердить ее и дисциплина, в которой было что-то противное ее природе. Когда отец взял ее из пансиона, о ней не жалели. Настоятельница находила даже, что за последнее время она была недостаточно почтительна к общине.

Дома Эмме сначала нравилось повелевать прислугой, потом деревня ей наскучила, и она с сожалением вспоминала монастырь. Когда Шарль впервые появился в Берто, ей казалось, что для нее уже нет очарований, что

ей ничего нового не предстоит в жизни узнать или перечувствовать.

Но тоска по жизни иной или, быть может, просто возбуждение, вызванное близостью этого мужчины, вдруг уверили ее, будто она овладела наконец тою чудесною страстью, что до сих пор, как огромная птица с розовыми перьями, реяла лишь в сиянии поэтических небес. Она не могла себе представить, чтобы спокойствие, в котором она жила, и было счастьем, — не о таком счастье она мечтала.

Глава VII

Иногда ей приходило на мысль, что ведь это все же лучшие дни ее жизни — ее, как говорят, «медовый месяц». Правда, чтобы испытать всю его сладость, надобно было бы уехать в те страны с благозвучными именами, где первые дни после свадьбы протекают в сладостной лени. Сидя в почтовой карете с голубыми шелковыми шторами, подниматься бы шагом по крутым дорогам под песенку возницы, которой вторило бы эхо гор, сливаясь с бубенчиками козьих стад и глухим шумом водопада. На закате солнца вдыхать на берегу залива аромат лимонных деревьев; по вечерам, на террасах вилл, вдвоем, сплетясь руками, смотреть на звезды и гадать о будущем!.. Ей казалось, что некоторые места земного шара должны рождать счастье, как растение, свойственное их почве и засыхающее повсюду на других местах. Почему не суждено ей опереться на балкон швейцарской хижины или замкнуть свою печаль в шотландском коттедже с мужем, одетым в черный бархат, мягкие сапоги, остроконечную шляпу и кружевные манжеты!

Быть может, ей было бы легче, если бы она могла поведать кому-нибудь все это. Но как передать эту неуловимую тревогу, которая меняется ежеминутно, как облака, или крутится, как вихрь? Она не находила ни слов, ни случая, ни смелости.

И все же, если бы Шарль захотел, если бы он хоть что-нибудь подозревал, если бы его взгляд хоть раз устремился навстречу ее мысли, ей казалось, что внезапно целое богатство вылилось бы из ее сердца, как падают плоды с фруктовой просади, едва коснешься ее рукой. Но чем интимнее замыкался круг их жизни, тем прочнее устанавливалось их внутреннее отчуждение, тем дальше отходила она от мужа.

Речи Шарля были плоски, как уличный тротуар, и общие места проходили по ним в своем будничном наряде, не возбуждая ни волнения, ни веселости, ни игры воображения. За все его пребывание в Руане ему ни разу, по его собственным словам, не захотелось пойти в театр, взглянуть на парижских актеров. Он не умел ни плавать, ни фехтовать, ни стрелять из пистолета и однажды не мог ей объяснить термина верховой езды, встреченного ею в романе.

Разве мужчина, напротив, не обязан все знать, превосходить всех многообразною деятельностью, посвятить женщину в могущество страсти, в утонченности жизни, во все ее тайны? Но этот мужчина ничему не мог

научить, ничего не знал, ничего не желал. Он думал, что она счастлива; и она сердилась на него за это непоколебимое спокойствие, за это невозмутимое безоблачное тупое довольство, за само счастье, которое она ему дарила.

Иногда она бралась за рисование; Шарль любил стоять возле нее, смотреть, как она сидит, склонясь над бумагой, как щурит глаза, чтобы лучше разглядеть свои штрихи, или скатывает на большом пальце шарик из белого хлеба, приготавливая их стереть. Что до игры на рояле, то чем проворнее метались ее пальцы, тем благоговейнее он восхищался. Ее руки ударяли по клавишам уверенно и без заминки пробегали по всей клавиатуре, сверху донизу. Старый инструмент с дребезжащими струнами, растревоженный ею, бывал слышен на другом конце деревни, если окно было открыто, и часто писец пристава, без шапки и в туфлях, проходя по большой дороге, останавливался и заслушивался с листом бумаги в руке.

В то же время Эмма выказала умение вести дом. Она рассылала пациентам напоминания о гонораре в изысканных письмах, не похожих на счета из лавки. Когда по воскресеньям у них обедал кто-нибудь из соседей, она ухитрялась подать кокетливое блюдо, знала, как разложить кучки желтых слив на виноградных листьях, искусно опрокидывала на тарелку горшочек фруктового желе и даже поговаривала о приобретении чашек для полоскания рта за десертом. Уважение к господину Бовари росло.

Шарль и сам начинал уважать себя за то, что у него такая жена. Он с гордостью показывал в столовой два маленьких карандашных наброска — ее работу, оправил их в широкие рамы и повесил на стену на длинных зеленых шнурках. Возвращаясь от обедни домой, односельчане видели лекаря на пороге его дома, в прекрасных вышитых туфлях.

Домой возвращался он поздно, часов в десять вечера, иногда к полночи, проголодавшись, и, так как прислуга уже спала, ужин подавала ему Эмма. Он снимал сюртук, чтобы чувствовать себя свободнее за столом, рассказывал по порядку, кого встретил, в каких побывал деревнях, что кому прописал, и, довольный собою, доедал остатки обеденного жаркого, разогретые под луком, вырезывал себе ломтик сыра, закусывал яблоком, кончал графин вина, потом шел спать, ложился на спину и храпел.

Он привык спать в колпаке; шелковый платок сползал с головы; по утрам волосы были всклокочены, спутаны и все в пуху, дыбившемся из-под наволочки, тесемки которой развязывались за ночь. Он носил смазные сапоги с двумя толстыми складками на подъеме, идущими к щиколотке, и с длинными прямыми голенищами, словно натянутыми на деревянные ноги: для деревни, по его словам, такая обувь была «как раз что нужно».

Его мать одобряла такую бережливость сына. Она приезжала к нему по-прежнему отдыхать после только что выдержанной новой семейной бури. Но невесткой, по-видимому, была недовольна. Она находила, что ее образ жизни был им вовсе не по средствам: дрова, сахар и свечи таяли, словно в большом хозяйстве, а угля, сжигаемого на кухне, хватило бы на двадцать пять блюд! Она раскладывала белье по шкафам и учила присматривать за мясником, когда он отпускает мясо. Эмма выслушивала эти уроки: госпожа Бовари-мать охотно их расточала; и слова «дочь моя» и «мамаша» звучали целый день, сопровождаемые легким дрожанием губ, так как обе произносили эти нежные слова дрожащим от досады голосом.

При жизни госпожи Дюбюк старуха чувствовала себя все же первым лицом в семье; любовь Шарля к Эмме казалась ей какою-то изменою, захватом того, что принадлежало ей; она наблюдала счастье сына с тем скорбным молчанием, с каким разоренный смотрит в окно на людей, усевшихся за обеденный стол в его прежнем доме. Под предлогом воспоминаний она обращала его внимание на свои труды и жертвы и, сравнивая их с беспечностью Эммы, выводила заключение, что неблагоприятно обожать жену столь исключительно.

Шарль не знал, как тут быть: он уважал мать, и бесконечно любил жену; считал первую непогрешимою в суждениях, и в то же время находил безупречной другую. Когда госпожа Бовари уезжала, он осмеливался, робко и в тех же выражениях, повторить одно-другое из самых невинных замечаний, слышанных им от матери; Эмма, одним словом доказав ему, что он ошибается, отсылала его к больным.

Между тем, согласно признанным ею теориям, она старалась возбудить в себе любовь. В саду, при луне, декламировала все любовные стихи, какие только знала наизусть, и со вздохами напевала ему меланхолические адажио; но и после того она чувствовала себя столь же спокойной, как и прежде, да и Шарль не казался ни более влюбленным, ни страстно взволнованным.

После этих безуспешных попыток высечь из его сердца хоть одну искорку — от природы не способная ни понимать того, чего не испытывала сама, ни верить тому, что не проявлялось в условных формах, — она легко внушила себе мысль, что любовь Шарля уже вовсе не так чрезмерна. Излияния его чувств сделались периодически правильными: он ласкал ее в определенные часы. Это была такая же привычка, как и другие, словно заранее известный десерт после однообразия наскучивших блюд.

Один лесной сторож, вылеченный господином Бовари от воспаления легких, поднес барыне маленькую итальянскую левретку; Эмма брала ее с

собою на прогулки, так как иногда гуляла, чтобы хоть на минуту остаться одной и не иметь вечно перед глазами все того же сада да пыльной дороги.

Она ходила в буковую рощу Банвиля, к покинутой беседке на углу каменной ограды, где начиналось поле. Там в канаве, вперемежку с травой, растут высокие остролистные тростники.

Сначала она осматривалась, чтобы убедиться, не переменялось ли что-нибудь с тех пор, как она была здесь в последний раз. Но все было на месте — наперстянка и желтые левкои, гуща крапивы на груди камней и поросшие мхом окна с наглухо закрытыми подгнившими ставнями и ржавчиной на железных засовах. Ее мысли, вначале неопределенные, блуждали без цели, как ее левретка, что кружила по полям, лая на желтых бабочек, гоняясь за землеройками и пощипывая стебли маков на окраине хлебного поля. Потом мало-помалу они отчетливо сосредоточивались на одном, и, сидя на траве и раздвигая ее кончиком зонтика, Эмма твердила:

— Боже мой, зачем я вышла замуж?

Если бы события ее жизни случайно сложились иначе, она, быть может, встретила бы другого мужчину... И она усиливалась представить себе, каковы были бы эти неслучившиеся события, эта другая жизнь, этот муж, которого она не знала. Ведь нет ни одного, кто бы походил на ее супруга. Ее избранник был бы красив, остроумен, изящен, привлекателен, каковы, без сомнения, все мужья ее бывших монастырских подруг. Что-то с ними теперь? В городе, с его уличным шумом, гулом театров и блеском балов, они живут тою жизнью, в которой ширится сердце и зацветают чувства. А ее жизнь холодна, как чердак с оконцем на север, и скука, молчаливый паук, наткала паутины по всем темным уголкам ее сердца. Она вспоминала дни раздачи наград, когда она всходила на эстраду получить свои маленькие трофеи. С косою, в белом платье и в прюнелевых туфельках, она была миловидна, и, когда она возвращалась на свое место, мужчины наклонялись к ней и говорили любезности; двор был полон экипажей, с нею прощались из дверец карет; учитель музыки с футляром от скрипки под мышкой проходил мимо и кланялся... Как давно все это было! Как стало далеко!

Она подзывала Джали, брала ее на колени, гладила ее длинную тонкую морду и говорила:

— Ну, целуй хозяйку, ты, беззаботная!

Потом, глядя на грустную морду стройного животного, которое протяжно зевало, она растрогивалась и, сравнивая собачку с собою, говорила с ней вслух, словно утешая кого-нибудь в горе.

Порой вдруг налетал с моря ветер; прокатившись по всему

плоскогорью Ко, он разносил далеко по полям влажную свежесть и запах соли. Камыши свистели, стелясь по земле, листья буков быстро и трепетно шелестели, меж тем как их вершины, не переставая качаться, громко роптали. Эмма натягивала на плечи шаль и вставала.

В аллее зеленый отсвет листвы падал на короткий мох, тихо хрустящий под ногами. Солнце садилось; небо между ветвями краснело, и стволы деревьев, вытянутые в ряд, были похожи на темную колоннаду, вырисованную на золотом фоне; ей становилось жутко, она звала Джали, быстро возвращалась в Тост по большой дороге, падала в кресло и за весь вечер не произносила ни слова.

Но к концу сентября в жизни ее случилось нечто необычайное: она была приглашена в Вобьессар, к маркизу д'Андервиллье.

Государственный секретарь при Реставрации, маркиз д'Андервиллье, желая вернуться к политической деятельности, издалика подготавливал свою кандидатуру на место в палате депутатов. Зимой он щедро раздавал топливо, а в генеральном совете постоянно и ожесточенно требовал сооружения дорог для своего округа. Недавно, когда стояла сильная жара, маркиз страдал от нарыва в полости рта; Шарль вылечил его словно чудом, удачно проколов ланцетом опухоль.

Управляющий, посланный в Тост уплатить за операцию, рассказал в тот же вечер, что видел в садике доктора великолепные вишни; а так как вишневые деревья плохо росли в Вобьессаре, то маркиз попросил у Бовари несколько черенков для прививки; потом счел долгом поблагодарить его лично, увидел Эмму, заметил, что у нее красивая фигура и что она кланяется совсем не по-деревенски, так что в конце концов в замке не сочли превышающим меру приличия снисхождением или бестактностью пригласить молодую чету.

И вот в среду, в три часа дня, господин и госпожа Бовари, усевшись в свой шарабанчик, направились в Вобьессар с большим чемоданом, привязанным позади кузова, и шляпной коробкою, поставленной впереди, на фартуке. У Шарля, кроме того, в ногах стояла еще картонка.

Они приехали, когда уже стемнело и в парке начали зажигать плошки, чтобы осветить дорогу экипажам.

Глава VIII

Барский дом новейшей постройки, в итальянском вкусе, с двумя выступающими флигелями и тремя подъездами, стоял на огромной луговине, по которой бродило несколько коров среди раскиданных редкими островками старых деревьев, меж тем как кустарники-рододендроны, сирень и махровая калина круглили неравные купы своей зелени по длинной дуге вдоль усыпанной песком дороги. Речка струилась под мостом; сквозь туман различались строения с соломенными крышами, разбросанные по дальним лугам между двумя пологими склонами, поросшими лесом; а позади господского дома, в чаще деревьев, тянулся двойной ряд служб — каретных сараев и конюшен, уцелевших от старого скрытого замка.

Шарабанчик Шарля остановился у среднего подъезда; выскочили лакеи, появился сам маркиз и, предложив руку жене доктора, повел ее в вестибюль.

Он был очень высок и вымощен мраморными плитами, стук шагов и звуки голосов раздавались в нем, как в церкви. Прямо подымалась широкая лестница, а налево галерея, с окнами в сад, вела в бильярдную, откуда доносился стук шаров из слоновой кости. Проходя по бильярдной в гостиную, Эмма увидела занятых игрою мужчин, с важными лицами, в орденах; высокие галстуки подпирали им подбородок; они молчаливо улыбались, толкая киями шары. На темных панелях деревянной обивки, под большими золочеными рамами, черные надписи по золоту называли лиц, изображенных на фамильных портретах. Эмма прочла: «Жан-Антуан д'Андервиллье д'Ивербонвилль, граф де ла Вобьессар, барон де ла Фрэнэ, убит в сражении при Кутра 20 октября 1587 г.». А на другой раме: «Жан-Антуан-Анри-Гюи д'Андервиллье де ла Вобьессар, адмирал Франции, кавалер ордена Св. Михаила, ранен в битве при Гуг-Сен-Вааст 29 мая 1692 г., скончался в замке Вобьессар 23 января 1693 года». Остальные надписи трудно было разобрать, так как свет ламп, направленный на зеленое сукно бильярда, оставлял комнату в тени. По темнеющим холстам свет дробился тонкими бликами, выдавая трещины лака; и из глубины черных квадратов, окаймленных золотом, мерцали пятнами светлые части портретов — там бледный лоб, там пара пристальных глаз, там пудренный парик, спустившийся на плечо красного камзола, там пряжки подвязок на выпуклых икрах.

Маркиз отворил дверь в гостиную; одна из дам — сама маркиза — встала, пошла навстречу Эмме, усадила ее подле себя на козетку и приветливо заговорила с ней, словно давно ее знала. То была женщина лет сорока, с прекрасными плечами, с орлиным носом, с певучим голосом; в этот вечер на ее каштановые волосы был наброшен простой гипюр, свисающий углом на шею. Белокурая молодая девушка сидела рядом с нею на стуле с высокою спинкой; мужчины, с цветами в петлицах фраков, разговаривали с дамами, стоя вокруг камина.

В семь часов подали обед. Мужчины — их было больше, нежели дам, — сели за первый стол, в вестибюле; дамы — за второй, в столовой, с маркизом и маркизою.

Когда Эмма вошла в столовую, ее охватил теплый воздух, пропитанный смесью из аромата цветов и запахов хорошего полотна, дымящихся, душистых кушаний, трюфелей. Свечи канделябров длинными огнями отражались в серебряных крышках; в гранях затуманенного хрусталя играли и переливались бледные лучи; во всю длину стола тянулись букеты цветов, а на тарелках с широкой каймой, в складки салфеток, сложенных в виде епископских тиар, всунуты были овальные хлебцы. Красные клешни омаров свешивались с блюд; горы крупных фруктов в ажурных корзинах были переложены мохом; перепела подавались в перьях; над столом вился тонкий пар вкусной дымящейся снеди; метрдотель, в шелковых чулках, в коротких панталонах, в жабо и белом галстуке, важный, как судья, просовывал между плеч гостей блюда с разрезанными уже кушаньями и легким движением ложки переправлял на тарелку гостя выбранный им кусок. С высокой фаянсовой печки, оправленной медью, статуя женщины, закутанной в складки одежд до подбородка, недвижно глядела на залу, оживленную многолюдным собранием.

Госпожа Бовари заметила, что некоторые дамы не снимали перчаток.

Меж тем на верхнем конце стола, один среди всех этих женщин, наклонясь над полной тарелкой и подвязанный салфеткой, как ребенок, сидел и ел старик; изо рта у него капал соус. Глаза его были воспалены, а волосы заплетены в косичку, перевязанную черною лентой. То был тесть маркиза престарелый герцог де Лавердьер, бывший фаворит графа д'Артуа в эпоху охотничьих праздников в Водрейле у маркиза де Конфлан и, как говорили, бывший любовник королевы Марии-Антуанеты, после де Куаньи и раньше де Лозена. Он вел бурную жизнь, полную кутежей, дуэлей, ставок на пари, увозов женщин, спустил все состояние и перепугал всю родню. Лакей, стоя за его стулом, кричал ему в ухо названия блюд, на которые

старик, бормоча, указывал пальцем; взгляд Эммы сам собою беспрестанно устремлялся на этого старика с отвисшими губами, как на нечто необычайное, почти священное. Он жил при дворе и спал в альковах королев!

В бокалы разлили ледяное шампанское. У Эммы по всему телу пробежала дрожь, когда она ощутила во рту этот холодок. Она никогда в жизни не видела гранатов и ни разу не отведала ананаса. Даже мелкий сахар казался ей здесь белее и тоньше, чем где-либо.

После обеда дамы отправились наверх в свои комнаты одеваться к балу.

Эмма принялась за свой туалет с мелочною добросовестностью актрисы перед дебютом. Она причесала волосы по указаниям парикмахера и надела свое бережливое платье, разостланное на постели. Панталоны Шарля жали на животе.

— В штрипках мне будет неудобно танцевать, — сказал он.

— Танцевать? — переспросила Эмма.

— Ну да!

— Ты с ума сошел! Над тобой будут смеяться. Пожалуйста, сиди на месте. Это даже приличнее для доктора, — прибавила она.

Шарль умолк и заходил взад и вперед по комнате, ожидая, пока Эмма оденется.

Он видел ее сзади, отраженную в зеркале, между двух зажженных канделябров. Ее темные глаза казались еще темнее. Волосы, уложенные слегка округлыми бандо над ушами, отливали синим блеском; в них, на зыбком стебельке, с поддельными росинками на листках, дрожала роза. Платье бледно-шафранового цвета было перехвачено тремя букетами роз с листьями.

Шарль подошел и поцеловал ее в плечо.

— Оставь меня, — сказала она, — ты изомнешь на мне платье.

Снизу донеслись первые звуки скрипок и тромбона. Она спустилась по лестнице, едва удерживаясь, чтобы не бежать.

Кадриль началась. Гости все прибывали. Становилось тесно. Она села у двери на скамейку.

Когда кончился контрданс, паркет освободился для мужчин, столпившихся в беседе группами, и для лакеев в ливреях, с большими подносами в руках. В ряду сидящих женщин колыхались расписные веера, букеты цветов прикрывали улыбки, флаконы с золотыми пробками мелькали в пальцах, обтянутых белой перчаткой, обозначившей форму ногтей и туго сжавшей руку у запястья. Отделки из кружев, бриллиантовые

брошки, браслеты с медальонами дрожали на корсажах, сверкали на груди, звенели на обнаженных руках. Прически, гладкие на лбу и взбитые на затылке, были украшены — то в виде венков, то гроздий, то веток — незабудками, жасмином, цветами граната, колосьями и васильками. Матери барышен мирно сидели на своих местах с чопорно строгими лицами, в красных тюрбанах.

Сердце у Эммы слегка забилося, когда она стояла с кавалером, державшим ее за кончики пальцев, в ряду танцующих и ждала движения смычка, чтобы двинуться вперед. Но вскоре волнение ее исчезло; и, покачиваясь в ритм музыки, она скользила вперед, с легкими склонениями шеи. Улыбка порой трогала ее губы при нежных соло скрипки, когда другие инструменты умолкали; и слышнее был звон золотых монет, сыплющихся на зеленое сукно игорных столов; потом вдруг все снова приходило в движение, корнет-а-пистон издавал звучную ноту, ноги начинали двигаться в такт, юбки развевались и задевали, руки сближались и размыкались; одни и те же глаза то опускались под ее взором, то его искали.

Некоторые мужчины — их можно было насчитать десятка полтора, в возрасте от двадцати пяти до сорока лет, — мелькавшие там и сям среди танцующих или занятые разговором у дверей, выделялись из толпы каким то родственным сходством, несмотря на различие в возрасте, туалете и физиономии. Их фраки, лучшего, чем у других, покроя, казались сшитыми из более мягкого сукна, а волосы, начесанные на виски буклями, отливали, казалось, блеском более тонкой помады. Их лица были белы той холеной белизной, которая особенно выгодно оттеняется бледностью фарфора, переливами шелков, лаком дорогой мебели и поддерживается в своей здоровой свежести привычкою к пище легкой и изысканной. Их шеи двигались свободно, не стесненные высокими галстуками; длинные бакенбарды падали на отложные воротнички; они отирали губы платками, на которых были вышиты большие вензеля, и от платков шел сладкий запах. Пожилые из них казались молодыми людьми, между тем как на лицах молодых лежал отпечаток какой-то зрелости. В их равнодушных взглядах было разлитое спокойствие ежедневно удовлетворяемых страстей, а сквозь мягкое обхождение проглядывала особенная самоуверенная грубость, порождаемая господством над легкодоступными предметами, обладание которыми упражняет силу и тешит тщеславие — господством над породистыми лошадьми и падшими женщинами.

В трех шагах от Эммы господин в синем фраке беседовал об Италии с бледною молодою женщиной в жемчужном уборе. Они восхваляли

грандиозность колонн Св. Петра, Тиволи, Везувий, Кастелламаре и Кашины, розы Генуи, Колизей при лунном свете. Другим ухом Эмма прислушивалась к разговору, пересыпанному непонятными ей словами. Целый кружок собрался вокруг молодого человека, который на прошлой неделе побил мисс Арабеллу и Ромула и выиграл две тысячи луидоров, перескочив через ров в Англии. Один жаловался на то, что его скакуны жиреют; другой — на опечатку, исказившую имя его лошади.

В бальной зале становилось душно; огни тускнели. Толпа отхлынула в бильярдную. Лакей взобрался на стул и разбил два стекла; при звоне осколков госпожа Бовари обернулась и увидела в саду за оконными стеклами лица крестьян, заглядывающих в зал. Ей вспомнился родной хутор. Она увидела ферму, илистый пруд, отца в блузе, под яблонями, и самое себя, какою была некогда, снимающую пальцем сливки с крынок в молочной. Но в ярком сверкании переживаемого часа ее прошлое, до тех пор столь отчетливое, бледнело и исчезало, и она начинала сомневаться в том, что оно было ею также пережито. Она здесь; за этой бальной залой расстилается надо всем только сумрак. В эту минуту она ела мороженое на мараскине, держа в левой руке эмалевую раковинку, и, полузакрыв глаза, подносила ложечку ко рту.

Неподалеку от нее дама уронила веер. Один из танцоров проходил мимо.

— Если бы вы были так добры, сударь, — сказала дама, — поднять мне веер, упавший за диван!

Мужчина нагнулся, и в то мгновение, как он протянул руку за веером, Эмма видела, как молодая женщина бросила в его шляпу что-то белое, сложенное треугольником. Мужчина, подняв веер, отдал его почтительно даме; она поблагодарила кивком головы и принялась нюхать букет.

После ужина, за которым испанские вина и рейнвейн лились рекой, подавались супы из раков и из миндального молока, пудинги а la Трафальгар и всевозможные холодные жаркия, обложенные дрожащим на блюдах желе, — кареты одна за другой начали отъезжать. Отодвинув уголок кисейной занавески, можно было видеть, как мелькают в темноте огоньки их фонарей. Скамейки вокруг зала пустели; оставалось еще несколько игроков; музыканты освежали пальцы кончиком языка; Шарль почти спал, прислонясь к притолоке двери. В три часа утра начался котильон. Эмма не умела танцевать вальс. Вальсировали все, даже сама мадемуазель д'Андервиллье и маркиза; в зале остались только те, что решили ночевать в замке, всего человек двенадцать.

Один из вальсирующих, которого все называли попросту «виконтом»,

в широко вырезанном жилете, казалось изваянном на его груди, подошел вторично пригласить госпожу Бовари, уверяя, что будет сам ее направлять и что она отлично справится.

Начали они медленно, потом закружились быстрее. Они кружились, и все кружилось вокруг них — лампы, мебель, обои и паркет, словно диск на вертящемся стержне. Когда они пролетали мимо дверей, юбки Эммы подолом охватывали его панталоны; ноги их переплетались; он опускал на нее глаза, она поднимала свои, глядя на него; ею овладевало какое-то остолбенение, она остановилась. Потом они снова понеслись; вдруг, увлекая ее стремительным движением, виконт исчез с нею в конце галереи, где, запыхавшись, она чуть не упала и на секунду прижалась головой к его груди. Потом, продолжая кружиться, но уже тише, он довел ее до места; она откинулась к стене и закрыла глаза рукою.

Когда она открыла глаза, посреди зала сидела на табурете дама, а перед нею на коленях стояли три танцора. Она выбрала виконта, и скрипка заиграла снова.

Все смотрели на них. Они проносились взад и вперед; она — с недвижным корпусом, с опущенной головой, а он все в той же позе, слегка согнув стан, округлив локоть, выдвинув вперед нижнюю часть лица. Да! Эта умела вальсировать! Они танцевали без конца и утомили всех.

Поболтали еще несколько минут и, обменявшись прощальным, или, лучше сказать, утренним, приветствием, разошлись в спальни.

Шарль едва плелся, держась за перила, не чуя под собою ног. Он провел пять часов подряд, бродя вокруг зеленых столов, и глядел на игру в вист, в которой ничего не понимал. Он вздохнул глубоким вздохом облегчения, когда стащил наконец с ног сапоги.

Эмма накинула на плечи шаль, открыла окно и облокотилась.

Ночь была темная. Упало несколько капель дождя. Она вдыхала влажный ветер; он свежил ей веки. Бальная музыка еще гудела в ее ушах; она боролась с желанием сна, чтобы продлить иллюзию этой роскошной жизни, с которою сейчас предстояло расстаться.

Рассвело. Она долго глядела на окна замка, стараясь угадать, в каких комнатах спали люди, виденные ею накануне. Ей хотелось узнать всю их жизнь, проникнуть в нее, слиться с нею.

Она прозябла; разделась и под одеялом прижалась к спящему Шарлю.

К завтраку собралось много народу. Продолжался он всего десять минут; ликеров не подали, и это удивило доктора. Мадемуазель д'Андервиллье собрала в корзинку крошки сухарей, чтобы отнести их лебедям на пруд, а общество пошло гулять в теплицу, где причудливые

волосатые растения пирамидами громоздились под висячими вазами, из которых, словно из змеиных гнезд, ползли через края вниз длинные зеленые перепутанные плети. Оранжерея, пристроенная к теплице, сообщалась внутренним ходом с людскими замка. Маркиз, чтобы позабавить молодую женщину, предложил показать ей конюшни. Над ящиками для овса, которым был придан вид корзин, на фарфоровых досках черными буквами были выведены имена лошадей. Каждая лошадь, когда проходили мимо ее стойла, тревожилась и щелкала языком. Пол в шорной блестел, как зальный паркет. Каретная сбруя висела посередине на двух вращающихся столбах, а мундштуки, хлысты, стремяна, цепочки были развешаны в ряд по стене.

Между тем Шарль попросил лакея распорядиться, чтобы заложили экипаж. Шарабанчик подали к крыльцу, и, когда вся поклажа была в него уложена, супруги Бовари, откланявшись маркизу и маркизе, тронулись обратно в Тост.

Эмма молчала и смотрела на колеса. Шарль, выдвинувшись на край сиденья, правил, широко расставляя руки; маленькая лошадка трусила иноходью в слишком просторных для нее оглоблях. Распущенные вожжи слабо хлестали по ее бедрам, покрываясь пеной, а короб, привязанный позади экипажа, мерными ударами потрясал кузов.

Они были на Тибурвильском перевале, когда невдалеке от них проскакали мимо два всадника; всадники смеялись и держали сигары в зубах. Эмме показалось, что один из них — виконт; она обернулась, но увидела уже на краю плоскогорья только их головы, которые то поднимались, то опускались под неровный такт рыси или галопа лошадей.

Через четверть версты пришлось остановиться, чтобы завязать веревкой лопнувшую подпругу.

Оглянув в последний раз сбрую, Шарль заметил что-то на земле, между копытами его лошади, нагнулся и поднял портсигар, оправленный в зеленый шелк, с гербом посреди, как на дверцах кареты.

— Тут есть даже две сигары, — сказал он, — это будет на вечер, к десерту.

— Разве ты куришь? — спросила она.

— Иногда, при благоприятном случае.

Он положил находку в карман и стегнул лошадку. Когда они приехали домой, обед еще только варился. Барыня вспылила. Настази отвечала дерзко.

— Уходите совсем! — сказала Эмма. — Вы делаете мне назло, я вас прогоняю.

К обеду был луковый суп и кусок телятины под щавелем. Шарль, сидя против Эммы и потирая руки с довольным видом, говорил:

— А приятно все-таки оказаться дома!

Слышно было, что Настази плачет. Он жалел эту бедную девушку. Когда-то, в долгие вечера, она была его единственной собеседницей при безделье его вдовства. Она же была и его первой пациенткой, и самой старинною знакомой в деревне.

— Разве ты ей окончательно отказала? — спросил он.

— А кто мне запретит? — ответила она.

Потом оба грелись в кухне, пока убрали спальню. Шарль закурил сигару. Курил он, выпятив вперед губы, ежеминутно сплевывая, и каждый раз откидывался назад, выпуская облако дыма.

— Тебе вредно курить, — сказала Эмма презрительно.

Он отложил сигару и побежал к крану выпить стакан холодной воды. Эмма, схватив портсигар, быстро забросила его в угол шкафа.

Долго тянулся следующий день. Она гуляла по садику, мерила шагами все те же аллеи, останавливалась перед клумбочками, перед фруктовыми шпалерами, перед гипсовым священником, с удивлением глядя на все прежнее, так хорошо ей знакомое.

Каким уже далеким казался ей теперь бал! Кто же отдалил на такое расстояние утро третьего дня от сегодняшнего вечера? Ее поездка в Вобьессар оставила в ее жизни провал, наподобие тех огромных трещин, которые в горах иногда в одну ночь вырывает буря. Но все же она покорилась: благоговейно уложила в комод свой прекрасный наряд и даже атласные башмачки, подошвы которых пожелтели от скользкого воска. Сердце ее походило на них: коснувшись роскоши, оно покрылось чем-то, чего уже нельзя было стереть.

Воспоминание о бале обратилось для Эммы в постоянное занятие. Каждую среду, просыпаясь, она говорила себе: «Вот уже неделя... вот две... вот уже и три недели прошли с того дня, как я была в замке». И мало-помалу лица смешались, она забыла мелодию контрдансов, не могла уже припомнить отчетливо ни ливрей, ни комнат; мелочи изгладились в памяти, а горечь в сердце осталась.

Глава IX

Часто, когда Шарля не было дома, она отпирала шкаф и вынимала из вороха белья запрятанный в него зеленый шелковый портсигар.

Рассматривала, открывала и вдыхала запах его подбивки — смесь вербены и табака. Чей он был?.. Виконта. Быть может, это подарок любовницы. Его вышивали в палисандровых пальцах, пряча эти маленькие пальцы от любопытных взглядов, склоняясь над ними долгие часы; по ним рассыпались шелковистые кудри задумчивой рукодельницы. Дыханием любви была провеяна каждая скважинка канвы; каждый стежок иглы скреплял с нею или надежду или воспоминание, и эти переплетшиеся шелковые нити были единой тканью одной непрерывной, безмолвной страсти. А потом в одно прекрасное утро виконт унес подарок с собой. О чем говорили вокруг в те часы, когда этот портсигар лежал на великолепных каминах, между ваз с цветами и часами в стиле Помпадур?.. Она в Тосте. А виконт теперь в Париже. В Париже! Каков этот Париж? Какое необъятное имя! Она с услаждением твердила его вполголоса; оно звучало в ее ушах, как соборный колокол; оно пылало перед ее глазами повсюду — до последней этикетки на баночке с помадой.

Ночью, когда рыбаки на телегах проезжали под окнами, распевая «Маржолену», она просыпалась, прислушивалась к грохоту обитых железом колес, который вдруг стихал по выезде за околицу, и думала: «Завтра они будут там!»

Летела за ними мыслью, взбираясь и спускаясь по возвышенностям, минуя деревни, подвигаясь по большой дороге при свете звезд. На неопределенном расстоянии всегда встречалось какое-то темное место, где умирала ее мечта.

Она купила себе план Парижа и кончиком пальца блуждала по столице. Скиталась по бульварам, останавливаясь на каждом углу, на перекрестках улиц, перед белыми квадратиками домов. Когда глаза уставали, она закрывала веки и видела во мраке колеблемые ветром языки газовых огней и подножки колясок, мгновенно откидывающиеся у подъезда театров.

Она подписалась на «Рабочую Корзинку», дамский журнал, и на «Сильфиду Салонов». Поглощала без пропуска все отчеты о первых представлениях, о бегах и вечерах, интересовалась дебютами певиц, открытием нового магазина. Она знала новые моды, адреса лучших

портных, дни оперных спектаклей и часы катания в Булонском лесу, изучила, по описаниям Евгения Сю, внутренние обстановки домов; прочла Бальзака и Жорж Санд, ища в их романах мечтательного удовлетворения своих вожделений. Даже за обеденный стол она садилась с книгой и перевертывала страницы в то время, когда Шарль ел и заговаривал с нею. Воспоминание о виконте неотвязчиво волновало ее при чтении. Она сближала его с лицами вымысла. Но круг, которого он был центром, мало-помалу расширялся, и его сияющий нимб, отделяясь от его лица, распространялся все дальше и озарял другие мечты.

Париж, беспредельный как океан, сверкал в ее глазах, как бы подернутый розовым туманом. Многоликая жизнь, волнуемая в этом смятении, рисовалась, однако, ее воображению разделенною на части, расчлененною на отдельные картины. Из них Эмма видела две-три; они затмевали все остальные и одни представляли все человечество. Мир дипломатов двигался по блестящим паркетам зеркальных зал вокруг овальных столов, покрытых бархатом с золотою бахромой. Там были платья с длинными шлейфами, великие тайны, страх и тревога, скрываемые под улыбками. Следовало общество герцогинь; там все бледны; встают в четыре часа; женщины — бедные создания! — носят английские кружева на подолах юбок, а мужчины, с непризнанными талантами под суетной внешностью, замучивают лошадей на увеселительных прогулках, проводят летний сезон в Бадене и к сорока годам женятся наконец на богатых наследницах. В отдельных кабинетах ресторанов, где ужинают за полночь, смеется озаренная снопами свечей пестрая толпа актрис и писателей. Они расточительны, как короли, горят возвышенным честолюбием, отдаются фантастическим безумствам. Это — жизнь сверхчеловеческая, жизнь между небом и землей, в грозových облаках, нечто недостижимо высокое. Остальной мир как-то затеривался, не занимал определенного места и как бы вовсе не существовал. Чем ближе были явления жизни, тем упорнее отворачивалась от них мечтательная мысль. Все, что окружало Эмму непосредственно, — скучная деревня, глупые мелкие мещане, скудость убогой жизни — представлялось ей каким-то исключением, частным случаем, несчастною особенностью ее личной судьбы, между тем как за пределами этого круга расстился на необозримое пространство безграничный мир блаженств и страстей. В своем алчном желании она смешивала наслаждения роскоши с сердечными радостями, изящные привычки — с тонкостью чувств. Разве любовь, думала она, не нуждается, подобно индийским растениям, в почве своеобразно возделанной, в необычном тепле? Вздохи при луне, долгие

объятия, слезы, льющиеся на милые руки в минуту разлуки, весь жар крови и все томление страсти возможны лишь на балконах замков, где жизнь полна досугов, в будуарах с шелковыми занавесками, мягкими коврами, корзинами цветов, кроватью на возвышении, — возможны лишь среди сверкания драгоценных камней и ливрей, расшитых золотом.

Каждое утро парень с почтовой станции, нанятый чистить кобылу, стучал по коридору деревянными подошвами; блуза его была вся в дырах, а обувь надета на босу ногу. Вот грум в коротких штанах, которым ей приходилось довольствоваться! Окончив работу, он уже более не приходил в течение дня; Шарль, приехав домой, сам отводил лошадь в конюшню, снимал с нее седло и надевал недоуздок, а служанка приносила охапку соломы и, как умела, бросала ее в стойло.

Вместо Настази (которая все же уехала из Тоста, проливая потоки слез) Эмма взяла в услужение четырнадцатилетнюю девушку-сиротку с кротким лицом. Она запретила ей носить коленкоровые чепчики, научила ее говорить с господами в третьем лице, подавать стакан воды на тарелке, стучать в дверь, прежде чем войти в комнату, гладить, крахмалить, одевать барыню, — словом, хотела превратить ее в свою горничную. Новая служанка повиновалась без ропота, боясь, чтобы ее не рассчитали; а так как барыня оставляла обычно ключ в буфете, то Фелисите каждый вечер уносила с собою наверх маленький запас сахара и съедала его одна в постели, помолясь на ночь.

После обеда она иногда отправлялась через улицу поболтать с почтальонами. Барыня сидела наверху в своей комнате.

Она носила широкий халат с отворотами шалью, из-под которых видна была блузка в складочках, с тремя золотыми запонками. Поясом служил шнурок с крупными кистями, маленькие туфли гранатового цвета были украшены на подъеме густыми бантами из широких лент. Она купила себе бювар, ручку, бумаги и конвертов, хотя писать ей было некому; стирала пыль с своей этажерки, смотрелась в зеркало, брала книгу, затем, погружаясь в мечты между строк, роняла ее на колени. Ей хотелось поехать путешествовать или вернуться в свой монастырь. Одновременно она желала и умереть, и жить в Париже.

Тем временем Шарль в снег и в дождь трусил верхом по проселочным дорогам, закусывал яичницей на фермах, запускать руки в сырые простыни постелей, получал прямо в лицо волны теплой крови во время кровопусканий, слушал предсмертное хрипение, разглядывал тазы, ворошил грязное белье; но, возвращаясь домой вечером, заставлял яркий огонь, накрытый стол, мягкую мебель и изящно одетую прелестную жену,

обвеянную свежим ароматом, так что трудно было сказать, откуда шел этот запах и не тело ли ее пропитывало благоуханием ее рубашку.

Она приводила его в восторг всевозможными утонченными затеями; то придумывала способ складывать по-новому бумажные розетки для свеч, то меняла оборку на платье, то сочиняла замысловатое название для простого кушанья, испорченного кухаркой, но с удовольствием поглощаемого Шарлем. Она видела на руанских дамах связки часовых брелоков и тотчас купила себе брелоки. Ей вздумалось украсить камин парой высоких ваз из синего стекла, а немного спустя приобрести несессер из слоновой кости, с вызолоченным наперстком. Чем менее понятны Шарлю были эти тонкости, тем более они его пленяли. Они услаждали его чувства и что-то прибавляли к прелести его домашнего очага. То было словно золотая пыль, усыпавшая на всем ее протяжении узкую тропинку его жизни.

Здоровье его было превосходно, вид цветущий, репутация прочно установилась. Деревенский люд его любил за то, что он не важничал. Он ласкал детей, никогда не заходил в кабачок и вообще внушал доверие своей нравственностью. Особенно удавалось ему лечение катаров и грудных болезней. Опасаясь отправить больного на тот свет, он преимущественно прописывал успокоительные средства, время от времени рвотное, ножную ванну или пиявки. Но нельзя было сказать, чтобы пугала его и хирургия: он делал людям лошадиные кровопускания, а при дерганье зубов проявлял «адскую силу».

Наконец, чтобы не отстать от науки, он подписался на новый журнал «Медицинский улей», объявление о котором ему было прислано. Читал он его понемногу после обеда; но комнатное тепло вместе с пищеварением минут через пять погружали его в дремоту и наконец в глубокий сон; он оставался так, положив голову на руки, а волосы его, словно грива, рассыпались по всему столу, до самой лампы. Эмма взглядывала на него, пожимая плечами. Почему ее муж не был хотя бы одним из тех молчаливых и упорных людей, которые просиживают ночи над книгами, но зато к шестидесяти годам, к возрасту ревматизмов, носят на черном весьма дурно сшитом фраке целую цепочку орденов! Ей хотелось, чтобы имя Бовари — оно же было и ее имя — стало знаменитым, красовалось в витринах книгопродавцев, повторялось газетами, было известно по всей Франции. Но Шарль был вовсе лишен честолюбия! Врач из Ивето, с которым он недавно встретился на консультации, до известной степени унизил его у самой постели больного, в присутствии родственников. Когда Шарль вечером рассказал Эмме об этом незначительном случае, она была возмущена его коллегой. Шарля это тронуло; он поцеловал ее в лоб со

слезами на глазах. Но она была вне себя от стыда, ей хотелось его прибить, она вышла в коридор и распахнула окно, вдыхая свежий воздух, чтобы немного успокоиться.

— Ничтожный человек! Ничтожество! — шептала она, кусая губы.

Вообще он раздражал ее все больше и больше. С возрастом он приобретал грубые привычки: за десертом резал ножом пробки от пустых бутылок; после обеда прочищал языком зубы; когда ел суп, чавкал при каждом глотке, и при всем том так толстел, что и без того маленькие глаза его от толщины щек, казалось, приподымались к вискам.

Эмме случалось запрягивать под жилет красную оторочку его фуфайки, оправлять его галстук или выбрасывать полинявшие перчатки, которые он собирался надеть; все это делала она не ради него, как он воображал, а ради себя, из эгоизма, из нервной раздражительности. Иногда она рассказывала ему о прочитанном, передавала какое-нибудь место из романа, из новой пьесы или случай из великосветской жизни, сообщенный в фельетоне; ибо все же Шарль был какой бы то ни было собеседник, и притом собеседник, всегда готовый все выслушать и все одобрить. Поверяла же она свои тайны левретке! Она могла бы вести разговор и с поленьями в камине, и с маятником часов.

Между тем в глубине души она непрестанно ждала события. Подобно матросам перед гибелью, она окидывала безнадежным взглядом свою пустынную жизнь, отыскивая вдали, в тумане, белый парус. Она не знала, какова будет эта случайность — этот парус, какой ветер пригонит его к ней, к какому берегу он ее унесет, будет ли то шлюпка или трехмачтовый корабль, отягченный заботами или же до бортов нагруженный счастьем. Но, просыпаясь по утрам, она ждала, что он появится в течение дня, настороженно прислушиваясь ко всем шумам, и вскакивала от каждого, удивлялась, что ничего еще не случается; а на закате солнца, совсем загрузив, желала, чтобы поскорее наступил завтрашний день.

Настала снова весна. В первые жаркие дни, когда зацвели грушевые деревья, она испытала удушья.

С начала июля она уже считала по пальцам, сколько недель остается до октября, думая, что маркиз д'Андервиллье, быть может, даст еще бал в Вобьессаре. Но и сентябрь миновал: ни письма, ни визита.

Когда прошла тоска обманутых ожиданий, ее сердце опять опустело, и потянулся ряд однообразных дней.

Теперь они так и потекут, один за другим, похожие один на другой, бесчисленные и равно бесплодные! Жизнь других людей, как бы плоска она ни была, таит в себе по крайней мере возможности событий. Одно

приключение влечет иногда за собой нескончаемые перипетии, и вот все окружающее переменялось. Но с нею ничего не случается, так судил Бог! Будущее представлялось ей черным коридором с плотно запертою в конце дверью.

Она бросила музыку. К чему играть? Кому ее слушать? Так как никогда не будет она, одетая в бархатное платье с короткими рукавами, в концертной зале, касаясь клавиш из слоновой кости легкими пальцами, играть на эраровском рояле и никогда не услышит, будто шелест ветерка вокруг, восхищенного шепота, — не стоит труда разучивать ноты! Она не вынимала более из шкафа ни своих рисунков, ни вышиванья. К чему? К чему? Шитье раздражало ее.

«Я все прочла», — говорила она себе. И сидела, раскаляя докрасна каминные щипцы или глядя в окно на льющийся дождь.

Какая тоска нападала на нее по воскресеньям, когда звонили к вечерне! В оцепенелом напряжении прислушивалась она к мерным ударам надтреснутого колокола. Кошка, медленно пробираясь по крыше, выгибала спину дугой навстречу бледным лучам солнца. Ветер на большой дороге подымал тучи пыли. Вдали порой выла собака; а колокол продолжал однообразно звонить через ровные промежутки, и звон замирал в полях.

Народ расходился из церкви. Женщины в натертых воском деревянных башмаках, крестьяне в новых блузах, ребятишки, скачущие впереди с непокрытыми головами, — все шли домой. И до самой ночи пятеро, шестеро человек, всегда одни и те же, играли в пробки перед дверью трактира.

Зима была холодная. Оконные стекла с утра замерзали, и беловатый матовый свет не менялся иногда в течение целого дня. С четырех часов приходилось зажигать лампу.

В хорошую погоду она выходила в сад. Роса оставляла на капусте серебряные кружева с длинными светлыми нитями, протянувшимися от одного кочана к другому. Птиц не было слышно; все, казалось, уснуло; шпалеры были укутаны в солому, а виноградная лоза напоминала большую больную змею под навесом стены, на которой, подойдя, можно было разглядеть ползущих сороконожек. В мелком ельнике у забора поп в треугольной шляпе и с молитвенником в руках лишился правой ноги, а лицо из гипса, облупившегося на морозе, покрылось белыми болячками.

Эмма поднималась к себе, запирала двери, перемешивала в камине уголья и, расслабленная жаром, чувствовала, как скука еще тяжелее наваливается на ее плечи. Она охотно сошла бы в кухню поболтать со служанкой, но ее удерживал стыд.

Каждый день в один и тот же час сельский школьный учитель, в черной шелковой шапочке, открывал ставни своего дома да проходил сторож в блузе и при сабле. Вечером и утром почтовые лошади, всегда по три зараз, проходили по улице на водопой к пруду. Время от времени звякал колокольчик у двери трактира, а в ветреные дни слышно было, как скрипели на петлях медные тазики, подвешенные взамен вывески перед цирюльней. Ее можно было отличить, кроме того, по старой модной картинке, приклеенной к стеклу, и по восковому бюсту женщины с желтыми волосами. Цирюльник также жаловался на препятствия, встреченные им на пути его призвания, на погибшую будущность и в мечтах о парикмахерской где-нибудь в большом городе, например в Руане, по соседству с портом и театром, проводил целые дни, расхаживая от мэрии до церкви, предаваясь унынию и высматривая посетителей. Когда госпожа Бовари поднимала глаза, она замечала его, словно часового на посту, в феске, надвинутой на ухо, и в лапчатой куртке.

В послеполуденные часы за окном столовой показывалось порой лицо мужчины, загорелое, с черными бакенами; оно тихо осклаблялось широкою кроткою улыбкою и скалило белые зубы. Слышались звуки вальса, и на органчике танцоры ростом с палец — дамы в розовых тюрбанах, тирольцы в своих куртках, обезьяны в черных фраках, кавалеры в коротких панталонах — начинали вертеться, вертеться между кресел, диванов и стенных ламп, отражаясь в кусочках зеркала, вправленных в золотую бумагу. Мужчина вертел ручку шарманки, поглядывая то вправо, то влево, то на окна. Время от времени, сплевывая на тумбу длинную струю темной слюны, он приподымал коленом свой инструмент, жесткий ремень которого резал ему плечо, и то жалобные и певучие, то радостные и стремительные звуки вырывались, с жужжанием и гудением, из-за розовой тафтяной занавески под медным резным перехватом. Эти арии играют в городах на сценах театров, их поют в гостиных; под их мелодию танцуют на вечерах при блеске люстр, — в них долетали до Эммы отголоски светской жизни. Нескончаемые сарабанды тянулись у нее в ушах, и, подобно баядерке по цветистым узорам ковра, мысль ее порхала и прыгала вслед за звуками, перекидываясь от мечты к мечте, от печали к печали. Получив подавание, брошенное в фуражку, шарманщик покрывал шарманку старым синим шерстяным покрывалом, вскидывал ее на плечи и, тяжело ступая, уходил. Эмма смотрела ему вслед.

Но особенно невыносимо тяжело бывало ей в часы обеда, в маленькой столовой внизу, с дымящею печкой, скрипучею дверью, сырыми стенами, мокрым полом; вся горечь жизни, казалось, преподносилась ей тут на

блюде: над вареной говядиной клубился пар, в душе ее шевелились приступы отвращения. Шарль ел медленно; она грызла орехи или, облокотясь на стол, чертила от скуки острием ножа узоры на клеенке.

Хозяйство она запустила, и Бовари-мать, приехав Великим постом погостить у сына, весьма удивилась этой перемене. Невестка, прежде такая тщательная в одежде, такая избалованная, теперь целыми днями ходила неодетою и носила серые бумажные чулки, жгла сальные свечи; твердила, что надобно сокращать расходы, так как они люди небогатые, и прибавляла, что сама она всем довольна и очень счастлива, что жизнь в Тосте ей нравится и еще много другого и нового, против чего свекрови ничего не приходилось возражать. При всем том Эмма, казалось, более не расположена была следовать ее советам; и даже раз, когда старая госпожа Бовари сочла уместным высказать ей мнение, что благочестие прислуги должно составлять предмет хозяйского попечения и надзора, она ответила ей столь гневным взглядом и столь холодною улыбкою, что старуха с тех пор и не заикалась об этом вопросе.

Эмма становилась все прихотливее, все привередливее. Она заказывала себе особые блюда, а сама к ним и не притрагивалась; иногда по целым дням пила одно сырое молоко, а на другой день — только чай, чашку за чашкой. Часто она упорно не желала выходить из дому, потом начинала задыхаться, распахивала окна настежь, надевала легкое платье. Разобидев служанку, потом ее задаривала и отпускала в гости к соседкам; иногда раздавала бедным все серебряные деньги, что были в кошельке, хотя от природы вовсе не была сострадательна и не легко трогалась чужою бедой, как большинство людей, вышедших из крестьянского сословия и навсегда сохранивших в душе ту жесткость, которая у их предков была жесткостью рук, загрубелых в полевой работе.

В конце февраля старик Руо, в память своего выздоровления, сам привез зятю великолепную индюшку и остался гостить на три дня. Шарль был занят больными; со стариком проводила время Эмма. Он зачадил комнаты дымом своей трубки, заплевал каминные решетки, говорил о сельском хозяйстве, о телках, о коровах, о домашней птице и о муниципальном совете; когда он уехал она заперла за ним дверь с чувством облегчения, удивившим ее самое. Впрочем, она уже перестала скрывать свое презрение к вещам и людям; иногда принималась она защищать странные мнения, порицая то, что принято хвалить, и одобряя порочное и безнравственное; муж только глаза таращил.

Неужели это убожество будет длиться всю жизнь? Неужели она из него не вырвется? Ведь она не хуже тех женщин, что живут счастливо! В замке

Вобьессар она видела герцогинь с неуклюжей талией и вульгарными манерами и возмущалась против небесной несправедливости; прислонялась головой к стене и плакала; завидовала мужчинам, ведущим бурную жизнь, их ночным похождениям в масках, их дерзким наслаждениям со всеми упоениями, каких она не знала и которые должны были в них таиться.

Она бледнела и страдала сердцебиениями; Шарль прописал ей валериану и камфарные ванны. Все попытки помочь ей только больше ее раздражали.

В иные дни она с лихорадочною словоохотливостью болтала; возбуждение внезапно сменялось состоянием тупого бесчувствия, когда она переставала говорить и двигаться. Оживить себя в такие минуты она могла, только обливая себе руки и плечи одеколоном.

Так как она постоянно жаловалась на Тост, Шарль начал приписывать ее болезнь какому-нибудь местному влиянию; придя к этой мысли, он уже серьезно подумывал переселиться в другое место.

С тех пор она начала пить уксус, чтобы похудеть, стала кашлять сухим кашлем и совершенно потеряла аппетит.

Чего стоило Шарлю покинуть Тост, после того как он прожил там четыре года! И покинуть как раз в ту пору, когда положение его наконец поупрочилось! Но все же коль это необходимо... Он повез ее в Руан, к своему старому профессору. У нее оказалась нервная болезнь: желательна была перемена климата.

Наведя справки здесь и там, Шарль разузнал наконец, что в округе Невшатель есть местечко Ионвиль-л'Аббэй, откуда только на прошлой неделе убрался врач, бывший польский эмигрант. Написал местному аптекарю, прося его сообщить, как велико население местечка, в каком расстоянии живет ближайший в околотке коллега, сколько в год зарабатывал его предшественник и так далее, и, получив удовлетворительные ответы, решил перебраться в Ионвиль к весне, если здоровье Эммы не улучшится.

Однажды, производя разборку ящиков ввиду предстоящего отъезда, она вдруг уколола себе обо что-то палец. То была проволока от ее свадебного букета. Бутоны померанцевых цветов пожелтели от пыли, и атласные ленты с серебряною каймой обтрепались по краям. Она бросила букет в огонь. Он вспыхнул ярче сухой соломы; потом превратился как бы в красный куст, медленно истлевающий на золе. Она глядела, как он горит. Картон, лопаясь, потрескивал, скручивалась проволока, плавился позумент; бумажные лепестки цветов корчились и качались, вырисовываясь на

чугунной плите, словно черные бабочки, и, наконец, улетали в трубу.

Когда в марте месяце тронулись в путь, госпожа Бовари была беременна.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I

Ионвиль-л'Аббэй, местечко, ведущее свое имя от старинного капуцинского аббатства, не оставившего на память о себе и развалин, лежит в восьми лье от Руана, промеж двух дорог — в Аббевиль и в Бовэ. Расположено оно в долине, над речкой Риэлой, впадающей в Андель и приводящей в движение, неподалеку от слияния с Анделью, целых три мельницы; в ней попадают форели, которых мальчики для забавы ловят по воскресеньям на удочку.

Надобно свернуть с большой дороги у Лабуассиер, потом по ровному плоскогорью достичь спуска с высот Лё; оттуда и видна будет вся долина. Речка, протекающая по ней, разделяет ее на две разные по виду местности: налево от речки — зеленые луга, направо — пашни. Луга тянутся окаймленные валом невысоких холмов, за которым они сливаются с пастбищами Брэ, тогда как с восточной стороны равнина слегка приподымается, становится все шире и, наконец, расстилается до краев кругозора, покрытая золотистой нивой. Река, бегущая по травянистому ложу, разделяет белой полосой зелень лугов от зеленей пашен, и вся долина похожа на огромный развернутый плащ с зеленым бархатным воротником, отороченным серебряною оторочкой.

На горизонте, подъезжая, видишь перед собой дубы Аргельского леса и возвышенности Сен-Жана, испещренные по обрывам сверху донизу длинными неровными красными полосами: то следы дождей, и кирпичная окраска этих жал, змеящихся тонкими нитями по серому, происходит от множества железистых источников, бьющих на окрестных высотах.

Здесь мы на границе Нормандии, Пикардии и Иль-де-Франса, в промежуточной области, где все смешано, где язык лишен самобытного произношения, а местность своеобразной физиономии. Здесь изготавливается самый худший невшательский сыр во всей округе, а обработка земли обходится дорого, так как нужно много навоза для удобрения рассыпчатой почвы, перемешанной с песком и гольшами.

До 1835 года не было в Ионвиль проезжей дороги; но около этого времени проложили здесь проселок, соединяющий дороги в Аббевиль и в Амьен, по которому иногда идут обозы из Руана во Фландрию. Все же Ионвиль-л'Аббэй — местечко отсталое, несмотря на открывшиеся ему возможности торговых «сношений и сбыта». Вместо того чтобы улучшить землепашество, там продолжают упорно заниматься луговым хозяйством,

как бы невыгодно оно ни было, и ленивый городишко, отворачиваясь от хлебородной равнины, сползает все ниже к реке. Видно издали, как он растянулся по берегу, словно подпасок, разлегшийся в полдень где попрохладней.

У подножия обступавших долину высот, за мостом, начинается шоссе, обсаженное молодым осинником и ведущее прямо к первым домам местечка. Каждый домик обнесен живою изгородью и стоит посреди двора, заполненного хозяйственными постройками, сараями, давальнями, винокурнями; их прикрывает густая листва деревьев, обставленных и обвешанных по ветвям лестницами, жердями, косами. Соломенные крыши, словно нахлобученные меховые шапки, почти на треть закрывают оконца с толстыми выпуклыми стеклами, пузырчатыми посредине, как донышко бутылки. Вдоль выбеленной стены с косыми черными перекладинами тянется кое-где вверх захудалое грушевое деревцо, а входные двери домов снабжены вертящимся затвором для защиты от цыплят, которые ищут у порога крошек ячменного хлеба, смоченных сидром. Но вот дворы становятся уже, дома теснятся, исчезают изгороди; метелка, сделанная из пучка папоротниковых листьев, воткнутого на палку, качается под окном; тут стоит кузница, а дальше мастерская тележника, с двумя-тремя новенькими телегами, загородившими дорогу. Еще дальше сквозь кусты виден белый домик за кругом газона, украшенного амуром, прижавшим пальчик к губам; по обе стороны крыльца — две чугунные вазы, на дверях медные доски с эмблемами: то дом нотариуса, самый красивый в округе.

Церковь — по другую сторону улицы, шагов на двадцать дальше, при въезде на площадь. Маленькое кладбище вокруг нее, обнесенное низенькою оградой, так переполнено могилами, что старые плиты, осевшие до уровня земли, образовали сплошной каменный помост, где трава сама нарисовала правильные зеленые четырехугольники. Церковь была перестроена заново в последние годы царствования Карла X. Деревянный свод ее подгнивает сверху, черные пятна рухлых впадин пестрят его синий шатер. Над входом, где полагается стоять органу, устроены хоры для мужчин, с витой лестницей, гулко сотрясаемой деревянными башмаками.

Дневной свет, проникая сквозь бесцветные стекла, бросает косые лучи на поперечные ряды скамей, снабженных кое-где соломенной настилкой и надписью крупными буквами: «Такого-то». В том месте, где средний проход суживается, насупротив исповедальни, пестреет статуя Богоматери, одетая в шелковое платье, с тюлевым покрывалом на голове, усеянным серебряными звездами, и с ярко нарумяненными, как у кумира с Сандвичевых островов, щеками; наконец, в глубине, над алтарем, между

четырьмя подсвечниками, перспективу замыкает копия «Святого Семейства», присланная министром внутренних дел. Места для священнослужителей из соснового дерева остались некрашеными.

Рынок, то есть черепичный навес, поддерживаемый двумя десятками столбов, занимает один почти половину огромной площади Ионвиля. Мэрия, «сооруженная по рисункам парижского архитектора», есть род греческого храма, выстроенного в угол с домом аптекаря. Нижний этаж ее украшен тремя ионическими колоннами, а второй этаж — галереей с круглыми арками; на фронте здания галльский петух опирается одною лапой на хартию и держит в другой весы правосудия.

Но всего более привлекает взоры аптека господина Гомэ, против гостиницы «Золотой Лев», особенно по вечерам, когда в ней горит лампа и красующиеся в окне шары, красный и зеленый, отбрасывают вдаль по земле два цветных отблеска; тогда сквозь них, словно в озарении бенгальского огня, можно различить силуэт аптекаря, облокотившегося на свою конторку. Его дом сверху донизу покрыт объявлениями, провозглашающими то английским шрифтом, то рондо, то печатными буквами: «Вода Виши, сельтерская, Барежская, слабительный сироп, пилюли Распайля, арабский ракаут, лепешки Дарсэ, мазь Реньо, бандажи, ванны, питательный шоколад» и т. д. А на вывеске, во всю ширину аптеки, золотыми буквами начертано: «Гомэ, аптекарь». В глубине аптеки, за большими весами, вделанными в прилавок, над стеклянною дверью развешивается надпись: «Лаборатория», а на двери, приблизительно на середине ее высоты, золотыми буквами по черному полю значится еще раз: «Гомэ».

Кроме этого, больше не на что смотреть в Ионвиле. Улица, единственная в городе, тянется на ружейный выстрел, оживленная несколькими лавками, и на повороте дороги вдруг обрывается. Если оставить ее по правую руку и обогнуть подножие холма Сен-Жан, то скоро дойдешь до кладбища.

Во время холерной эпидемии, чтобы расширить его, снесли часть ограды и купили по соседству три акра земли; но эта новая земля почти пустует, а могилы по-прежнему теснятся ближе ко входу. Кладбищенский сторож, он же одновременно и могильщик и понамарь (собирающий, таким образом, с покойников двойной доход), воспользовался пороженною землею и засеял ее картофелем. Из года в год, однако, его огород становится все меньше, и когда появляется эпидемия, он не знает, радоваться ли ему новым гостям или огорчаться приростом могил.

— Вы кормитесь за счет мертвецов, Лестибудуа! — сказал ему наконец

однажды священник.

Эта мрачная фраза заставила его призадуматься и на некоторое время остановила его; но теперь он продолжает возделывать свой картофель и даже утверждает самоуверенно, что он вырастает на грядках сам собою.

Со времени тех событий, которые будут здесь описаны, ничто в самом деле не изменилось в Ионвиле. Жестяной трехцветный флаг, как встарь, вертится на церковной колокольне; над галантерейной лавкой до сих пор развеваются по ветру два куска ситца; аптечные эмбрионы, вместе с пачками белого трута, продолжают гнить в мутном спирту, а над воротами трактира старый золотой лев, полинявший от дождей, выставляет по-прежнему перед прохожими свою кудрявую, как у пуделя, шерсть.

В тот вечер, как супруги Бовари должны были прибыть в Ионвиль, у хозяйки «Золотого Льва», вдовы Лефрансуа, было столько хлопот, что она обливалась потом, ворочая свои кастрюли. Был канун рыночного дня в местечке. Надобно было заранее разрубить мясо, выпотрошить кур, наварить супу и кофе. Сверх того, она должна была стряпать на нахлебников, да еще приготовить обед доктору, его жене и их прислуге; из бильярдной доносились взрывы хохота; три мельника в трактирном зале требовали водки; дрова пылали, обуглившиеся головни потрескивали, и на длинном кухонном столе среди кусков сырой баранины высились стопы тарелок, дрожавших от толчков доски, на которой рубили шпинат. С птичьего двора доносилось кудахтанье кур: за ними гонялась служанка, чтоб их зарезать.

Мужчина в зеленых кожаных туфлях и в бархатной шапочке с золотой кистью, лицом рябоватый, грел себе спину у камелька. Лицо его выражало одно только самодовольство, и смотрел он на жизнь, казалось, с таким же спокойствием, как щегленок, висевший над его головой, на свою клетку из ивовых прутьев: то был аптекарь.

— Артемиза! — кричала трактирщица. — Наломай прутьев, наполни графины, принеси водки, да живей! Хоть бы я знала, что подать на десерт господам, которых вы ожидаете! Боже милостивый! Ломовые опять подняли гам в бильярдной! А их телега так и осталась у ворот! Еще, чего доброго, «Ласточка» переломает ее на въезде. Кликни Полита, чтобы он вкатил ее в сарай... Поверите ли, господин Гомэ, с утра они сыграли пятнадцать партий и выпили при этом восемь кувшинов сидра!.. Того и гляди, прорвут сукно, — продолжала она, глядя на них, с шумовкой в руке.

— Беда не велика. — ответил господин Гомэ, — другой купите.

— Другой бильярд! — воскликнула вдова.

— Да ведь этот уж еле держится, госпожа Лефрансуа; повторяю вам,

вы себе вредите! Вы себе страшно вредите! Теперешние игроки любят, чтобы лузы были узкие, а кии тяжелые. Теперь уж другая игра пошла! Все переменялось! Надо поспевать за веком! Посмотрите-ка на Теллье...

Трактирщица вся покраснела с досады. Аптекарь прибавил:

— Что ни говорите, а у него бильярдец приятнее вашего; и если бы затеяли, например, патриотическую пульку, в пользу поляков, что ли, или, скажем, потерпевших от наводнения в Лионе...

— Мы не боимся такой голытьбы, как Теллье, — прервала хозяйка, пожимая жирными плечами. — Полноте, господин Гомэ, пока жив «Золотой Лев», в публичке у него недостатка не будет! У нас хватит пороху! А вот «Французское кафе» в одно прекрасное утро окажется опечатанным, с великолепным объявлением на ставнях — о продаже с молотка! Переменить мой бильярд, — продолжала она, рассуждая сама с собою, — когда на нем так удобно раскладывать белье! Бывало, как наедут охотники, я на нем по шести человек спать укладывала!.. Ах, этот копун Ивер все не едет!

— Вы будете ждать, пока он не приедет, чтобы накормить пансионеров? — спросил аптекарь.

— Ждать? А господин Бинэ! В шесть часов ровно, вы увидите, он уж тут как тут, потому что по аккуратности нет ему равного на земле. Прибор его должен быть непременно на том же месте в маленькой зале. Умрет скорее, чем согласится отобедать в другой комнате. И привередлив же, а в сидре так разборчив, что и не угодишь! Это не то что господин Леон, этот иногда и в семь придет, и даже в семь с половиной; он и не смотрит, что ему подадут. Прекрасный молодой человек! Голоса никогда не возвысит!

— Большая, видите ли, разница между человеком, получившим образование, и простым сборщиком податей, бывшим жандармом.

Пробило шесть часов. Вошел Бинэ.

На худом его теле болтался синий сюртук, из-под козырька кожаной фуражки с отворотами, завязанными тесемкою на темени, виден был лысый лоб, придавленный долгим знакомством с каской. Он носил жилет из черного сукна, волосяной галстук, серые панталоны и во всякую погоду хорошо вычищенные сапоги с симметрическими выпуклостями на выдававшихся больших пальцах. Ни один волосок не выбивался за линию его светлой бороды, обрамлявшей, словно бордюр клумбу, длинное тусклое лицо с маленькими глазками и горбатым носом. Он был силен во всех играх на зеленом столе, удачно охотился, обладал красивым почерком и упражнялся в резьбе на токарном станке; его забавляло вытачивать салфеточные кольца, которыми он наполнял весь дом с ревностью

художника и себялюбивою ограниченностью мещанина.

Он направился в комнату для гостей; но раньше надобно было удалить оттуда трех мельников; и все время, пока накрывали ему на стол, Бинэ упорно молчал, заняв обычное место у печки, потом запер дверь и снял по заведенному порядку фуражку.

— Этот не намозолит себе языка любезностями, — сказал аптекарь, оставшись опять наедине с трактирщицей.

— Он никогда не бывает разговорчивее, — отвечала та. — На прошлой неделе сюда завернули два торговца сукном, превеселые, преостроумные молодые люди, весь вечер рассказывали анекдоты; до слез меня распотешили; что же вы думаете? — этот сидит как рыба, так ни слова и не сказал.

— Да, — сказал аптекарь, — нет у него ни воображения, ни находчивости — словом, ничего, что отличает светского человека!

— А ведь считается человеком способным, — возразила хозяйка.

— Способным? — переспросил Гомэ. — Он? Способным? Быть может, по своей части, — прибавил он спокойнее. И продолжал: — Ах, если коммерсант, ведущий крупные дела, или, скажем, юрисконсульт, доктор, аптекарь бывают так поглощены своими мыслями, что становятся нелюдимыми и чужаками, это я понимаю! Этому есть примеры в истории! Но они, по крайней мере, о чем-нибудь думают! Мне самому, например, сколько раз случалось, чтобы написать рецепт, искать перо на конторке, а оно торчит у меня за ухом!

Между тем госпожа Лефрансуа выглянула за дверь, не едет ли «Ласточка», — и вдруг вся вздрогнула. Человек, одетый в черное, вошел в кухню. В последнем свете сумерек можно было различить его румяное лицо и атлетическое телосложение.

— Чем могу служить, господин кюре? — спросила трактирщица, доставая один из медных шандалов со свечами, выстроенных ровную колоннадой на камине. — Не угодно ли чего выпить? Рюмочку смородинной? Стакан вина?

Священник учтиво отказался. Он зашел за своим зонтиком, который забыл на днях в монастыре Эрнемон, и, попросив госпожу Лефрансуа прислать его в церковный дом в тот же вечер, отправился в церковь, где звонили ко всенощной.

Когда затих звук его шагов по площади, аптекарь заявил, что поведение священника было прямо непристойно. Отказ от напитков показался ему отвратительным лицемерием: все попы тайком пьянствуют и хотели бы вернуть времена церковной десятины.

Трактирщица заступилась за своего духовника:

— Да он четверых таких, как вы, в дугу согнет. В прошлом году помогал он нашим работникам убирать солому; сразу по шести вязок подымал, вот до чего силен!

— Молодчина, что и говорить, — сказал аптекарь. — Извольте-ка посылать наших дочерей к здоровякам с таким темпераментом — на исповедь! Я, будь я на месте правительства, издал бы указ, чтобы священникам раз в месяц пускали кровь. Да, мадам Лефрансуа, ежемесячно хорошее кровопускание в интересах полиции и добрых нравов!

— Замолчите, господин Гомэ! Вы безбожник. У вас нет религии.

Аптекарь ответил:

— У меня есть религия, моя собственная религия, и могу сказать — во мне больше религиозности, чем в этих лицемерах с их ханжеством и фокусами! Безбожник? Напротив! Я поклоняюсь Божеству. Я верю в Верховное Существо, в Творца, каков бы он ни был, — это мне безразлично, — поселившего нас здесь, на земле, для исполнения обязанностей гражданина и отца семейства; но мне не нужно в силу этого ходить в церковь, целовать серебряные тарелки и откармливать из своего кармана толпу шарлатанов, которые едят лучше нас. Богу можно поклоняться и в лесу, и в поле или просто созерцая эфирный свод, как древние. Мой Бог — Бог Сократа, Франклина, Вольтера и Беранже. Я стою за «Исповедание веры савойского викария» и за бессмертные принципы восемьдесят девятого года. Поэтому не признаю такого Боженьки, который прогуливается в своем саду с палочкой, отводит своим друзьям помещение во чреве китовом, умирает с криком агонии и через три дня воскресает: все это бессмысленно само по себе, совершенно противоречит законам физики и, между прочим, доказывает, что священники всегда коснели в грубом невежестве, в которое старались увлечь вслед за собою и народные массы.

Он умолк, ища вокруг глазами слушателей, ибо, в жару возбуждения, аптекарь на миг вообразил себя в муниципальном совете. Но уже трактирщица его не слушала; она старалась уловить отдаленный стук колес. Вскоре можно было различить грохот громоздкого экипажа вместе с хлябаньем непрочного подбитых подков, и «Ласточка» наконец остановилась перед дверью.

То был желтый ящик на двух огромных колесах, которые, поднимаясь до багажной крыши, заслоняли путешественникам вид на дорогу и забрызгивали им плечи грязью. Маленькие стекла узких окошечек дрожали в своих рамах на ходу кареты и были забрызганы комьями грязи поверх старого слоя пыли, не отмываемой и проливным дождем. Экипаж был

влеком парюю лошадей, которым помогала третья, припряженная впереди, и на спусках, покачиваясь и ныряя, задевал кузовом землю.

Ионвильские обыватели высыпали кучкой на площадь; говорили все разом, спрашивали о новостях, требовали разъяснений, разбирали свои корзины; Ивер не знал, кому отвечать. Он один исполнял в городе все поручения местечка: ходил по лавкам, привозил кожи башмачнику, кузнецу железо, своей любовнице то бочонок сельдей, то шляпу от модистки, то накладку от парикмахера; всю дорогу, едучи из города, он распределял свертки, которые швырял за ограды дворов, приподнимаясь на козлах и крича изо всех сил, пока лошади брели одни по дороге.

На этот раз его задержал в пути несчастный случай: левретка госпожи Бовари вырвалась в поле. Свистали и кликали собаку с добрых четверть часа. Ивер даже повернул лошадей и проехал с полверсты обратно, надеясь каждую минуту ее завидеть; но необходимо было продолжать путь. Эмма плакала, сердилась, обвиняла в этом несчастье Шарля. Господин Лере, галантерейный торговец, сидевший вместе с ними в почтовой карете, пытался ее утешить многими примерами сбежавших собак, которые узнавали своих хозяев по прошествии долгих лет. Приводят, говорил он, случай, что одна собака вернулась в Париж из Константинополя. Другая пробежала пятьдесят миль по прямой линии и переплыла четыре реки; у его родного отца был пудель, который после двенадцатилетней разлуки вдруг обнял его лапами на улице однажды вечером, когда тот отправлялся в гости обедать.

Глава II

Эмма вышла первая, за нею Фелисите, потом Лере, потом кормилица; Шарля, крепко заснувшего в углу с наступлением темноты, пришлось разбудить.

Гомэ отрекомендовался; он выразил почтение даме, раскланялся с господином доктором, сказал, что счастлив, если мог оказать им услугу, и сердечным тоном прибавил, что осмелился сам пригласить себя к обеду; к тому же супруги его сегодня нет дома.

Оказавшись в кухне, госпожа Бовари подошла к очагу. Кончиками пальцев она приподняла платье у колен и, подобрав его до щиколоток, протянула к огню, над бараньей вырезкой, жарившейся на вертеле, ножку, обутую в черный ботиночек. Огонь озарял ее всю, пронизывая ярким светом ткань ее платья, ровные поры белой кожи и даже веки прищуренных глаз. Алые зарева скользили по ней, вспыхивая и падая от колыханий ветра, врывавшегося в полуоткрытую дверь.

По другую сторону очага стоял белокурый молодой человек и молча ее разглядывал.

Скучая в Ионвиле на должности младшего помощника в конторе нотариуса Гильомена, Леон Дюпюи (то был он, второй завсегда «Золотого Льва») обыкновенно оттягивал час обеда в надежде, что в трактире окажется заезжий гость, с кем можно будет поболтать вечером. В те дни, когда служебные дела были рано справлены, ему приходилось от нечего делать являться к обеду без опоздания и от супа до сыра довольствоваться компанией господина Бинэ. С радостью принял он поэтому предложение хозяйки пообедать в обществе приезжих, и все перешли в большую залу, где для большей торжественности госпожа Лефрансуа приказала накрыть на четыре прибора.

Гомэ попросил позволения остаться в шапочке, боясь простуды. Потом, обращаясь к соседке, спросил:

— Без сомнения, немного утомились, сударыня? Наша «Ласточка» так безобразно трясет!

— Это правда, — ответила Эмма, — но переезд всегда меня забавляет, я люблю перемену мест.

— Невесело, — вздохнул клерк, — жить прикованным к одному месту!

— Если бы вам приходилось, как мне, — сказал Шарль, — не слезать с

лошади....

— Но, — возразил Леон, обращаясь к госпоже Бовари, — на мой взгляд, ничего не может быть приятнее верховой езды. Когда к этому есть возможность, — прибавил он.

— Впрочем, — сказал аптекарь, — медицинская практика не очень тяжела в наших краях, так как состояние дорог позволяет пользоваться кабриолетом, а земледельцы живут в достатке и платят довольно хорошо. В смысле болезней, здесь, помимо обычных случаев воспалений кишечника, бронхитов, страданий печени и так далее, бывают иногда, в пору жатвы, перемежающиеся лихорадки, но в общем мало тяжелых случаев, и нечего отметить специально, если не считать золотушных явлений, зависящих, без сомнения, от печальных гигиенических условий крестьянских жилищ. Ах, вам придется бороться с массой предрассудков, господин Бовари; много закоренелой рутины и упрямства, о которые будут ежедневно разбиваться усилия нашей науки. Здесь до сих пор охотнее прибегают к постам, мощам и священнику, чем к доктору или аптекарю. Климат, однако, по правде сказать, совсем не плох, и мы насчитываем в округе даже несколько девяностолетних стариков. Термометр (я делал наблюдения) спускается зимою до четырех градусов, а летом достигает двадцати пяти и, самое большее, тридцати градусов по Цельсию, что составит максимум двадцать четыре градуса по Реомюру или пятьдесят четыре градуса по Фаренгейту (английское измерение), никак не больше! И в самом деле, мы защищены от северных ветров Аргельским лесом, а от западных — высотами Сен-Жан. Жара — вследствие водяных паров, выделяемых рекой, и благодаря присутствию на лугах в значительном количестве скота, выдыхающего, как вам известно, много аммония, то есть азота, водорода и кислорода (нет, только азота и водорода!), поглощая при этом испарения почвенного перегноя, смешивая в себе все эти разнообразные выделения, собирая их, так сказать, в один пучок, и соединяясь с разлитым в атмосфере электричеством, когда таковое в ней имеется, — могла бы в конце концов породить, как в тропических странах, нездоровые миазмы; но жара эта, говорю я, умеряется именно с той стороны, откуда она исходит или, скорее, откуда она могла бы исходить, а именно с южной стороны, при посредстве юго-восточных ветров, которые, охлажденные на своем пути Сеной, налетают на нас внезапно, принося такую стужу, словно они дуют из русских степей.

— Есть ли в окрестностях, по крайней мере, места для прогулок? — спросила госпожа Бовари, обращаясь к молодому человеку.

— Очень мало, — ответил тот. — Есть холм, известный под названием

«Выгон», у опушки леса. Иногда по воскресеньям я хожу туда — посидеть с книгой, поглядеть на закат.

— Ничего не может быть прекраснее заката, — подхватила она, — и особенно на берегу моря.

— О, я обожаю море, — сказал Леон.

— И не кажется ли вам, — ответила госпожа Бовари, — что наш дух как бы освобождается, носясь над этим безбрежным пространством, созерцание которого возвышает душу и наводит на мысли о бесконечности, об идеале?

— То же можно сказать про горные пейзажи, — отвечал Леон. — У меня есть двоюродный брат, который путешествовал в прошлом году по Швейцарии; он говорил мне, что трудно себе представить всю поэзию озер, все очарование водопадов, все гигантское впечатление от ледников. Повсюду сосны невероятных размеров, преграждающие потоки, хижины, висящие над пропастями, а на тысячу футов под собой вы видите целые долины, когда расходятся облака. Такие зрелища должны вызывать восторг, располагать к молитве, к экстазу! Поэтому я нисколько не удивляюсь тому знаменитому музыканту, который для лучшего возбуждения фантазии имел привычку играть на рояле перед величественными картинами природы.

— А вы играете? — спросила она.

— Нет, но очень люблю музыку, — ответил он.

— Ах, не верьте, госпожа Бовари, — прервал Гомэ, наклоняясь к ее прибору, — это только скромность. Как, милый мой? На днях вы восхитительно пели у себя в комнате «Ангела Хранителя». Я слышал из лаборатории; вы вели голос с отчетливостью заправского артиста.

Леон в самом деле жил у аптекаря, где нанимал маленькую комнатку в третьем этаже, окнами на площадь. Он покраснел при этой похвале своего домохозяина, который уже обратился к доктору и перечислял ему, одного за другим, знатнейших обывателей Ионвиля; рассказывал анекдоты, сообщал сведения. Состояния нотариуса никто не знал в точности, а «семья Тювашей слишком много о себе думает».

Эмма снова спросила:

— А какую музыку вы предпочитаете?

— О, разумеется немецкую, ту, которая располагает к мечтам.

— Слыхали ли вы итальянцев?

— Нет еще, но услышу их в будущем году, когда поеду в Париж заканчивать свое юридическое образование.

— Как я уже имел честь изложить вашему супругу, — сказал аптекарь, — по поводу этого злополучного Яноды, ныне скрывшегося, вы

благодаря его мотовству и причудам будете жить в одном из лучших домов Ионвиля. Что в нем особенно удобно для врача — это боковая дверь в переулочек, через которую можно входить и выходить из дому незаметно. Сверх того, в доме есть все, что приятно иметь в хозяйстве: прачечная, кухня с людской, семейная гостиная и так далее. Этот малый денежек не жалел! Он выстроил себе в конце сада, у воды, беседку единственно для того, чтобы пить в ней летом пиво; и если сударыня любит садоводство, то она может...

— Моя жена совсем не занимается садом, — сказал Шарль, — несмотря на то, что ей предписано движение, она предпочитает сидеть все время в комнате за книгой.

— Совершенно как я, — сказал Леон. Что может быть лучше, в самом деле, чем сидеть за книгой вечером, у камина, в то время как ветер рвет оконные рамы, а в комнате горит лампа?..

— Не правда ли? — сказала она, устремив на него свои большие, широко раскрытые черные глаза.

— Ни о чем не думаешь, — продолжал он, — часы бегут. Не сходя с места, гуляешь по странам, которые рисуются перед тобою, и мысль, сплетаясь с фантазией, наслаждается подробностями или следит за сцеплением приключений. Она сливается с действующими лицами книги; и вам кажется, что под их нарядом бьется и волнуется ваше собственное сердце.

— Правда! Правда! — говорила она.

— Случалось ли вам, — продолжал Леон, — встречать в книге смутную мысль, которая приходила вам самой в голову, какой-нибудь затуманенный образ, возвращающийся к вам как бы издалека и со всею полнотою выражающий ваше собственное неуловимое ощущение?

— Я испытала это, — ответила она.

— Вот почему, — сказал он, — я больше всего люблю поэтов. Я нахожу, что стихи нежнее прозы, они исторгают из глаз наших лучшие наши слезы.

— Все же они утомляют, — возразила Эмма, — и теперь, напротив, я особенно люблю повествования, где события разворачиваются быстро и наводят страх. Я ненавижу будничных героев и умеренные чувства, какие встречаются в жизни.

— В самом деле, — заметил клерк, — такие произведения, не трогая сердца, отдаляются, как мне кажется, от истинной цели искусства. Так сладко бывает среди разочарования жизни созерцать мыслью благородные характеры, чистые привязанности и картины счастья. Для меня по крайней

мере, живущего здесь, вдали от света, это единственное развлечение; Ионвиль представляет так мало интересного!

— Как наш Тост, по всей вероятности, — ответила Эмма, — почему, живя там, я и была постоянно абонирована в библиотеке.

— Если, сударыня, вы желаете оказать мне честь, — сказал аптекарь, расслышавший последние слова, — воспользоваться моею библиотекой, то я могу предоставить в ваше распоряжение сочинения лучших авторов: Вольтера, Руссо, Делиля, Вальтер Скотта, «Эхо Фельетонов» и так далее; сверх того, я получаю несколько периодических изданий, между прочим ежедневную газету «Руанский Маяк», в которой сотрудничаю в качестве корреспондента из округов Бюши, Форж, Невшателя и Ионвиля, с окрестностями.

Уже два с половиною часа сидели за столом: служанка Артемиза, лениво шлепая по полу войлочными туфлями, приносила тарелки не сразу, все забывала, не слушала, что ей говорят, и, выходя, оставляла дверь в бильярдную незахлопнутой, отчего та поминутно ударяла щеколдой о стену.

Не замечая того сам, в жару беседы, Леон поставил ногу на перекладину стула, на котором сидела госпожа Бовари. На ней был голубой шелковый галстучек, поддерживавший прямо, словно брыжи, плоеный батистовый воротничок; и, следуя движениям ее головы, подбородок то прятался в него, то нежно выступал наружу. Сидя рядом, друг подле друга, между тем как Шарль предавался непринужденной болтовне с аптекарем, они ушли в один из тех неясных разговоров, когда случайные фразы постоянно наталкивают собеседников на прочное средоточие общей симпатии. Парижские увеселения, заглавия романов, новые танцы, свет, которого они не знали, Тост, где она жила, Ионвиль, где оба находились в настоящую минуту, — все это было ими разобрано, обо всем было переговорено, пока длился обед.

Когда подали кофе, Фелисите пошла в новый дом приготовить спальню, и гости вскоре встали из-за стола. Госпожа Лефрансуа спала у камина; конюх поджидал с фонарем в руке, чтобы проводить господ Бовари в их помещение. Его рыжие волосы были вывалены в соломе; он хромал на левую ногу. В одной руке он держал фонарь, другою захватил дождевой зонтик священника, и все тронулись в путь.

Местечко спало. От столбов рынка ложились длинные тени. Земля была серая, словно в летнюю ночь.

Но дом лекаря находился всего в пятидесяти шагах от трактира; пришлось почти тотчас же распрощаться; общество рассеялось.

Уже в сенях Эмма почувствовала холод штукатурки, словно ей набросили на плечи сырую простыню. Стены были новые, деревянная лестница скрипела. В комнате бельэтажа окна без гардин пропускали беловатый свет. Различались верхушки деревьев, а за ними луг, наполовину подернутый туманом, клубившимся при лунном свете над извилинами реки. Среди комнаты валялись в беспорядке вынутые из комода ящики, бутылки, прутья для гардин, золоченые багеты вперемешку с матрасами, разложенными на стульях, и тазами, оставленными на полу, так как два ломовых извозчика, привезшие мебель, свалили все в кучу.

В четвертый раз в жизни приходилось ей спать на новом месте. В первый раз то было по ее поступлению в монастырь, во второй раз — по приезде в Тост, в третий — в замке Вобьессар, в четвертый — здесь; и каждая такая ночь была в ее жизни началом как бы новой фазы. Она не верила, чтобы на новом месте все могло продолжаться по-старому, и так как прожитая часть жизни была плоха, то остальная часть, думала она, наверное, окажется лучше.

Глава III

На другое утро, встав с постели, она увидела на площади клерка. Она была в пеньюаре. Он поднял голову и поклонился ей. Она быстро кивнула ему в ответ и закрыла окно.

Леон весь день ждал, когда же настанет час встречи, но, придя в гостиницу, застал за обеденным столом одного Бинэ.

Вчерашний обед был для него важным событием; до тех пор ему никогда не приходилось беседовать два часа подряд с дамой. Как удалось ему изложить перед нею в изысканных фразах столько вещей, которые прежде он, конечно, не сумел бы так изящно выразить? Обычно он был робок и держал себя с той осторожностью, к которой примешиваются одновременно застенчивость и притворство. Ионвильское общество находило, что у него хорошие манеры. Он выслушивал рассуждения зрелых людей и не увлекался, по-видимому, политикой — свойство изумительное в молодом человеке. К тому же обнаруживал разнообразные дарования: рисовал акварелью, умел разбирать ноты в верхнем ключе и охотно забавлялся литературой — после обеда, когда не играл в карты. Господин Гомэ уважал в нем образованность; госпожа Гомэ любила его за услужливость, так как он часто брал с собою в сад маленьких Гомэ, вечно грязных, дурно воспитанных и немного лимфатических, как их мать. За ребяташками ходил, кроме служанки, Жюстен, аптекарский ученик, троюродный брат господина Гомэ, взятый в дом из милости и совмещавший занятие аптекарского ученика с обязанностями домашнего слуги.

Аптекарь оказался образцовым по любезности соседом. Он сообщил госпоже Бовари сведения о поставщиках, вызвал нарочно торговца, продававшего ему сидр, сам отведал напиток и присмотрел в погребе за тем, чтобы бочку поставили как следует; указал способ доставать сливочное масло по дешевой цене и заключил условие с Лестибудуа, пономарем, который, в добавление к своим церковным и кладбищенским трудам, брал на себя и уход за главнейшими садами Ионвиля — по часам или за годовую плату, по желанию владельцев.

Но не одна потребность помочь ближнему побуждала аптекаря к этим проявлениям услужливой сердечности, за ними скрывался целый план.

Он нарушил закон 19 Вентоза XI года по статье 1-й, воспрепятствовавшей лицам, не получившим лекарского диплома, медицинскую практику;

вследствие каких-то темных доносов Гомэ был даже вызван в Руан, в собственный кабинет королевского прокурора. Блюститель правосудия принял его стоя, в мантии с горностаем и в шапочке. Это было утром, до заседания. Из коридора доносился стук грубых жандармских сапог и как будто отдаленный звон запираемых тяжелых замков. У аптекаря так зашумело в ушах, что он испугался, как бы его не хватил удар; воображение уже рисовало ему каземат, семью в слезах, продажу аптеки, рассеяние всех его склянок. Ему пришлось зайти в кафе и выпить стакан рому с сельтерской водой, чтобы немного прийти в себя.

Мало-помалу воспоминание об этой головомойке утратило свою живость, и он продолжал по-прежнему подавать больным невинные советы в задней комнатке своей аптеки. Но мэр на него сердился, коллеги завидовали, можно было ежечасно опасаться всего; склонить к себе любезностями господина Бовари значило приобрести его благодарность и воспрепятствовать его будущим разоблачениям в случае, если бы он что-нибудь заметил. И Гомэ каждое утро приносил ему газету и часто в послеполуденные часы покидал на минуту аптеку ради недолгой приятельской беседы с местным представителем врачебного ведомства.

Шарль был грустен: пациенты не являлись; он сидел долгими часами молча, или шел в кабинет спать, или смотрел, как шила жена. Для развлечения возился над устройством дома, как простой чернорабочий, и даже попробовал выкрасить чердак остатком краски, оставленной малярами. Но денежные дела его угнетали. Он так много истратил в Тосте на ремонт дома, на наряды жены, на переселение, что все приданое — более трех тысяч экю — в два года истаяло. А сколько вещей было попорчено, растеряно при переезде из Тоста в Ионвиль, не считая уже гипсового священника, упавшего с воза на большом ухабе и разбившегося в мелкие дребезги о мостовую в Кенкампуа!

От этих забот отвлекла его иная, более приятная, а именно беременность жены. По мере приближения срока он чувствовал к ней все большую нежность. Между ними возникли как бы новые узы плоти и выросло какое-то постоянное ощущение более тесной и тонкой близости. Завидя издали ее ленивую походку, мягкое колыхание ее стана и не стянутых корсетом бедер или глядя на нее, когда она сидела против него в кресле, принимая позы томной усталости, он уже не в силах был сдерживать своего счастья: вскакивал, целовал ее, гладил по лицу руками, звал «мамочкой», кружил ее по комнате и, не то смеясь, не то плача, отпускал всевозможные ласковые шутки, какие приходили ему на ум. Мысль, что она забеременела от него, наполняла его блаженством. Теперь

ему уже нечего желать. Он знает жизнь человеческую вдоль и поперек и присаживается к ней с ясным спокойствием, облокотившись обеими руками.

Эмма сначала была изумлена, потом пожелала родить поскорее — из любопытства узнать, что значит быть матерью. Но, не имея средств пойти на те издержки, которые ей хотелось сделать — купить колыбель лодочкой, с розовыми шелковыми занавесками, и вышитые чепчики, — она, в припадке горькой досады, отказалась от мечтаний о красивом приданом для ребенка и заказала все сразу деревенской швее, ничего не выбирая и не обсуждая. Так лишила она себя удовольствия этих приготовлений, от которых еще сильнее разгорается материнская нежность, и ее любовь к будущему дитяти с самого начала понесла чрез это, быть может, какой-то ущерб.

Но так как Шарль всякий раз, как садился за стол, твердил о ребенке, то вскоре и она стала думать о нем с большим постоянством.

Ей хотелось иметь сына; он будет сильный, темноволосый, и его она назовет Жоржем. Мысль иметь ребенка мужского пола была каким-то желанным вознаграждением за все ее прошлое бессилие. Мужчина, по крайней мере, свободен; он может испытать все страсти, посетить все страны, превозмочь препятствия, изведать недоступные наслаждения. Женщина на каждом шагу встречает преграду. Бездейственная и в то же время гибкая, она зависит и от своего слабого тела, и от закона. Воля ее, как вуаль ее шляпы, придерживаемая шнурком, трепещет от всякого ветра; всегда желание ее увлекает, а приличие удерживает.

Она разрешилась от бремени в воскресенье, в шесть часов, на восходе солнца.

— Девочка! — сказал Шарль.

Она отвернулась и лишилась чувств.

Почти в ту же минуту прибежала обнять ее госпожа Гомэ, а за нею тетка Лефрансуа из «Золотого Льва». Аптекарь, человек скромный, принес ей свое предварительное поздравление через полураскрытую дверь; он попросил показать ему ребенка и нашел его хорошо сложенным.

За время выздоровления она долго придумывала имя для девочки. Сначала перебрала все имена с итальянскими окончаниями, как; Клара, Луиза, Аманда, Атала; ей нравилась Галсуинда, и еще более — Изольда или Леокадия. Шарль желал, чтобы ребенок был назван по имени матери; но Эмма не соглашалась. Пересмотрели с начала до конца весь календарь и советовались с посторонними.

— Господин Леон, — сказал аптекарь, — с которым я на днях

беседовал, удивляется, почему вы не остановитесь на Магдалине: это имя теперь в большой моде.

Но Бовари-мать яростно восстала против этого имени грешницы. Что касается Гомэ, то он отдавал предпочтение именам, напоминавшим какого-нибудь великого человека, или славное событие, или благородную идею, и по этому правилу окрестил своих четырех детей. Так, Наполеон представлял славу, а Франклин — свободу; Ирма была, быть может, уступкой романтизму, но Аталия — знаком благоговения перед бессмертным творением французской сцены. Ибо философские убеждения господина Гомэ нисколько не мешали его художественным восторгам; мыслитель не убивал в нем человека впечатлительного; он умел устанавливать различия и отдавать должное и фантазии, и фанатизму. В этой трагедии, например, он осуждал идею, но восхвалял ее стиль, проклинал замысел, и восхищался подробностями, был возмущен действующими лицами, но в то же время увлечен их речами. Читая бессмертные отрывки, он чувствовал себя на седьмом небе; но когда вспоминал, что из всего этого извлекают поживу попы, то приходил в отчаяние и, раздираемый противоречиями, желал бы одновременно и увенчать Расина обеими руками, и с добрые четверть часа поспорить с ним как следует.

Наконец Эмма вспомнила, что в замке Вобьессар маркиза называла одну молодую женщину Бертой; имя, таким образом, было найдено, а в крестные — так как старик Руо не мог приехать — пригласили Гомэ. В подарок он принес исключительно продукты своего заведения, а именно шесть коробок леденца от кашля, целую банку ракауту, три коробки пастилы из мальвы и еще шесть палочек ячменного сахару, найденных им где-то в шкафу. Вечером, после крестин, был торжественный обед, на нем присутствовал и священник; все разгорячились. Когда подали ликеры, Гомэ затянул шансонетку «Бог добрых людей», Леон спел баркаролу, а старуха Бовари, крестная мать, — романс времен Империи; наконец старик Бовари потребовал, чтобы принесли ребенка, и стал крестить его по-своему, поливая ему на голову из бокала шампанское. Такая насмешка над первым из таинств привела в негодование аббата Бурнизьена; Бовари-отец ответил ему выдержкой из «Войны богов»; служитель алтаря хотел уходить, дамы умоляли его остаться; вмешался Гомэ; наконец удалось усадить священника, который как ни в чем не бывало опять взял в руки свою чашку недопитого кофе.

Бовари-отец оставался в Ионвиле еще целый месяц, поражая его обитателей своею великолепною фуражкой с серебряным галуном, которую

надевал по утрам, чтобы выкурить трубку на площади. Имея привычку много пить, он часто посылал служанку в гостиницу «Золотой Лев» за бутылкой водки, которую записывали в счет его сына; а на свои шелковые шейные платки извел весь запас одеколона у невестки.

Эмма не скучала в его обществе. Немало где побывал он за свою жизнь; он рассказывал о Берлине, о Вене, о Страсбурге, о своей офицерской жизни, о своих любовницах, о завтраках, которые он задавал; к тому же он говорил ей любезности и даже иногда, на лестнице или в саду, охватывал ее талию, приговаривая:

— Ну, Шарль, берегись!

Тогда Бовари-мать, в тревоге за счастье сына и опасаясь, что супруг ее может испортить нравственность молодой женщины, поспешила с отъездом. Быть может, были у нее и более основательные причины для беспокойства. Для старика Бовари не существовало ничего святого.

Однажды Эмма вдруг ощутила потребность навестить свою дочку, отданную на воспитание кормилице, жене столяра, и, не справившись с календарем, прошли ли положенные шесть недель после родов, направилась к домику Роллэ, стоявшему на краю деревни, у подошвы горы, между большой дорогой и лугом.

Был полдень; ставни домов были закрыты, а на гребнях шиферных крыш в ослепительных лучах, льющихся с голубого неба, сверкали искры. Дул удушливый ветер. Эмма чувствовала себя очень слабой; на булыжники тротуара больно было ступать; она колебалась, не вернуться ли ей домой или не зайти ли куда-нибудь посидеть.

В эту минуту из соседней двери, со связкой бумаг под мышкой, вышел Леон. Он поклонился и отошел в тень, к лавке Лере, под серый холщовый навес.

Госпожа Бовари сказала, что собиралась навестить ребенка, но чувствует себя уже усталой.

— Если... — начал было Леон и остановился, не смея продолжать.

— Вы идете куда-нибудь по делу? — спросила она. И, получив ответ, попросила клерка проводить ее.

В тот же вечер об этом знал уже весь Ионвиль, и жена мэра, госпожа Тюваш, в присутствии служанки заявила, что «госпожа Бовари себя компрометирует».

Чтобы добраться до кормилицы, нужно было пройти всю улицу, потом свернуть налево, где начинается дорога на кладбище, и идти между хижин и дворов по узкой тропинке, обсаженной диким жасмином. Он был в цвету, равно как и вероники, и шиповник, и крапива, и легкие ветки ежевики,

тянувшиеся из кустарника. Сквозь дыры в живых изгородях виднелись хлева с поросятами на навозе или привязанные коровы, тершиеся рогами о стволы деревьев. Оба, идя рядом, подвигались медленно; она опиралась на его руку, а он замедлял шаг, соразмеряя его с ее походкой; перед ними вился рой мух, жужжавших в жарком воздухе.

Узнали дом по осенявшему его старому ореховому дереву. Он был низкий, покрытый темно-бурою черепицей; снаружи, под слуховым окном чердака, висела связка луковиц. Пучки прутьев, прислоненные к плетню из колючек, окружали грядки с салатом, лавандой и горохом в цвету, выющим по жердям. Грязная вода стекала и разбегалась по траве; кругом валялось какое-то тряпье, вязаные чулки, кофта из красного ситца, а на изгороди развешана была огромная простыня грубого холста. На стук отворенной калитки вышла кормилица с ребенком на руках, сосущим грудь. Другой рукой она тащила худого, жалкого малыша с золотушным лицом, сына торговца вязаными изделиями в Руане, которого родители, заваленные коммерческими делами, оставляли в деревне.

— Входите, — сказала она, — ваша девочка спит.

В единственной горнице дома, у задней стены, стояла широкая кровать без полога; близ окна с разбитым и заклеенным синею бумагою стеклом помешалась квашня. За дверью в углу, под каменную плитой с углублением для стирки белья, стояли в ряд башмаки с блестящими гвоздями; рядом — бутылка с маслом и с воткнутым в нее пером; «Матье Ленсберг» валялся на запыленной полке над очагом, среди кремней, огарков и кусков трута. Последним и уже вовсе ненужным украшением жилища была «Слава», трубившая в трубу, — картинка, вырезанная, вероятно, из какого-нибудь объявления о мыле и духах и прибитая к стене шестью башмачными гвоздиками.

Малютка спала в плетеной люльке, на полу. Эмма взяла ее вместе с одеялом, в которое девочка была завернута, и стала тихонько баюкать.

Леон ходил по комнате; ему было странно видеть эту нарядную, красивую даму в батистовом платье посреди этой нищеты. Госпожа Бовари вдруг покраснела, он отвернулся, думая, что в его взгляде могло быть что-либо дерзкое. Потом она опять уложила в люльку девочку, которая только что срыгнула ей на воротничок. Кормилица поспешила вытереть его, говоря, что пятна не будет.

— Она меня и не так еще потчует, целый день только и делаю, что ее мою! — сказала она. — Если бы вы, барыня, были так любезны, приказали бы лавочнику Камю отпускать мне мыла, когда понадобится? Это бы и вам было удобнее, я бы вас каждый раз не беспокоила...

— Хорошо, хорошо! — сказала Эмма. — До свидания, тетка Роллэ! — И она вышла, вытерев о порог ноги.

Баба проводила ее через весь двор, не переставая жаловаться на то, как ей трудно вставать по ночам.

— Иногда до того меня разломает, что так и заснешь на стуле. Хоть бы фунтик молотого кофе пожаловали, мне бы его на целый месяц хватило, по утрам бы с молоком пила.

По выслушании соответствующих выражений благодарности госпожа Бовари удалилась, но, пройдя несколько шагов по тропинке, обернулась, опять заслышав за собой стук деревянных башмаков: то была снова кормилица!

— Что еще?

Крестьянка, отведя ее в сторону, за ствол вяза, принялась рассказывать о своем муже; своим ремеслом да шестью франками в год, которые капитан...

— Говорите скорее, — сказала Эмма.

— Так вот! — продолжала кормилица, вздыхая на каждом слове. — Боюсь, он огорчится, что я пью кофе одна; знаете, мужчины...

— Но ведь кофе же у вас будет, — повторила Эмма, — я вам пришлю!.. Вы мне надоели!

— Ах, милая моя барыня! Дело в том, видите ли, что от ран у него частенько бывают страшные в груди схватки вроде судорог. Он говорит, что даже сидр его расслабляет...

— Да скорее же, тетка Роллэ!

— Так вот, — продолжала крестьянка, приседая, — если уж будет такая ваша милость... — она присела еще раз, — когда угодно вам будет соблаговолить, — и ее взгляд вымогал, — бутылку бы водки прислать изволили, — выговорила она наконец, — и вашей девочке ножки буду растирать, они у нее нежные, как язычок.

Отделавшись от кормилицы, Эмма опять взяла под руку Леона. Несколько времени она шла быстро; потом замедлила шаг, и взгляд ее, блуждавший вокруг, остановился на плече молодого человека. Сюртук его был оторочен черным бархатным воротником; прямые, гладко расчесанные каштановые волосы падали на воротник. Она обратила внимание на его длинные ногти, каких не носили в Ионвиле. Уход за ними был важным делом в глазах клерка, для этого у него в письменном приборе хранился особый перочинный ножичек.

Они вернулись в Ионвиль берегом реки. В летнюю пору берег расширился; вода обнажала до основания стены садов, от которых

спускались к реке лестницы в несколько ступеней. Река текла бесшумно, быстрая и по виду холодная; высокие, узкие травы выгибались по течению, словно уносившему их, и, как распущенные зеленые волосы, стлались в прозрачной воде. Иногда на острие тростника или на листик речной лилии садилось какое-нибудь насекомое с тонкими ножками. Солнечные лучи пронизывали голубые пузырьки волн, бежавшие один за другим и лопающиеся; старые ивы с обрезанными ветвями отражали в воде свою серую кору; луг за рекой, расстилавшийся во все стороны, казался пустынным. Был обеденный час на фермах, и молодая женщина с ее спутником слышали только мерный стук своих шагов по голой тропинке, звук произносимых слов и шорох платья Эммы, шелестевшего у ее ног.

Ограды садов, усеянные по краю осколками бутылок, были раскалены, как стекла теплицы. Промеж камней росла куриная слепота; кончиком раскрытого зонтика госпожа Бовари задевала мимоходом ее увядшие головки, и они рассыпались желтой пылью; иногда ветка жимолости или клематиса свешивалась из-за ограды, шуршала по шелку зонтика, цеплялась за бахрому.

Они говорили о труппе испанских танцоров, которых ждали в руанском театре.

— Вы поедете посмотреть? — спросила она.

— Если можно будет, — ответил он.

Неужели им больше нечего было сказать друг другу? А между тем в их глазах можно было прочесть другую, более серьезную беседу; стараясь подыскивать банальные фразы, они чувствовали, как обоих охватывало одно томление; шепот душ, глубокий и немолчный, покрывал их голоса. Дивясь сами неиспытанной сладости этого ощущения, они не пытались сказать о нем друг другу или доискаться его причин. Грядущее счастье похоже на тропическую землю, что распространяет на лежащую перед ее берегами безмерность океана предвестие своей неги, благоуханный ветерок, и человек засыпает, опьяненный им, не вглядываясь в даль горизонта.

В одном месте почва обвалилась после проходившего тут скота; нужно было пробираться по большим мшистым камням, разбросанным в грязи. Эмма часто останавливалась, чтоб оглядеться, куда ей поставить ботинок, и, шатаясь на колеблющемся камне, поддерживая равновесие локтями, наклоняя стан с выражением нерешительности во взгляде, смеялась, боясь соскользнуть в воду.

Дойдя до ограды своего сада, госпожа Бовари толкнула калитку, взбежала по ступеням и исчезла.

Леон вернулся в свою контору. Его принципала там не было; он окинул взглядом кипы деловых бумаг, потом очинил перо, наконец взял шляпу и вышел.

Он направился к «Выгону» на вершине Аргельского холма, к опушке леса, лег на землю под соснами и сквозь пальцы стал смотреть на небо.

— Какая тоска, — говорил он сам с собою, — какая тоска!

Он находил себя достойным сострадания за то, что должен жить в деревне, дружить с Гомэ, служить у господина Гильомена. Гильомен, заваленный делами, в золотых очках и белом галстуке, на который спускались рыжие бакенбарды, ничего не понимал в утонченных движениях души, хотя и старался выдерживать чопорный английский стиль, так ослепивший клерка на первых порах. Что касается жены аптекаря, это была лучшая супруга во всей Нормандии, кроткая, как овца, нежная к детям, к отцу, к матери, к двоюродным братьям и сестрам, участливая к горю ближнего, беспорядочная хозяйка и решительная противница корсетов; но при этом столь медлительная в движениях, скучная в речах, простонародная по внешности и с таким ограниченным кругозором, что Леону — хотя ей было всего тридцать, а ему двадцать лет, и спальни их были рядом, и он ежедневно с нею разговаривал — никогда в голову не приходило, чтобы она могла быть для кого-нибудь женщиной или что в ней было что-либо свойственное ее полу кроме платья.

А затем кто еще? Бинэ, несколько купцов, два-три кабатчика, священник и, наконец, мэр, господин Тюваш, с двумя сыновьями, грубые, тупые кулаки, пахавшие землю своими руками, устраивавшие попойки дома, по-семейному, к тому же ханжи, — словом, люди, общество которых было совершенно невыносимо.

Но на фоне всех этих пошлых лиц выделялось одинокое и еще более далекое, чем они, лицо Эммы; между нею и собой он смутно чувствовал какую-то пропасть.

Вначале он приходил к ней несколько раз в сопровождении аптекаря. Шарль ничем не обнаружил большой радости от его посещений; и Леон не знал, как быть, колеблясь между боязнью показаться нескромным и жаждою близости, которую считал почти невозможной.

Глава IV

С наступлением первых холодов Эмма переселилась из спальни в столовую, длинную комнату с низким потолком, где на камине, расползаясь по зеркалу, стоял ветвистый полипник. Сидя у окна в кресле, она наблюдала местных обывателей, проходивших мимо по тротуару.

Два раза в день проходил и Леон, направляясь из конторы в гостиницу «Золотой Лев». Эмма издали различала его приближение, нагибалась и прислушивалась; молодой человек скользил мимо, за складками оконных занавесок, одетый всегда на один лад и не поворачивая головы. Но в сумерках, когда, подперев подбородок левою рукою, она роняла на колени начатое вышиванье, нередко вздрагивала она при появлении этой внезапно скользнувшей тени. Она вставала и приказывала накрывать на стол.

Гомэ являлся во время обеда, держа в руке свою феску; он входил неслышно, чтобы никого не беспокоить, и, произнеся неизменную фразу «Добрый вечер почтенной компании!», усаживался за стол между супругами и расспрашивал лекаря о больных, а тот советовался с ним насчет гонораров. Потом обсуждались новости, вычитанные в газете; к этому часу Гомэ знал ее всю на память и передавал ее содержание целиком, вместе с рассуждениями журналиста и полною хроникой происшествий как отечественных, так и заграничных. Исчерпав эту тему, он переходил к замечаниям по поводу подаваемых блюд. Иногда, приподнимаясь с места, он даже деликатно указывал хозяйке лучший кусок или, обратясь к прислуге, давал ей советы, как стряпать рагу и какое действие на организм оказывают некоторые приправы; когда он начинал говорить об ароматических и питательных субстанциях, о мясном соке и желатине, красноречие его было ослепительно. Голова у него была богаче набита рецептами, чем его аптека банками, и он превосходно умел готовить всевозможные варенья, соленья и сладкие наливки; знал также все новейшие изобретения по части экономических жаровен вместе с искусством сохранять сыры и подслащивать скисшее вино.

В восемь часов за ним приходил Жюстен, чтобы запирать аптеку. Гомэ бросал на него лукавый взгляд, особенно если тут находилась Фелисите, так как заметил пристрастие своего ученика к дому лекаря.

— Мой молодчик начинает мечтать, — говорил он. — Боюсь, черт побери, что он влюбился в нашу кухарку!

Но другой, более важный недостаток, который он ставил в вину

юноше, была его привычка слишком внимательно прислушиваться к разговорам господ. В воскресенье вечером, например, его невозможно было выпроводить из гостиной, куда он являлся на зов госпожи Гомэ за детьми, успевшими задремать в креслах стягивая своими спинами слишком широкие коленкоровые чехлы.

Мало гостей приходило на эти вечера к аптекарю: его злословие и его политические взгляды постепенно отдалили от него многих уважаемых лиц. Клерк не упускал случая присутствовать каждый раз. Едва слышав звонок, он кидался навстречу госпоже Бовари, снимал с нее шаль и прятал под аптечную конторку теплые валенки с опушкой, которые она надевала в снег поверх обуви.

Начинали с нескольких партий в «тридцать-одно»; потом Гомэ играл с Эммой в экартэ; Леон, стоя позади, давал ей советы. Опираясь руками на спинку ее стула, он разглядывал зубцы гребенки, вонзившиеся в ее косу. Всякий раз как она сбрасывала карты, ее платье с правой стороны приподнималось. От густого узла волос ложилась на шею коричневая тень, мало-помалу бледнея и исчезая книзу. Платье спадало по обе стороны на стул складками и расстилалось по полу. Когда порою Леон нечаянно задевал сапогом его край, он отодвигался, словно наступил на что-то живое.

По окончании карточной партии аптекарь и врач принимались за домино; а Эмма подсаживалась к столу и перелистывала «Иллюстрацию». Она приносила с собою и свой модный журнал. Леон садился возле нее; вместе они разглядывали картинки, ожидая друг друга, чтобы перевернуть страницу. Часто она просила его сказать стихи; Леон декламировал нараспев, стараясь, чтобы голос замирал на любовных местах. Но стук домино раздражал его; Гомэ был ловок в этой игре и разбивал Шарля даже при двойных шестерках. Сыграв три сотни, оба растягивались в креслах у камина и вскоре задремывали. Угли подергивались пеплом; чайник был пуст; Леон все читал. Эмма слушала, машинально поворачивая ламповый абажур с нарисованными на кисее паяцами в колясках и канатными плясуньями с шестами в руках. Леон умолкал, указывая на спящих слушателей, тогда их разговор продолжался шепотом, и эта беседа казалась им сладостной, потому что ее никто, кроме них, не слышал.

Так установилось между ними постоянное общение, обмен книг и романсов; Бовари, не ревнивый от природы, оставался равнодушен.

Ко дню своих именин он получил в подарок великолепную френологическую голову, испещренную цифрами до самой груди и выкрашенную в голубую краску. То был знак внимания со стороны клерка.

Он выказывал его на разные лады, вплоть до исполнения мелких поручений доктора в Руане. Так как в это время книга одного романиста сделала модным увлечение кактусами, Леон накопал их для госпожи Бовари и привозил в «Ласточке», держа всю дорогу на коленях и накалывая себе пальцы о шипы.

Эмма велела приладить к окну полочку с решеткой для цветочных горшков. У клерка был свой висячий садик, и они видели друг друга, ухаживая за цветами на окнах.

Был дом в деревне, за окном которого еще чаще вырисовывался облик его владельца; в воскресенье, с утра до ночи, и каждый день после обеда, в ясную погоду, в слуховом окошке чердака можно было наблюдать худощавый профиль Бинэ, склоненного над токарным станком, чье однообразное жужжанье слышно было даже в гостинице «Золотой Лев».

Раз вечером, придя домой, Леон нашел у себя в комнате ковер из шерсти и бархата, с листьями на палевом фоне; он позвал господина и госпожу Гомэ, Жюстена, детей, кухарку и рассказал об этом патрону; все желали увидеть ковер: но почему докторша вздумала задаривать молодого человека? Это показалось странным, и все про себя решили, что она его любовница.

Он сам подавал повод к этим подозрениям — так любил он распространяться об ее прелестях, об ее уме. Однажды Бинэ даже грубо заметил ему:

— Мне-то какое до этого дело, коли я к ней не вхож?

Он мучился, придумывая, каким бы способом сделать ей признание, и постоянно колеблясь между боязнью не понравиться ей и стыдом перед собой за свое малодушие, плакал от отчаяния и неудовлетворенных желаний. Затем принимал энергические решения, писал письма и рвал их, ставил себе сроки и сам же их отодвигал. Часто он шел к ней с твердым намерением отважиться на все; но это решение быстро покидало его в присутствии Эммы, и когда Шарль, войдя, предлагал ему проехаться в тележке, чтобы вместе навестить по соседству больного, он тотчас же соглашался, откланивался Эмме и уходил. Разве муж ее не был частицею ее самой?

Эмма же вовсе не спрашивала себя, любит ли она его, Любовь, по ее понятию, должна была налететь внезапно, порывом вихря и вспышками молний, подобная небесному урагану, падающему на жизнь, опрокидывающему все, срывающему волю людей, как буря срывает листья деревьев, и уносящему в бездну сердца. Она не знала, что на террасах домов дождевая вода застаивается лужами, когда закупорены водосточные

трубы; так и оставалась бы она в невозмутимом покое, когда бы не оказалась вдруг — трещина в стене.

Глава V

Случилось это в одно воскресенье, в феврале месяце, к вечеру, когда шел снег.

Чета Бовари, Гомэ и господин Леон отправились вместе осматривать строящуюся в полуверсте ниже Ионвиля льнопрядильню. Аптекарь взял с собою Наполеона и Аталию — для моциона; их сопровождал Жюстен с дождевыми зонтиками на плече.

Трудно было, однако, придумать что-нибудь менее любопытное, чем эта достопримечательность. Огромный пустырь, где среди куч песка и булыжника валялись несколько зубчатых колес, уже заржавленных, окружал длинное четырехугольное здание со множеством маленьких окошечек. Оно было недостроено, и между стропилами сквозило небо. Привязанный к перекладине кровли пук соломы с колосьями хлопал по ветру своими трехцветными лентами.

Гомэ разглагольствовал. Он разъяснял «почтенной компании» будущую важность предприятия, обсуждал прочность полов, толщину стен и очень сожалел, что у него нет палки с метрическими мерами, какую пользуется для своих частных надобностей господин Бинэ.

Эмма, шедшая с ним под руку слегка опираясь на него, смотрела на ослепительное пятно расплывающегося в тумане солнца. Она обернулась: рядом с нею стоял Шарль. Фуражка его была надвинута до бровей; толстые губы слегка вздрагивали, что придавало ему глупый вид; даже его спина, его спокойная спина, раздражала ее — вся пошлость его личности, казалось ей, была написана на этой спине, на этом сюртуке.

В то время как она глядела на Шарля, находя в своем раздражении какое-то извращенное сладострастие, к ней подошел Леон. От холода его лицо немного побледнело, казалось нежным и томным; широкий ворот рубашки обнажал часть шеи; из-под пряди волос был виден кончик уха; а большие голубые глаза, поднятые к облакам, показались ей чище и прекраснее горных озер, отражающих небо.

— Несчастный! — вскричал аптекарь. И бросился к сыну, который только что устремился к куче извести, желая выбелить свою обувь.

На упреки, коими его осыпали, Наполеон отвечал ревом, меж тем как Жюстен чистил ему башмаки пучком соломы. Понадобился, однако, нож; Шарль предложил свой.

«Ах, — подумала Эмма, — он носит в кармане нож, как мужик!»

Падала изморозь, и все вернулись в Ионвиль.

Вечером госпожа Бовари не пошла к соседям; когда Шарль ушел и она осталась одна, ее мысль опять продолжала сопоставлять и сравнивать с отчетливостью почти непосредственного восприятия и с тем удлинением перспектив, какое сообщает предметам память. Вглядываясь с постели в яркое пламя камина, она видела перед собой Леона, как он стоял днем: одною рукой сгибал он тросточку, а другою держал за руку Аталию, спокойно сосавшую кусочек льда. Она находила его очаровательным, не могла оторваться от него; припоминала его позы в другие дни, сказанные им фразы, звук его голоса, все его явление; и повторяла, протягивая губы, словно для поцелуя:

— Прелестен! Очарователен!.. Неужели он не влюблен? — спрашивала она себя. — Но в кого же?.. Конечно в меня!

Все доказательства предстали ей сразу, сердце ее дрогнуло. От огня в камине колыхались по потолку пятна веселого света; она повернулась на спину и вытянула руки.

И полились все те же старые жалобы: «Если бы небо судило иначе! Почему все случилось не так? Что бы помешало?..»

В полночь, когда вошел Шарль, она представилась разбуженной и, так как он шумел, раздеваясь, пожаловалась на головную боль; потом небрежно спросила, как прошел вечер.

— Господин Леон, — ответил Шарль, — рано ушел к себе.

Она не могла не улыбнуться и уснула с душою, полною нового блаженства.

На другой день к вечеру ее посетил Лере, торговец модным товаром. Ловкий человек был этот лавочник.

Гасконец родом, превратившийся в нормандца, он сохранил говорливость южанина и перенял осторожное лукавство своих новых земляков. Его мягкое, жирное, безбородое лицо было словно выкрашено жидким отваром лакрицы, а седые волосы еще усиливали жесткий блеск его черных глазок. Никто не знал, чем он был прежде: разносчиком — говорили одни, банкиром в Руто — другие. Во всяком случае, сам Бинэ испугался бы сложности вычислений, какие он без труда производил в уме. Вежливый до низкопоклонства, он всегда держался слегка согнувшись, в позе человека, который раскланивается или приглашает.

Оставив у дверей шляпу, повязанную крепом, он поставил на стол зеленый картон и, рассыпаясь в учтивостях, выразил сожаление, что до сих пор не имел счастья заслужить доверие госпожи Бовари. Скромная коммерция вроде той, какую ведет он, не может, конечно, привлечь

внимание «светской дамы»; он подчеркнул последнее слово. Но стоит ей дать заказ, и он берется доставить ей все, чего только она пожелает, из мелочного товару, белья, вязаных изделий, галантерейных вещей и мод, так как он ездит в город четыре раза в месяц аккуратно и поддерживает сношения с самыми крупными фирмами. О нем можно справиться в магазинах «Три Брата», «Золотая Борода» и «Большой Дикарь»; все эти негоцианты знают его как свой карман! Сегодня он мимоходом занес барыне разные вещи, приобретенные им по редчайшему случаю. И он вынул из ящика полдюжины вышитых воротничков.

Госпожа Бовари взглянула на них.

— Мне ничего не нужно, — сказала она.

Тогда Лере бережно развернул три алжирских шарфа, достал несколько пачек английских иголок, пару соломенных туфель и, наконец, четыре точеных подставки из кокосового ореха для яиц, работу каторжников. Опершись обеими руками на стол, вытянув шею, согнув спину, он с раскрытым ртом следил за взглядом Эммы, нерешительно блуждавшим по разложенным товарам. Время от времени, как бы встряхивая пыль, он щелкал пальцем по шелковым шарфам, растянутым во всю длину; они слегка шелестели, сверкая в зеленоватом свете сумерек, словно звездочками, золотыми блестками своих тканей.

— Сколько же они стоят?

— Сущие пустяки, — ответил он, — да и дело не к спеху, заплатите потом, когда вам будет угодно; мы не жиды!

Она подумала с минуту и наконец поблагодарила Лере, который, нимало не смутясь, ответил:

— Ну что ж! Столкуемся в другой раз, с дамами я всегда ладил, кроме разве собственной супруги.

Эмма улыбнулась.

— Я хотел вам только сказать, — продолжал он после этой шутки добродушным тоном, — что в деньгах не нуждаюсь. Могу и вам ссудить, если понадобится.

Эмма взглянула на него с удивлением.

— Да, да! — сказал он с живостью и вполголоса. — Мне ничего не стоит их добыть, можете на меня рассчитывать! — И стал расспрашивать о здоровье дяди Теллье, хозяина «Французского кафе», который лечился у Шарля. — Что же такое с бедным Теллье? Он так кашляет, что весь дом трясется; боюсь, как бы вскоре ему не понадобилось сосновое пальто вместо фланелевой фуфайки. Уж и напроказил же он за свою молодость! У этих людей, сударыня, не было никакого порядка в жизни! Он сжег себе все

внутренности водкой! А все-таки жаль, когда приятель отправляется на тот свет.

И, завязывая картон, он продолжал рассуждать о пациентах господина Бовари.

— От такой погоды, — сказал он, угрюмо поглядывая на окна, — все и хворают! Я тоже совсем расклеился; нужно будет на днях зайти к господину доктору посоветоваться насчет ломоты в пояснице. До свидания, госпожа Бовари! Всегда к вашим услугам! Ваш покорный слуга! — И он осторожно притворил за собою дверь.

Эмма приказала подать себе обед на подносе в свою комнату, к камину; она ела медленно; все казалось ей вкусным.

«Как я была благоразумна!» — говорила она себе, думая о шарфах.

На лестнице слышались шаги: то был Леон. Она встала, взяла с комода работу из кучки тряпок, приготовленных для подружки, и казалась очень занятою, когда он вошел.

Разговор шел вяло. Госпожа Бовари умолкала ежеминутно, и он также казался смущенным. Сидя на низком стуле у камина, он вертел в руках игольник из слоновой кости; она шила, время от времени закладывая ногтем рубец на холсте. Она не говорила, и он молчал, заколдованный ее молчанием, как был бы околдован и ее речами.

«Бедный мальчик», — подумала она.

«Чем я ей не нравлюсь?» — спрашивал он себя.

Наконец Леон заявил, что на днях едет в Руан по делам конторы.

— Ваш абонемент на ноты кончился, должен ли я его возобновить?

— Нет, — сказала она.

— Почему?

— Так... — И, закусив губы, стала медленно вытягивать длинную серую нитку.

Это шитье раздражало Леона. Ему казалось, что она портит на нем свои пальцы; ему пришел в голову комплимент, но не хватило духа его вымолвить.

— Итак, вы бросаете? — сказал он.

— Что? — спросила она с живостью. — Музыку? Конечно, боже мой! Разве на мне не лежат хозяйство, заботы о муже, тысяча вещей и обязанностей гораздо более важных?

Она взглянула на часы. Шарль запоздал. Она притворилась озабоченной. Два-три раза повторила даже:

— Он так добр!

Клерк питал к господину Бовари живейшую симпатию. Но эта

семейственная нежность неприятно его удивила; тем не менее он начал в свою очередь его расхваливать, уверяя, что только повторяет за другими то, что говорит о нем каждый и особенно аптекарь.

— Ах, это прекрасный человек, — подхватила Эмма.

— Разумеется, — сказал клерк. И перешел к госпоже Гомэ, небрежный костюм которой обычно смешил их.

— Что же из этого? — прервала Эмма. — Хорошая мать семейства не должна заниматься туалетом. — И опять умолкла.

То же было и в следующие дни; ее речи, манеры — все изменилось. Она взялась за хозяйство, стала прилежно ходить в церковь и строже смотреть за прислугой.

Она взяла Бертю от кормилицы. Фелисите приносила ее, когда приходили гости, и госпожа Бовари ее раздевала, чтобы показать ее сложение. Она заявила, что обожает детей, в них ее утешение, ее радость, ее страсть, и сопровождала свои ласки лирическими излияниями, которые другим людям, чем ионвильцы, могли бы напомнить Сашетту из «Собора Парижской Богоматери».

Когда Шарль возвращался домой, его ждали греющиеся у камина туфли. Подкладки его жилетов были теперь всегда подшиты, на рубашках не было недочета в пуговицах; можно было заглядеться на его ночные колпаки, сложенные в шкафу ровными стопками. Эмма не отказывалась теперь, как прежде, с гримасой отвращения от прогулок по саду; соглашалась со всем, что он предлагал ей, хотя и не предугадывала желаний, которым подчинялась без ропота; и когда Леон глядел на доктора, усевшегося после обеда перед огнем, со сложенными на животе руками, с ногами на каминной решетке, с покрасневшими от пищеварения щеками, с глазами, увлажненными довольством, между тем как ребенок ползал около него по ковру, а эта женщина с тонкой талией подходила и, наклоняясь над креслом, целовала его в лоб, — он говорил себе: «Безумец, как могу я о ней мечтать?»

Она казалась ему такою добродетельной, такою недосыгаемой, что всякая даже самая смутная надежда покинула его.

Но, отрекаясь от нее, он уже не видел в ней обычной женщины. Она превратилась для него в существо бесплотное, от которого он ничего уже не ждал, и поднималась в его воображении все выше и выше, удаляясь от него, как великолепное отлетающее видение. Это было одно из тех чистых чувств, которые не отнимают у человека жизненных сил: ими дорожишь — как ухаживаешь за редкими растениями, — зная, что их утрата принесла бы больше горечи, чем сколько радости доставляет обладание ими.

Эмма похудела, ее щеки побледнели, лицо вытянулось. С гладкими бандо черных волос, с огромными глазами, с прямым носом, с птичьей походкой, постоянно молчаливая за последнее время, она, казалось, проходила по жизни едва ее касаясь, словно отмеченная печатью какого-то высокого предназначения. Она была так печальна и спокойна, так кротка и строга, что от нее веяло тем ледяным очарованием, какое испытываешь в церквах среди холода мраморов и аромата цветов. Даже посторонние не ускользали от власти этого обаяния. Аптекарь говорил:

— Это женщина с большими способностями, она была бы на месте и в субпрефектуре.

Хозяйки восхищались ее бережливостью, пациенты мужа — ее любезностью, бедняки — щедростью.

А она в это время кипела желаниями, бешенством и ненавистью. Под этим платьем с прямыми складками билось бунтующее сердце, а эти целомудренные уста никому не выдавали его мук. Она была влюблена в Леона и искала одиночества, чтобы на воле услаждаться его образом. Вид его нарушал сладострастие этого созерцания. Эмма вздрагивала при звуке его шагов; потом в его присутствии ее волнение утихало, и после оставалось лишь огромное изумление, переходившее в грусть.

Леон, уходя от нее в отчаянии, не подозревал, что она встанет и подойдет к окну, чтобы еще раз взглянуть на него на улице. Ее тревожил каждый его шаг, она следила за выражением его лица, придумала целую историю, чтобы иметь предлог зайти в его комнату. Жена аптекаря казалась ей счастливой потому, что спит под одним кровом с ним; ее мысли постоянно вились над этим домом, подобно голубям, прилетавшим к «Золотому Льву» и омывавшим в его желобах свои розовые лапки и белые крылья. Но чем яснее видела Эмма свою любовь, тем упорнее подавляла ее, чтобы скрыть ее от людей и ослабить. Ей хотелось, однако, чтобы Леон все же догадался, и она придумывала случайности, катастрофы, которые могли бы облегчить ему разгадку. Удерживали ее, без сомнения, лень и страх, но также и стыдливость. Ей казалось, что она слишком строго оттолкнула его от себя, что уже поздно, что все потеряно. К тому же горделивая радость, что она имеет право сказать себе: «Я добродетельна» — и при этом глядеться в зеркало, принимая позы отречения, отчасти утешала ее в мнимой жертве, ею принесенной.

Тогда возжеления плоти, жажда денег и меланхолия страсти — все слилось в одно страдание; и вместо того, чтобы отвлечь от него свои мысли, она устремляла их на него, растравляя свою боль, ища ей пищи повсюду. Все ее раздражало: то не так, как следует, поданное кушанье, то

плохо припертая дверь; она горевала о бархате, которого у нее не было, о счастье, которого она не знала, о своих высоких мечтах и убогом доме.

Всего более выводило ее из себя, что Шарль, по-видимому, и не подозревал ее пытки. Его уверенность в том, что он способен ее осчастливить, казалась ей глупостью и оскорблением, а его спокойствие — неблагодарностью. Ради кого же была она добродетельна? Не он ли служил помехою ее благополучию, причиною всего ее бедствия и как бы железным острием, которым был схвачен крепкий ремень, сдавивший ее со всех сторон?

Итак, на него одного перенесла она всю многообразную ненависть, порожденную ее томлениями, и всякая попытка ослабить эту ненависть, напротив, ее усиливала, так как этот бесплодный труд был только лишним поводом отчаиваться и еще более способствовал ее отчуждению. Ее собственная кротость возмущала ее.

Домашнее убожество толкало к дорогим фантазиям, супружеская нежность — к преступным желаниям. Ей хотелось, чтобы Шарль бил ее: тогда с большим правом могла бы она его ненавидеть и ему отомстить. Порой сама она изумлялась жестокости соблазнявших ее замыслов, а между тем надобно было по-прежнему улыбаться, слушать собственные уверения в ее безоблачном счастье, притворяться перед людьми и убеждать их притворством.

Это лицемерие, однако, ей самой претило. Порой ее пленяла мечта бежать с Леоном куда-нибудь, далеко-далеко, и там начать новую жизнь; но тотчас же в ее душе раскрывались неясные пропасти, полные мрака.

«К тому же он меня уже разлюбил, — думала она, — как быть? Откуда придет помощь, утешение, облегчение?»

Она подолгу оставалась разбитая, еле дыша, без движения, заливаясь слезами и тихо всхлипывая.

— Почему бы не сказать барину? — спрашивала служанка, входя в комнату во время таких припадков.

— Это нервы, — отвечала Эмма, — не говори ему, ты его огорчишь.

— Ну да, — говорила Фелисите, — с вами точь-в-точь то же, что с дочкой Герена, рыбака из Поллэ, я в Дьеппе ее знавала, прежде чем поступить к вам. Уж так она печалилась, так печалилась, что как станет, бывало, на пороге — кажется, будто сукном похоронным дверь занавесили. А болезнь ее была — в голове у нее будто туман стал, и доктора ничего не могли с этим поделать, и священник тоже. Бывало, когда сильно ее эта хворость схватит, пойдет она к морю одна, и таможенный надсмотрщик на обходе часто так ее видел: лежит на камнях ничком и заливается-плачет.

После свадьбы, говорят, прошло.

— А у меня, — отвечала Эмма, — после свадьбы-то и началось.

Глава VI

Однажды, сидя на подоконнике открытого окна и глядя, как церковный сторож Лестибудуа подрезает буксовые кусты, Эмма вдруг услышала вечерний звон в церкви.

Стояли первые дни апреля, когда расцветают примулы; теплый ветер проносится над вскопанными грядками, и сады, словно женщины, убираются к летним праздникам. Сквозь переплет беседки видны были луга и речка, чертившая по траве причудливые извилины. Вечерний туман пробирался меж голыми стволами тополей, окутывая их очертания лиловою тенью, более легкой и прозрачной, чем если бы тонкая кисея зацепилась за их ветви. Вдали проходило стадо, но не было слышно ни рева, ни топота; а колокол звучал, разливая по воздуху мирные жалобы.

При этих повторных ударах мысль молодой женщины потерялась в воспоминаниях о молодости, о пансионе. Ей пришли на память большие алтарные подсвечники, высоко поднимавшиеся над вазами, полными цветов, и дарохранительницей с колонками. Ей хотелось, как бывало, затеряться в длинной веренице белых вуалей с чернеющими кое-где промеж них угловатыми капюшонами сестер-монахинь, склоненных над аналоями; по воскресеньям, за обедней, подняв голову, она встречала глазами кроткий лик Богородицы в синих клубах восходившего вверх ладана. Ее охватило уныние, она почувствовала себя мягкой и слабой, кинутой, как пушинка, в бурю, кружащейся в вихре; и бессознательно направилась она к церкви, готовая на всякий подвиг благочестия, лишь бы он мог захватить всю ее душу, поглотить все ее существование.

На площади она встретила Лестибудуа, шедшего из церкви; чтобы не расходовать времени из своего рабочего дня, он предпочитал отрываться от работы и потом опять возвращаться к ней и потому звонил «Angelus», когда ему было удобнее. К тому же удар в колокол раньше положенного часа оповещал мальчишек, что пора бежать в церковь на урок катехизиса.

Те, что пришли спозаранку, играли в шарики на плитах кладбища или, сидя верхом на ограде и болтая ногами, сбивали башмаками высокую крапиву, разросшуюся в промежутке между низкой оградой и крайними могилами. Это было единственное зеленое место, все остальное было выложено камнем и постоянно покрыто мелкою пылью, несмотря на метлу пономаря.

Ребятишки в туфлях бегали словно по нарочно для них сделанному

паркету; взрывы их голосов слышались сквозь гул колокола, который уже замирал вместе с колебаниями толстой веревки, висевшей с колокольни и концом тащившейся по земле. Ласточки пролетали с тихими вскриками, разрезая наискосок воздух, и быстро исчезали в желтых гнездах под черепицами карнизов. В глубине церкви горела лампада, или попросту фитиль ночника в висячем стакане. Издали ее свет казался беловатым пятном, дрожащим на масле. Длинный луч солнца прорезывал высокий корабль церкви, отчего боковые приделы и углы казались еще темнее.

— Где священник? — спросила госпожа Бовари у мальчика, забавлявшегося расшатыванием и без того шаткого турникета.

— Сейчас придет, — ответил он.

В самом деле, дверь, ведущая в помещение для причта, скрипнула и появился аббат Бурнизьен; дети бросились врассыпную и скрылись в церкви.

— Ах, шалуны! — ворчал священник. — Всегда то же самое! — И, поднимая растрепанный катехизис, на который чуть не наступил ногою, прибавил: — Ни к чему у них нет уважения! — Но, завидев госпожу Бовари, проговорил: — Извините, я вас и не приметил. — Сунул катехизис в карман и остановился, размахивая на двух пальцах тяжелым ключом от ризницы.

Свет заходящего солнца падал ему прямо в лицо и желтил его лапниковую сутану, лоснившуюся на локтях и обтрепанную внизу. Пятна жира и табака покрывали широкую грудь вдоль ряда мелких пуговиц и становились многочисленнее по мере удаления от стоячего воротника, на котором покоились обильные складки красной шеи и жирного подбородка, усеянного веснушками между щетин седящей бороды. Аббат только что пообедал и тяжело дышал.

— Как поживаете? — продолжал он.

— Плохо, — ответила Эмма, — мне так тяжело.

— Что делать, и мне тоже, — подхватил священник. — Не правда ли, как эти первые жары расслабляют человека? Ничего не поделаешь! На то мы и рождены, чтобы терпеть, как говорит апостол Павел. А что полагает господин Бовари?

— Он? — сказала Эмма с презрением.

— Как? — удивился старик. — Разве он не прописал вам никакого лекарства?

— Ах, — ответила Эмма, — мне нужны не земные лекарства!

Но священник украдкой поглядывал на церковь, где мальчишки, стоя на коленях, толкали друг друга плечом и валились, как карточные солдатики.

— Я хотела бы знать... — начала она снова.

— Подожди ты у меня, Рибудэ! — крикнул священник сердитым голосом. — Я уже тебе надеру уши, скверный мальчишка! — И, обращаясь к Эмме, он пояснил: — Это сын плотника Будэ, родители — люди с достатком и позволяют ему делать все, что ему вздумается. А между тем, если бы он захотел, он мог бы хорошо учиться, мальчик весьма способный. Я иногда шутя называю его «Рибудэ» (как ту гору, по дороге в Маромму) и говорю даже: «Кряж Рибудэ»! Выходит — «крепьш Рибудэ», ха-ха-ха, и «гора Рибудэ»! На днях я сказал этот каламбур его преосвященству — расхохотался... рассмеяться изволил. А как поживает господин Бовари?

Она, казалось, не слыхала.

— Наверное, все время занят? — продолжал он. — Мы с ним первые труженики в приходе. Только он лечит тело, а я души, — добавил он с жирным смехом.

Она устремила на священника умоляющий взгляд.

— Да... — сказала она. — Вы облегчаете все скорби.

— Ах, и не говорите, госпожа Бовари! Не дальше как сегодня утром мне пришлось съездить в Нижний Диовиль: корову «раздуло», а хозяева подумали, что это от порчи. У них все коровы, уж не знаю как... Извините! Лонгемар и Будэ, шутово отродье!.. Уйметесь ли вы, наконец? — И он со всех ног бросился в церковь.

Мальчишки в это время толпились вокруг высокого аналая, взбираясь на табурет причетника, открывали часослов; некоторые, крадучись на цыпочках, едва не пробирались уже в исповедальню. Но священник вдруг высыпал на них целый град пощечин. Хватая зачинщиков за шиворот, он поднимал их в воздухе и опускал на колени с такою силою, словно хотел их вдавить в каменные плиты.

— Да, — сказал он, возвращаясь к Эмме и развертывая огромный пестрый бумажный платок, один конец которого захватил зубами, — деревенский народ поистине достоин сожаления!

— Не одни они... — ответила она.

— Конечно! Городские рабочие, например.

— Я не про них...

— Извините! Я знавал в городе несчастных матерей семейств, женщин добродетельных, уверяю вас, настоящих святых, — и они сидели без куска хлеба.

— А те женщины, — сказала Эмма, и углы губ ее задрожали, — те, ваше преподобие, у которых есть кусок хлеба, но нет...

— Топлива зимою? — спросил священник.

— Ах, что это значит!..

— Как «что значит»? Мне кажется, когда человек сыт и в тепле... ведь, в конце концов...

— Боже мой! Боже мой! — вздыхала она.

— Вам не по себе? — спросил он, подходя к ней, обеспокоенный. — Это, вероятно, от пищеварения? Идите-ка домой, госпожа Бовари, выпейте чайку, это вас подкрепит, или же просто стакан холодной воды с сахаром.

— К чему?

Она имела вид человека, пробуждающегося от сна.

— Вы провели рукой по лбу. Я подумал, что вам дурно. — Потом, спохватившись, сказал: — Но вы о чем-то спрашивали меня? Что такое? Я уж и не помню.

— Я? Нет... ничего, ничего... — твердила Эмма. И ее блуждающий взгляд медленно остановился на старике в рясе. Они смотрели друг на друга, стоя лицом к лицу, и молчали.

— В таком случае, — проговорил наконец священник, — вы меня извините, госпожа Бовари, но долг прежде всего, сами знаете: нужно отпустить мальчишек. Ведь уж причастная неделя подходит. Боюсь, что мы с ними не будем готовы. Поэтому с самого Вознесения я и держу их по средам лишний час. Бедные детки! С ранних лет нужно наставлять их на путь Господень, как заповедал нам Сам Господь устами Своего Божественного Сына... Будьте здоровы, сударыня! Мое почтение вашему супругу! — И, преклонив в дверях колени, он вошел в церковь.

Эмма видела, как он удалялся меж двумя рядами скамеек, тяжело ступая, склонив слегка голову на одно плечо, с полураскрытыми наружу ладонями рук.

Потом она сразу повернулась на каблуках, как статуя на стержне, и направилась к дому. Но до ее слуха еще долго доносились бас священника и звонкие голоса детей, продолжавшие у нее за спиной твердить урок:

— Христианин ли ты?

— Да, я христианин.

— Кто есть христианин?

— Тот, кто, приняв святое крещение... крещение... крещение...

Она поднялась по лестнице, придерживаясь за перила, и, очутившись в своей комнате, упала в кресло.

Беловатый свет из окна, набегая как бы смутными волнами, угасал. Мебель на своих местах казалась неподвижнее и тонула в тени, как в сумрачном море. Камин потух, стенные часы ровно тикали; Эмма смутно удивлялась тишине вещей вокруг, в то время как душа ее переживала

столько потрясений. А между окном и рабочим столиком стояла маленькая Берта; нетвердо ступая в своих вязаных башмачках, она силилась подойти к матери, чтобы схватить ее за ленты передника.

— Отстань, — сказала Эмма, отстраняя ее рукой.

Девочка тотчас же подошла еще ближе к коленям матери и, опираясь о них ручонками, уставилась на нее большими голубыми глазами, между тем как струя прозрачной слюны стекала с ее губ на шелк передника.

— Уйди! — повторила молодая женщина с раздражением.

Лицо ее испугало малютку, она расплакалась.

— Ах, да оставь же меня в покое! — сказала и оттолкнула ее локтем.

Берта упала у комода и разрезала себе щеку о медную скобку, показалась кровь. Госпожа Бовари бросилась подымать ее, оборвала звонок, стала громко звать прислугу и уже проклинала себя в отчаянии, когда вошел Шарль. Был обеденный час, и он вернулся домой.

— Взгляни, мой друг, — сказала Эмма спокойно, — она играла на полу, упала и ушиблась.

Шарль успокоил ее, сказав, что это пустяки, и пошел за пластырем.

Госпожа Бовари не сошла в столовую к обеду, она хотела одна ухаживать за дочкой. Глядя на спящего ребенка, она почувствовала, как мало-помалу ее беспокойство утихает, и нашла, что она очень глупа и очень добра, взволновавшись из-за пустяков. Берта в самом деле перестала всхлипывать. Теперь ее дыхание еле-еле приподымало ситцевое одеяло.

Крупные слезы застыли в углах полуопущенных век, приоткрывавших сквозь ресницы два бледных закатившихся зрачка; пластырь, наклеенный на щеку, стягивал вкось ее кожу.

«Странно, — подумала Эмма, — до чего этот ребенок безобразен!»

В одиннадцать часов вечера, вернувшись из аптеки, куда нужно было сходить после обеда, чтобы вернуть остаток пластыря, Шарль застал жену над детской кроваткой.

— Уверяю тебя, это скоро пройдет, — сказал он, целуя ее в лоб, — не волнуйся, бедняжка, еще сама расхвораешься!

Шарль пробыл у аптекаря довольно долго. Хоть он и не был взволнован, тем не менее Гомэ пытался укрепить его, «поднять в нем дух». Заговорили об опасностях детского возраста и о небрежности прислуги. Госпожа Гомэ испытала эту небрежность на себе, так как до сих пор хранила на груди следы ожога от углей, которые кухарка высыпала на нее некогда из совка. Потому заботливые родители принимали тысячу предосторожностей. Ножи никогда не точились, полы не натирались. Окна были заграждены железными решетками, а камин — крепкими

перекладами. Несмотря на свою независимость, дети Гомэ не могли ступить шагу без надзора; при малейшей простуде отец пичкал их грудными лекарствами, а до четырех лет неумолимо все они носили шапочки, подбитые теплыми шерстяными валиками. Правда, то была мания госпожи Гомэ; супруг ее в душе огорчался этим, боясь вредных последствий такого давления на органы мышления, и забывался до того, что говорил жене:

— Уж не хочешь ли ты сделать из них карайбов или ботокудов?

Шарль меж тем несколько раз пытался прервать разговор.

— Мне надо с вами поговорить, — шепнул он на ухо клерку, шедшему впереди него по лестнице.

«Неужели он что-нибудь подозревает?» — спрашивал себя Леон. Сердце у него билось, и он терялся в предположениях.

Наконец Шарль, заперев дверь, попросил его лично справиться о ценах на хороший дагеротип в Руане: то был сентиментальный сюрприз, который он готовил жене, — тонкий знак внимания, — свой портрет в черном фраке. Но ему хотелось знать заранее, на что он идет; эти справки не затруднят Леона, так как он ездит в город почти каждую неделю.

С какою целью? Гомэ подозревал за этим какой-нибудь «юношеский роман», любовную интрижку. Но он ошибался: Леон не затевал любовных шашней. Он был печальнее, чем когда-либо, и госпожа Лефрансуа замечала это по количеству пищи, которое он оставлял теперь нетронутым на тарелке. Она обратилась за сведениями к сборщику податей; Бинэ ответил высокомерно, что он «не состоит на жалованье у полиции».

Впрочем, его сотрапезник казался ему самому весьма странным: часто Леон откидывался на спинку стула, расставлял руки и в неопределенных выражениях жаловался на жизнь.

— Это оттого, что вы мало развлекаетесь, — говорил сборщик податей.

— Что же мне делать?

— На вашем месте я завел бы себе токарный станок.

— Но ведь я не умею точить, — отвечал писец.

— Ах да, правда! — говорил тот, поглаживая подбородок с оттенком презрения и вместе самодовольства.

Леон устал любить бесплодно; он начинал чувствовать ту угнетенность духа, какую причиняет повторение все тех же впечатлений, все той же жизни, когда ее не направляет никакой интерес, не оживляет никакая надежда. Ионвиль и ионвильцы наскучили ему, вид некоторых людей и домов раздражал его до потери самообладания, а аптекарь, при

всем своим добродушием, становился для него прямо невыносимым. И в то же время виды на перемену положения не менее пугали его, чем прельщали.

Но страх вскоре уступил место нетерпению: Париж манил его издали фанфарами своих маскарадов, смехом гризеток. Ведь он должен кончать там свой курс юридических наук; почему же он не едет, что ему мешает? Он стал внутренне готовиться к переселению; заранее распределил свои занятия, мысленно обставил свою квартиру. Он будет вести там образ жизни артиста. Будет учиться игре на гитаре. У него будет халат, испанский берет, синие бархатные туфли... И он уже любовался двумя рапирами, скрещенными над камином, с черепом и гитарой посредине.

Всего труднее было получить согласие матери; между тем ничто не могло быть благоразумнее этого плана. Сам патрон советовал ему перейти в другую контору, где он мог бы большему научиться. Тогда, избирая средний путь, Леон занялся приисканием места клерка второго класса в Руане и, не находя, написал наконец матери длинное, подробное письмо с изложением причин, по коим ему следует переселиться в Париж немедленно. Она согласилась. Но он не спешил. Ежедневно в течение месяца Ивер возил для него из Ионвиля в Руан и из Руана в Ионвиль сундуки, чемоданы, свертки; и, справив себе платье, обив свои три кресла, накупив целый запас шелковых платков, словом сделав больше приготовлений, чем для кругосветного путешествия, Леон все же с недели на неделю откладывал отъезд, пока не получил от матери второго письма с советом поторопиться, если он хочет сдать экзамен до вакансий. Когда настала минута прощальных объятий перед разлукой, госпожа Гомэ заплакала; Жюстен рыдал; Гомэ, в качестве мужа твердого, старался скрыть свое волнение, он пожелал самолично донести пальто своего друга до калитки нотариуса, долженствовавшего отвезти Леона в Руан в своем экипаже. У Леона оставалось времени ровно столько, чтобы проститься с господином Бовари.

Поднявшись на лестницу, он остановился, будучи не в силах перевести дух.

При его появлении госпожа Бовари поспешно встала.

— Опять я! — сказал Леон.

— Я в этом была уверена!

Она закусила губы, и волна крови, прихлынув к ее лицу, залила его розовой краской от корней волос до самого воротничка. Она стояла, прислонясь плечом к притолоке двери.

— А господина Бовари нет дома? — спросил Леон.

— Он уехал. — И повторила: — Он уехал.

Тогда настало молчание. Они взглянули друг на друга; их мысли сливались в одной тоске, их души льнули и прижимались одна к другой в невидимом, трепетном объятии.

— Мне хотелось бы поцеловать Берту, — сказал Леон.

Эмма сошла на несколько ступенек и позвала Фелисите.

Он быстро окинул широким взглядом стены, этажерки, камин, словно желая все проникнуть, все унести с собою.

Но она вернулась, а служанка ввела Берту; малютка тащила за собой на веревочке опрокинутую мельницу.

Леон несколько раз поцеловал девочку в шейку.

— Прощай, бедная крошка! Прощай, маленькая, прощай!

Он отдал ее матери.

— Уведи ее, — сказала та. Они остались одни.

Госпожа Бовари, отвернувшись, прижалась лицом к стеклу; Леон похлопывал себя фуражкой по ноге.

— Будет дождь, — сказала Эмма.

— Я захватил плащ, — отвечал он.

— А!

Она опять отвернулась, прижав подбородок и наклонив вперед лоб. Свет скользил по нему, как по мрамору, до изгиба бровей, и нельзя было угадать, что разглядывает Эмма на горизонте и о чем думает.

— Ну, прощайте! — вздохнул он.

Она резким движением подняла голову:

— Да... уезжайте!

Они подошли друг к другу; он протянул руку, она колебалась.

— По-английски так, — сказала она, подавая ему свою и делая усилие улыбнуться.

Леон почувствовал в своей руке ее руку; ему показалось, что все существо ее заключилось в этой влажной ладони.

Потом он разжал руку; глаза их встретились в последний раз; он ушел.

Под навесом рынка он остановился и спрятался за столб, чтобы в последний раз взглянуть на белый домик с четырьмя зелеными сквозными ставнями. Ему почудилось, что за окном, в комнате, промелькнула тень; но вдруг занавеска как будто сама собой отстегнулась от розетки, несколько мгновений поколыхались ее длинные складки, потом сразу она повисла и стала неподвижной, как стена из алебаstra. Леон бросился прочь.

Издаലെка увидел он по дороге кабриолет своего патрона и подле экипажа — человека в фартуке, державшего лошадь. Гомэ и Гильомен

разговаривали между собой. Его ждали.

— Ну, обнимите меня, — сказал аптекарь со слезами на глазах, — вот ваше пальто, добрый друг, не простудитесь! Будьте осторожны! Берегитесь!

— Пора, Леон, надо садиться! — сказал нотариус.

Гомэ наклонился над крылом экипажа и прерывающимся от волнения голосом произнес два печальных слова:

— Счастливый путь!

— Добрый вечер, — ответил Гильомен. — С богом!

Кабриолет тронулся; Гомэ пошел домой. Госпожа Бовари открыла окно в сад и смотрела на облака.

Они скоплялись на западе, над Руаном, и быстро катили свои темные клубы; длинные солнечные лучи вырывались из-за них, как золотые стрелы трофея, висящего в небе, пустом и белом, как фарфор. Вдруг порыв ветра согнул тополя, и дождь зашелестел по зеленой листве. Потом вновь показалось солнце, куры закудахтали, воробьи на мокрых кустах захлопали крыльями; потоки воды, стекая по песку, уносили с собою розовые цветы акаций.

«Как он теперь уже далеко!» — подумала она.

Гомэ, по обыкновению, пришел в половине седьмого, во время обеда.

— Итак, — сказал он, усаживаясь, — сегодня мы проводили нашего юношу в дальнее плавание?

— По-видимому, — ответил лекарь. И, повернувшись на стуле, спросил: — А у вас что нового?

— Ничего особенного. Только жена сегодня немного разволновалась. Вы знаете женщин, их все расстраивает! А мою в особенности! Мы были бы не правы, если бы восставали против этого: нервная организация их гораздо утонченнее нашей.

— Бедный Леон! — сказал Шарль. — Как-то заживет он в Париже?.. Привыкнет ли?

Госпожа Бовари вздохнула.

— Помилуйте! — сказал аптекарь, прищелкнув языком. — А веселые ужины в ресторанах? А маскарады? А шампанское? Всего будет вдосталь, уверяю вас.

— Я не думаю, чтобы он сбился с пути, — возразил Бовари.

— Я тоже! — ответил с живостью Гомэ. — Но ему нельзя будет отставать от товарищей из боязни прослыть иезуитом. А вы не знаете, какую жизнь ведут эти гуляки в Латинском квартале, с актрисами! Впрочем, на студентов в Париже смотрят хорошо. Если они мало-мальски умеют быть приятными в обществе, их тотчас же приглашают в лучшие

дома, и даже дамы из Сен-Жерменского предместья влюбляются в них, что дает им впоследствии возможность выгодно жениться.

— Но, — сказал Шарль, — я боюсь за него, как бы он там...

— Вы правы, — подхватил аптекарь, — это обратная сторона медали! Там человек постоянно должен пощупывать свой карман. Так, например, сидите вы, положим, в общественном саду; является некто хорошо одетый, даже с орденом в петлице, ни дать ни взять дипломат, обращается к вам; вы разговорились; он вкрадывается в ваше доверие, предлагает вам табаку или поднимает вашу шляпу. Вы сближаетесь еще больше; он ведет вас в кафе, приглашает к себе на дачу, навязывает вам, между двумя стаканами вина, новые знакомства, и все это только с целью опустошить ваш кошелек или вовлечь вас в какие-нибудь пагубные предприятия.

— Это верно, — ответил Шарль, — но я думал главным образом о болезнях, например о тифе, который частенько схватывают приезжие студенты.

Эмма вздрогнула.

— От перемены образа жизни, — продолжал за него аптекарь, — и вытекающего отсюда нарушения равновесия в общей экономии организма. К тому же парижская вода — сами знаете! И все эти ресторанные кушанья, вся эта пряная пища только возбуждают кровь и, что бы ни говорили, никогда не сравнятся с семейным столом. Что касается меня, то я всегда предпочитал домашнюю кухню, это здоровее! Поэтому, когда я изучал фармацию в Руане, я ходил столоваться в пансион, где обедали профессора.

И он развивал далее свои общие взгляды и личные предпочтения до той минуты, пока за ним не пришел Жюстен, так как требовалось приготовить какое-то снадобье.

— Ни минуты покоя! — воскликнул он. — Вечная каторга! Ни на мгновенье нельзя отлучиться! Лезь из кожи, как рабочая кляча! Проклятый хомут! — Уже в дверях он сказал: — Кстати, вы слышали новость?

— Какую?

— Весьма вероятно, — сказал Гомэ, поднимая брови и придавая лицу самое серьезное выражение, — что съезд земледельцев Нижней Сены состоится в нынешнем году в Ионвиле, по крайней мере об этом ходят слухи. Сегодня это проскользнуло в газете. Для нашего округа это имеет огромное значение! Но об этом мы еще поговорим. Я вижу, вижу, благодарю вас, у Жюстена фонарь!

Глава VII

Следующий день для Эммы был днем траура. Все казалось ей окутанным черною дымкой, смутно реявшей над предметами, и грусть вторгалась в душу с тихими завываниями, как ветер зимою в покинутый замок. Это была тоска о невозвратном, более не повторимом; усталость, овладевающая душой в минуту всякого свершения, всякого конца; боль, причиняемая перерывом привычного движения, внезапную остановкой длительного напряжения душевных сил.

Как в тот день по возвращении из Вобьессара, когда в голове ее вихрем кружились кадрили, опять испытывала она мрачное уныние, тупое отчаяние. Леон представлялся ей выше, прекраснее, пленительнее, неопределеннее; хоть он и расстался с нею, он не покинул ее, он был все тут, и стены дома, казалось, хранили его тень. Она не в силах была оторвать взгляда от этого ковра, по которому он ступал, от этих пустых кресел, где он сидел. Речка текла по-прежнему и тихо нагоняла свои невысокие волны на скользкий береговой склон. Не раз гуляли они там, под этот ропот журчащей воды, меж камней, покрытых мохом. Как ласково светило солнце! Какие ясные часы после полудня проводили они наедине, в тени, в глуши сада! Он читал вслух, сидя без шляпы на садовом табурете из древесных сучьев; свежий ветерок с луга шевелил страницами книги и настурциями, обвивавшими беседку... Увы, его нет — исчезло единственное очарование ее жизни, единственная надежда на возможное счастье! Почему не схватила она это счастье, когда оно ей давалось! Почему обеими руками, на коленях, не удержала бегущего? Она проклинала себя за то, что не любила Леона; она жаждала его губ. Ей хотелось догнать его, броситься ему в объятия, сказать: «Это я! Я — твоя!» Но Эмма заранее терялась при мысли о трудностях такого предприятия, а желания, усиленные раскаянием, еще жарче разгорались.

С тех пор воспоминание о Леоне стало как бы средоточием ее тоски; оно тлело живучей костра, разведенного зимними путниками в русской степи и покинутого в снежных сугробах. Она бросалась к нему, припадала к его теплу, осторожно ворошила этот очаг, готовый угаснуть, искала вокруг, что могло бы его оживить. Самые отдаленные воспоминания и самые близкие, непосредственные случайные впечатления, все, что она пережила или воображала пережитым, сладострастные мечты, разрушаемые действительностью, замыслы счастья, трещавшие на ветру,

словно сухие сучья, свою бесплодную добродетель, свои оборвавшиеся надежды, свою семейную жизнь — все подбирала она, все хватала, все служило ей топливом, чтобы разжигать ее печаль.

И все же костер догорал потому ли, что истощался запас горючего вещества или потому, что его было навалено в огонь слишком много. Любовный жар мало-помалу загасила разлука, сожаления притушила привычка; зарево, которым алело ее бледное небо, помрачилось, падало и — исчезло. В усыплении своей совести она принимала даже отвращение к мужу за порывы страсти к любовнику, ожоги ненависти — за вспышки любви; и так как ветер продолжал бушевать, и страсть сгорела дотла, и помощь ниоткуда не пришла, и солнце не встало, то со всех сторон окружила ее ночь, и она стояла, потерянная, среди пронизывающего ее ужасного холода.

Возобновились мрачные дни Тоста. Она считала себя теперь еще более несчастною, так как на опыте узнала горе вместе с уверенностью, что оно уже не кончится.

Женщина, принеся столь великие жертвы, могла, разумеется, позволить себе кое-какие прихоти. Она купила готический аналой для молитвы и израсходовала в один месяц более четырнадцати франков на лимоны для чистки ногтей; выписала себе из Руана голубое кашемировое платье; выбрала у Лере лучший из всех шарфов и, опоясав им свой утренний капот и закрыв ставни, с книгою в руках лежала по целым часам на диване в этом причудливом убранстве.

Часто меняла она прическу: убирала волосы по-китайски, завивала их в мелкие локоны, заплетала в косы, то делала пробор на боку и напуски вниз, по-мужски.

Вздумала изучать итальянский язык: накупила словарей, грамматик, запас белой бумаги. Принималась за серьезные книги по истории, по философии. Ночью Шарль иногда вскакивал, думая, что его зовут к больному.

— Сейчас иду, — бормотал он.

А это было чирканье спички, которою Эмма собиралась зажечь лампу. Но с ее чтением случилось то же, что и с вышиваньями: едва начатые, они засовывались в шкаф, она хваталась за книгу, бросала ее, переходила к другим.

У нее бывали минуты исступления, когда легко можно было бы подтолкнуть ее на любое безумство. Однажды она поспорила с мужем, что выпьет до половины большой стакан водки; и так как Шарль имел глупость усомниться в этом, то она осушила полстакана до дна.

Между тем, несмотря на свой «легкомысленный» вид (определение ионвильских мещанок), Эмма не казалась веселой, и почти всегда углы ее губ хранили ту неподвижную складку, которою отмечены лица старых дев и неудачников-честолюбцев. Вся была она бледная, белая как полотно; кожа на носу стягивалась к ноздрям, глаза смотрели без выражения. Найдя у себя три седых волоса на висках, она заговорила о старости.

Она часто ощущала слабость и головокружения; однажды стала даже кашлять кровью и, когда Шарль засуетился, заметно встревоженный, сказала:

— Ба, что за важность!

Шарль ушел в кабинет и, облокотясь обеими руками на письменный стол, плакал, сидя в своем кресле под френологическою моделью.

Потом написал матери, прося ее приехать, и у них вдвоем начались долгие совещания о состоянии Эммы.

На чем порешить? Что делать, раз она отказывается от всякого лечения?

— Знаешь ли, что нужно твоей жене? — говорила Бовари-мать. — Ей нужны обязательные занятия, ручной труд! Если бы ей приходилось, как другим, зарабатывать кусок хлеба, у нее не было бы этой хандры; и все это от бредней, которыми она набивает себе голову, да от безделья.

— Но ведь она постоянно занята, — возражал Шарль.

— Занята! Да чем занята? Чтением романов, вредных книг, безбожных сочинений, где высмеивают попов, цитатами из Вольтера. Но все это заводит далеко, мой милый, и человек без религии всегда кончает плохо.

Итак, было решено, что следует удерживать Эмму от чтения романов. Задача, казалось, была не из легких. Предприимчивая дама взялась за нее: проезжая через Руан, она должна была зайти лично в библиотеку и заявить, что Эмма прекращает подписку. Разве она не вправе обратиться к полиции, если бы хозяин библиотеки вздумал упорствовать в своем ремесле отравителя?

Прощание свекрови с невесткою было сухо. За три недели, прожитых вместе, они не обменялись и четырьмя словами, если не считать приветствий при встрече за столом, справок о здоровье и прощаний перед отходом ко сну.

Госпожа Бовари-мать уехала в среду; это был базарный день в Ионвиле.

Площадь с утра была загромождена рядом телег с опущенными задками и поднятыми в воздух оглоблями, тянувшимся вдоль домов от самой церкви до трактира. По другую сторону разместились палатки из

холста, где продавались ситцы, одеяла, шерстяные чулки вместе с уздечками для лошадей и пачками голубых лент, концы которых развевались по ветру. Железные и медные изделия были разложены на земле, между пирамидами яиц и кругами сыру, с торчавшими из них липкими соломинками; вблизи сельскохозяйственных орудий кудахтали куры в плоских клетках, просовывая шею сквозь перекладыны. Толпа, скучившись в одном месте и не желая с него тронуться, грозила высадить стекла у аптеки. По средам аптека не пустовала: к прилавку протискивались не столько за лекарством, сколько затем, чтобы получить медицинский совет, — так велика была слава Гомэ в окрестных деревнях. Его непоколебимая самоуверенность околдовала крестьян. Они считали его лучшим врачом, чем все доктора.

Эмма сидела, облокотясь, у окна (она часто подсаживалась к нему: окно в провинции заменяет театр и гулянье) и забавлялась видом мужицкой толкотни, как вдруг заметила господина в зеленом бархатном сюртуке. Он надел на руки изящные желтые перчатки, хотя ноги его были обтянуты грубыми деревенскими гетрами, и направился к дому лекаря, а за ним шел крестьянин с видом понурым и задумчивым.

— Нельзя ли видеть барина? — спросил он Жюстена, болтавшего на пороге с Фелисите. И, принимая его за слугу, прибавил: — Доложите доктору, что его желает видеть господин Родольф Буланже, владелец Ла-Гюшетт.

Не из помещичьей гордости прибавил приезжий к своему имени владельческий титул, а чтобы точнее назвать себя. В самом деле, Буланже купил имение Ла-Гюшетт, близ Ионвиля, с замком и двумя фермами, и хозяйничал сам, впрочем не слишком себя обременяя. Он вел жизнь холостяка и, по слухам, имел по крайней мере пятнадцать тысяч годового дохода.

Шарль вышел в гостиную, Буланже представил ему крестьянина, пожелавшего, чтобы ему непременно пустили кровь, так как у него «по всему телу словно мурашки бегают».

— Это меня прочистит, — твердил он в ответ на все уговоры.

Бовари послал за бинтами и попросил Жюстена подержать таз. Потом, обращаясь к пациенту, уже помертвевшему от страха, сказал:

— Не бойся, приятель!

— Нет уж, чего бояться! — отвечал тот. — Валяйте! — И с хвастливым видом протянул свою толстую руку. Под укол ланцета вырвалась струя крови и забрызгала зеркало.

— Подними же таз, — вскричал Шарль.

— Глянь-ка, — сказал крестьянин, — ровно фонтан бьет! А красная-то какая! Ведь это значит здоровая кровь, а?

— Иной раз, — пояснял врач, — человек вначале ничего не чувствует, а потом вдруг обморок; и в большинстве случаев бывает это с людьми крепкого сложения, как вот этот.

При последних словах крестьянин выронил футляр, который вертел в руках. От судорожного движения его плеч скрипнула спинка стула, шляпа свалилась на пол.

— Так и знал, — сказал Бовари, надавливая пальцем на вену.

Таз заколебался в руках Жюстена, колени у него задрожали, и он побледнел.

— Жена! Жена! — крикнул Шарль.

Одним духом сбежала она с лестницы.

— Уксусу! — крикнул он. — Ах, боже мой, двое зараз! — И от волнения он с трудом накладывал повязку.

— Ничего, — спокойно сказал Буланже, поддерживая Жюстена. Он усадил его на стул, прислонив к стене спиной.

Госпожа Бовари принялась развязывать его галстук. На тесемках рубашки оказался узел, несколько минут ее тонкие пальцы шевелились у шеи юноши; потом она налила уксусу на свой батистовый платок, слегка смачивала ему виски и тихонько дула на них.

Крестьянин пришел в себя; но обморок Жюстена еще длился, и зрачки его исчезли в бледных белках, как голубые цветы в молоке.

— Надо спрятать от него это, — сказал Шарль.

Госпожа Бовари взяла таз, и когда нагибалась, чтобы поставить его под стол, ее платье (то было летнее платье желтого цвета, с четырьмя оборками, с длинной талией и широкою юбкой) легло вокруг нее пузырем по полу; опускаясь, она покачивалась, расставив руки, и надутая ткань местами проваливалась, следуя за движениями ее стана. Достав графин с водою, она стала распускать в воде куски сахара, когда вошел аптекарь. В суматохе служанка побежала звать его на помощь; увидя, что его ученик открыл глаза, он облегченно вздохнул. Потом стал ходить около, поглядывая на молодого человека сверху вниз.

— Дурак, — сказал он, — в самом деле дурак! Форменный дурак! Велика штука, подумайте, — флеботомия! А еще храбрец, не знающий страха! Ведь вот этот самый парень — что твоя белка, как вы его видите, взбирается на головокружительную высоту, чтобы натрясти орехов! Да, поговори теперь, похвастай! Прекрасные данные, чтобы заниматься впоследствии искусством фармацевта; ведь тебя могут вызвать на

судоговорение, дабы пролить свет на важнейшее дело перед лицом судей, и тебе необходимо будет при всем этом сохранять хладнокровие, рассуждать, показать себя мужчиной — или же прослыть идиотом!

Жюстен не отвечал.

— Кто просил тебя сюда приходить? — продолжал аптекарь. — Ты вечно надоедаешь доктору и его супруге! А кроме того, по средам ты мне особенно нужен. Сейчас у меня в аптеке десятка два народа! Я всех бросил из участия к тебе. Ну, марш! Беги! Жди меня и смотри за склянками!

Когда, одевшись, Жюстен ушел, заговорили об обмороках. Госпожа Бовари никогда не испытала обморока.

— Это большая редкость для дамы! — сказал Буланже. — Впрочем, бывают и мужчины весьма впечатлительные. Я видел раз на дуэли, как с одним из секундантов сделалось дурно при одном звуке заряжаемых пистолетов.

— Вид чужой крови не действует на меня, — сказал аптекарь, — но стоит мне пристально остановиться мыслью на движении моей собственной крови — и я уже чувствую себя дурно.

Между тем Буланже отпустил своего слугу, так как его причуда была исполнена.

— Впрочем, она доставила мне удовольствие познакомиться с вами, — прибавил он. И, произнося эту фразу, взглянул на Эмму. Потом положил три франка на край стола, небрежно поклонился и ушел.

Вскоре он шагал по ту сторону реки (то был кратчайший путь в Ла-Гюшетт); Эмма увидела его на лугу, под тополями; он замедлял время от времени шаг, как человек, погруженный в раздумье.

«Очень мила! — говорил он про себя. — Очень мила эта жена лекаря! Прекрасные зубы, черные глаза, изящная ножка и фигура, как у парижанки. Откуда она, черт возьми? Где он подцепил такую, этот медведь?»

Родольфу Буланже было тридцать четыре года; у него был грубочувственный темперамент и проницательный ум; он много волочился за женщинами и знал в них толк. Только что виденная показалась ему хорошенькой; он продолжал думать о ней и о ее муже.

«На вид он очень глуп и, без сомнения, ей надоел. У него грязные ногти; он по три дня не бреется. Пока он трусит по своим больным, она сидит и чинит носки. Скучает, ей хотелось бы жить в городе и каждый вечер плясать польку. Бедная женщина! В таком положении они разевают рот на любовь, как щука на воду, когда окажется на кухонном столе. Довольно сказать ей три любезных слова, и она будет пылать страстью, я уверен! Это было бы очаровательно! Сколько нежности!.. Да, но как потом

с нею развязаться?»

Мысль о сложных препятствиях на пути к уже предвкушаемому наслаждению заставила его, по контрасту, вспомнить о его любовнице. То была актрисочка в Руане, которую он содержал; и одно воспоминание о ней вызвало в нем оскмину.

«Да, госпожа Бовари гораздо красивее, — думал он, — а главное, свежее. Виржини положительно не в меру толстеет. И как она надоедает своими восторгами! Притом, эти креветки: она любит их прямо до какой-то мании!»

На лугу никого не было, и Родольф слышал только шелест густой травы под ногами да стрекотание кузнечиков, притаившихся поодаль, в овсах. Опять представлялась ему Эмма в том платье, как она была в приемной, и он раздевал ее.

— О, она будет моею! — воскликнул он, разбивая кочку ударом палки. И тотчас начал обдумывать тактику дела.

«Где встречаться? — спрашивал он себя. — Каким способом? Все время будут у тебя на шее ребенок, нянька, соседи, муж; хлопот и возни не оберешься. А времени-то сколько на это ухлопаешь! Не стоит. — И размышлял сызнава: — Глаза хороши! Как буравом сверлят! А лицо бледное!.. Обожаю бледных женщин!»

Когда он оказался на Аргельском склоне, решение было принято.

— Остается ждать удобного случая. Ну что ж, буду иногда заходить к ним, пошлю им как-нибудь дичи, домашней птицы; велю себе кровь пустить, если уж будет нужно; заведем знакомство, приглашу их к себе... Ах, черт возьми, — прибавил он, — да ведь скоро съезд; она на нем будет, я ее увижу. К делу, и смелее, — смелость города берет!

Глава VIII

Он настал наконец, знаменитый съезд! С утра в этот торжественный день все обитатели Ионвили, стоя у дверей домов, толковали о приготовлениях; гирлянды плюша обвивали портик мэрии; на лугу воздвигнута была палатка для торжественного угощения, а на площади перед церковью стояла пушка: пальба должна была возвестить прибытие префекта и сопровождать оглашение имен земледельцев, удостоенных награды. Национальная гвардия из Бюши (в Ионвиле ее не было) соединилась с отрядом пожарных, предводимых Бинэ. В этот день на Бинэ воротник был еще выше обычного, а туловище, туго затянутое в мундир, было так прямо и неподвижно, что вся жизненная энергия его, казалось, сосредоточилась в ногах, поднимавшихся в такт и отбивавших военный шаг. Так как между сборщиком податей и полковником пылало соперничество, тот и другой, дабы самостоятельно проявить свои дарования, заставляли подчиненные им команды парадировать особо. Попеременно двигались взад и вперед красные погоны и черные нагрудники; этому не было конца, шествие начиналось снова и снова! Никогда не было видано столько пышности! Многие обыватели еще накануне вымыли снаружи свои дома; трехцветные флаги свешивались из полуоткрытых окон; все кабаки были переполнены; и при стоявшей в тот день ясной погоде белоснежные крахмальные чепцы, золотые сверкавшие на солнце крестики и цветные косынки женщин, пестрея повсюду, оттеняли яркими пятнами сумрачное однообразие черных сюртуков и синих блуз. Фермерши соседней округи, вылезая из тележек, вытаскивали толстую булавку, которою было заколото вокруг талии приподнятое от грязи платье, а их мужья, напротив, оберегая шляпы, оставляли их под зашитою носовых платков, один конец которых придерживали зубами.

Толпа прилиwała на главную улицу с двух концов. Она двигалась из переулков, из проходов между домами, из домов, и время от времени слышен был стук молотка у дверей, захлопывавшихся за мещанками в нитяных перчатках, вышедшими посмотреть на торжество. Особенное внимание привлекали два высоких столба с треугольниками из площак, водруженные по обе стороны эстрады для властей. Сверх того, у четырех колонн мэрии развевались на четырех шестах штандарты из зеленоватого холста, и на них горели надписи золотыми буквами: на одном было написано «Торговля», на другом — «Земледелие», на третьем

«Промышленность», а на четвертом «Изящные искусства».

Но праздничное ликование, которым расцветали все лица, как будто омрачало трактирщицу Лефрансуа. Стоя на ступеньках кухни, она бормотала себе под нос:

— Что за глупость! Что за нелепая глупость, этот парусинный балаган! Неужто они думают, что префекту будет приятно обедать под холстиной, как скомороху? И эти затеи они называют заботами о благе края! Стоило выписывать пачкуна повара из Невшателя! И для кого стараются? Для пастухов! Для босоногих!..

Аптекарь прошел мимо. На нем был черный фрак, нанковые панталоны, суконные башмаки и ради особого случая — шляпа, фетровая.

— Ваш слуга! — сказал он. — Извините, спешу.

И когда толстая вдова осведомилась, куда он идет, он ответил:

— Вас это удивляет, не правда ли? Я, постоянный затворник своей лаборатории, как та крыса, что попала в сыр?

— Какой сыр? — спросила трактирщица.

— Нет, ничего! Ничего! — сказал Гомэ. — Я хотел только выразить, госпожа Лефрансуа, что живу я очень замкнуто. Сегодня, впрочем, ввиду особых обстоятельств, необходимо...

— А, вы тоже туда? — сказала она с оттенком презрения.

— Разумеется, — ответил изумленный аптекарь, — разве я не состою членом совещательной комиссии?

Тетка Лефрансуа несколько секунд смотрела на него и наконец промолвила, улыбаясь:

— Это другое дело! Но что вам до земледелия? Разве вы в нем что-нибудь смыслите?

— Как так? Разумеется, смыслю, раз я аптекарь, а стало быть, и химик! Химия, госпожа Лефрансуа, занимается изучением молекулярного взаимодействия всех тел природы, из чего следует, что и земледелие входит в ее область! В самом деле, состав удобрений, брожение жидкостей, анализ газов и влияние миазмов, — что это, спрашиваю я вас, как не химия?

Трактирщица не отвечала. Гомэ продолжал:

— Неужели вы думаете, что для того, чтобы быть агрономом, нужно непременно самому пахать землю или откармливать птицу? Скорее для этого необходимо знать состав данных веществ, геологические наслоения, атмосферические влияния, свойства земли, минералов, вод, плотность различных тел и их капиллярность! Да и еще многое! И необходимо еще основательно знать законы гигиены, чтобы направлять и подвергать критической оценке сооружение сельскохозяйственных построек, приемы

скотоводства, продовольствование сельских рабочих. Надобно знать и ботанику, госпожа Лефрансуа; надобно уметь различать растения, понимаете ли, знать, какие среди них целебные и ядовитые, питательные и непродуктивные и не следует ли искоренять их в одном месте и сеять в другом, распространять одни, истреблять другие, — короче говоря, с помощью брошюр и периодических изданий быть постоянно наготове предложить необходимые улучшения.

Трактирщица не сводила глаз с дверей «Французского кафе», а аптекарь продолжал:

— Дай-то бог, чтобы наши земледельцы были химиками или по крайней мере лучше прислушивались к советам науки! Я, например, недавно написал довольно большое сочинение, записку в семьдесят две страницы, под заглавием «О сидре, его производстве и его действии; с приложением некоторых новых размышлений об этом предмете» и послал свою работу в агрономическое общество в Руане, что доставило мне даже честь быть избранным в члены общества по секции земледелия, класс плодоводства; итак, если бы моя работа была напечатана...

Но тут аптекарь остановился: до такой степени госпожа Лефрансуа казалась чем-то озабоченной.

— Взгляните-ка на них, — сказала она, — уму непостижимо! В такую харчевню!.. — Пожимая плечами, отчего натягивались петли фуфайки на ее груди, она обеими руками указывала на заведение соперника, откуда в эту минуту доносились песни. — Впрочем, он уж недолго протянет, — прибавила она, — не пройдет недели, как все будет кончено.

Гомэ в изумлении отступил назад. Она сошла вниз с трех ступенек и прошептала ему на ухо:

— Как? Вы не знаете? На него на этой неделе наложат арест. Лере требует продажи. Задушил его векселями.

— Какая ужасающая катастрофа! — воскликнул аптекарь, всегда имевший в запасе соответствующие выражения для всех мыслимых обстоятельств жизни.

Трактирщица принялась рассказывать историю, которую слышала от Теодора, лакея господина Гильомена, и хотя сама ненавидела Теллье, но бранила и Лере. Это хитрый льстец, пресмыкающаяся гадина...

— Ах, взгляните, — сказала она, — вот и он сам на рынке, раскланивается с госпожой Бовари; на ней зеленая шляпа. Она идет под руку с господином Буланже.

— Госпожа Бовари! — сказал Гомэ. — Спешу засвидетельствовать ей мое почтение. Быть может, она желает получить место внутри ограды, на

галерее. — И, не слушая тетки Лефрансуа, звавшей его, чтобы закончить свой рассказ, аптекарь удалился быстрым шагом, бодро, с улыбкой на губах, молодцевато прямясь, расточая поклоны направо и налево и заполняя много пространства широкими, развевавшимися на ветру фалдами своего черного фрака.

Родольф, увидев его издали, пошел быстрее, но госпожа Бовари запыхалась; он опять замедлил шаг и сказал ей грубовато, с улыбкой:

— Я хотел улизнуть от этого господина — как его? — от аптекаря.

Она локтем слегка прижала его руку.

«Что это значит?» — подумал он. И, взглянув на нее искоса, продолжал путь.

Ее профиль был так спокоен, что ни о чем нельзя было догадаться. Ярko освещенный, он выделялся на овале ее шляпы-капора с бледными лентами, походившими на листья тростника. Ее глаза, с длинными загнутыми ресницами, смотрели прямо вперед и, хотя были широко раскрыты, казались глубже запавшими от прилива крови, тихо бившейся под ее тонкой кожей. Розовая краска заливала ее ноздри. Она слегка склонила голову к плечу, и сквозь полураскрытые губы белела перламутровая полоска ее зубов.

«Быть может, она насмехается надо мною?» — думал Родольф.

А этот жест Эммы был лишь предупреждением, так как за ними шел Лере и время от времени заговаривал, словно желая вступить в беседу:

— Чудная погода! Сегодня все на улице!.. Ветер с востока.

Но ни госпожа Бовари, ни Родольф не отвечали ему; тем не менее при малейшем их движении он подходил и спрашивал: «Чего изволите?» — поднося руку к шляпе.

Поравнявшись с домом кузнеца, вместо того, чтобы идти по дороге до заставы, Родольф вдруг свернул на тропинку, увлекая с собою госпожу Бовари, и крикнул:

— Всего лучшего, Лере! До приятного свидания!

— Как вы от него отделались! — сказала она, смеясь.

— К чему, — ответил он, — позволять, чтобы к вам совались? А раз я сегодня имею счастье быть с вами...

Эмма покраснела. Он не кончил фразы. Заговорил о прекрасной погоде и об удовольствии гулять по траве. Попалось несколько расцветших маргариток.

— Милые цветы, — сказал он, — есть на чем гадать всем влюбленным в околотке! — И прибавил: — Не сорвать ли и мне? Как вы думаете?

— Разве вы влюблены? — сказала она, покашливая.

— Как знать! — отвечал Родольф.

На лугу появлялось все больше гуляющих. Матери семейств толкались, задевая встречных огромными дождевыми зонтиками, корзинами и младенцами. Часто приходилось сторониться, пропуская шеренгу крестьянок в синих чулках, плоских башмаках, с серебряными колечками на пальцах, рабочих девушек с фермы, пахнущих молоком, когда они проходили мимо; они держались за руки и занимали всю ширину лужайки, от ряда осин до палатки, разбитой для банкета. Но наступал час осмотра скота, и сельские хозяева один за другим вступали в ограду как бы некоего ипподрома — части луга, обнесенной длинною веревкой, навязанною на кольях.

Внутри заграждения стоял и лежал скот, повернув морды к веревке и выстроив в неровный ряд спины. Свиньи спали, уткнувшись рылом в землю; телята мычали; овцы блеяли; коровы, подогнув под себя одну ногу, разлеглись брюхом по траве и, медленно жуя жвачку, мигали тяжелыми веками, отгоняя от глаз жужжащих мошек. Крестьяне, приехавшие с возами, засучив рукава держали под уздцы жеребцов, встававших на дыбы и с широко раскрытыми ноздрями ржавших, чуя близость кобыл. Кобылы стояли смирно, вытянув шеи, с повисшей гривой; жеребята валялись в их тени или подбегали их сосать; и над этою длинною зыбью скученных тел то вдруг, словно волна по ветру, развевалась белая грива, то высовывались вверх острые рога, то мелькали головы бегущих людей. В стороне, шагов за сто от ограды, стоял огромный черный бык в наморднике и с железным кольцом в ноздре, неподвижный, как бронзовая статуя; ребенок в лохмотьях держал его на веревке.

Тем временем между двумя рядами медленно двигались важные господа, осматривая каждое животное, и совещались вполголоса. Один из них, по-видимому самый главный, что-то записывал на ходу в записную книжечку. То был президент жюри, господин Дерозерэ, владелец Панвиля. Едва завидя Родольфа, он быстро подошел к нему и сказал с любезной улыбкой:

— Как, господин Буланже, вы нас покидаете?

Родольф стал уверять, что придет. Но когда председатель отошел, он сказал:

— Ни за что не пойду к ним, ваше общество мне дороже.

И, подшучивая над съездом, Родольф, чтобы всюду проходить беспрепятственно, предъявлял жандармам свой голубой билет и даже останавливался иногда перед красивым «экземпляром»; но госпожа Бовари не склонна была этим любоваться. Заметив ее равнодушие, он принялся

высмеивать туалеты ионвильских дам, причем извинился за небрежность своего собственного. В его одежде была та смесь простоты и изысканности, в которой люди толпы обычно усматривают оригинальничанье, тревогу чувств, своенравие вкуса и отношение свысока к общественным условностям, что или восхищает их, или выводит из себя. Его батистовая рубашка с плечеными манжетами вздувалась от ветра на груди, в вырезе серого жилета, а панталоны с широкими полосами открывали на подъеме ботинки верблюжьего цвета, отделанные лакированной кожей, блестевшей как зеркало, так что в ней отражалась трава. Он ступал ими по лошадиному помету, засунув одну руку в карман пиджака и сдвинув набок соломенную шляпу.

— Впрочем, — сказал он, — когда живешь в деревне...

— То все напрасно, — добавила Эмма.

— Это правда! — ответил Родольф. — Подумайте, ведь никто из этих честных людей не способен даже различить покрой платья!

Они заговорили о провинциальной пошлости, о загубленных ею жизнях, о разбитых ею надеждах.

— Потому-то, — сказал Родольф, — я и впадаю все чаще в такое уныние...

— Вы? — сказала она с удивлением. — Я считала вас очень веселым.

— Ах да, по внешности, так как на людях я умею надевать насмешливую маску; а между тем, как часто при виде кладбища, освещенного луною, я спрашиваю себя, не лучше ли мне было бы присоединиться к тем, что спят здесь вечным сном...

— О, а ваши друзья? — сказала она. — О них вы забыли?

— Друзья? Какие же? Разве есть у меня друзья? Кто обо мне думает?

При последних словах он присвистнул сквозь зубы.

Тут им пришлось расступиться, чтобы дать дорогу целой горе стульев, которую за ними несли. Это нагромождение тащил один человек, столь нагруженный, что видны были только концы его деревянных башмаков да раскинутые в стороны руки. То был Лестибудуа, могильщик, переправлявший в толпу церковные стулья. Изобретательный во всем, что клонилось к его выгоде, он придумал этот способ использовать съезд; и его выдумка имела успех, так как он уже не знал, кого удовлетворять. Деревенские гости, задыхавшиеся от жары, вырывали один у другого из рук соломенные стулья, пропахнувшие ладаном, и с каким-то благоговением откидывались на грубые спинки, закапанные воском.

Госпожа Бовари опять взяла под руку Родольфа; он продолжал говорить, словно про себя:

— Да, сколько было у меня неудач в жизни! И всегда я был один! Ах! Если бы у меня была в жизни цель, если бы я встретил привязанность, нашел в мире родную душу... О, я проявил бы всю энергию, на какую способен, я бы все преодолел, все разрушил!

— А мне кажется, — сказала Эмма, — что вас нечего жалеть...

— Вот как! Вы находите? — спросил Родольф.

— Ведь прежде всего, — сказала она, — вы свободны... — И, помедлив, прибавила: — И богаты.

— Не смейтесь надо мною, — сказал он.

Она клялась, что не смеется, как вдруг грянул пушечный выстрел; все вразброд бросились к месту празднества.

Но это была ложная тревога. Префекта все не было, и члены жюри оказались в большом затруднении, не зная, открывать ли заседание или еще ждать.

Наконец с края площади показалось большое извозчицье ландо; его влекли две худошавые лошади, которых кучер в белой шляпе хлестал изо всех сил. Бинэ успел только крикнуть; «К ружьям». За ним скомандовал полковник. Солдаты бросились к козлам. Началась суматоха. Некоторые забыли даже свои воротники. Но коляска префекта словно предвидела это замешательство, и пара кляч, покачивая вразвалку дышло, мелкой рысцой притрусил к крыльцу мэрии как раз в то мгновение, когда пожарные и национальная гвардия, отбивая шаг и с барабанным боем, развернулись перед нею.

— Стройся! — рявкнул Бинэ.

— Смирно! — кричал полковник. — Налево кругом, марш!

Солдаты вскинули ружья, издав звук, похожий на громохание медной кастрюли, скатывающейся с лестницы; потом все ружья опустились.

Тогда из коляски вылез лысый господин в коротком, расшитом серебром фраке, с вихром на затылке, с лицом болезненно-бледным и с выражением лица самым благодушным. Его выпуклые глаза с пухлыми веками щурились, разглядывая толпу, между тем как острый нос был задран вверх, а впалый рот изображал улыбку. Узнав мэра по шарфу, он сообщил ему, что господин префект не мог приехать, сам же он — советник префектуры, и присовокупил извинения. Тюваш отвечал любезностями, а тот заявил, что чувствует себя смущенным; так стояли они друг перед другом, почти касаясь лбами, окруженные членами жюри, муниципальным советом, почетными гражданами, национальной гвардией и народной толпой. Советник, прижимая к груди черную треуголку, возобновлял свои приветствия; Тюваш, согнувшись в дугу, также улыбался, лепетал,

подбирал слова, заявлял о своей преданности монархии и о чести, оказанной Ионвилю.

Ипполит, конюх гостиницы, взял под уздцы лошадей и, хромя, отвел их под навес «Золотого Льва», где собралось много крестьян поглазеть на коляску. Забил барабан, выпалила пушка, и господа гуськом пошли занимать места на эстраде, где и уселись на красных бархатных креслах, одолженных госпожою Тюваш.

Все эти люди были похожи друг на друга: все были блондины, с полными загорелыми лицами цвета сидра, с пышными бакенбардами над высокими жесткими воротничками, в белых галстуках с тщательно расправленным бантом. У всех были бархатные жилеты и часы с овальной сердоликовой печаткой на длинной ленте; все сидели, опершись руками на оба колена и осторожно расставив ноги, чтобы не смять панталон из недекатированного сукна, блестевшего ярче кожи крепких сапог.

Дамы из общества сидели позади, в сенях между колонн, а простая публика толпилась напротив здания, стоя или сидя. Лестибудуа успел перетащить сюда все стулья с лужайки и ежеминутно бегал за новыми в церковь; их переноской и раздачей он производил такую суету, что с трудом можно было пробраться к узенькой лестнице, ведущей на эстраду.

— Я нахожу, — говорил Лере, обращаясь к аптекарю, проходившему на свое место, — что здесь следовало бы поставить две венецианские мачты: если бы задрапировать их богатыми тканями в строгом вкусе, это было бы очень картинно.

— Конечно, — отвечал Гомэ. — Но что поделаешь! Мэр все забрал в свои лапы. У него мало вкуса, у бедняги Тюваша, а того, что называется художественным чутьем, он уж и вовсе лишен.

Между тем Родольф провел госпожу Бовари наверх в «залу совещаний» и, так как она была пуста, заявил, что отсюда всего удобнее следить за церемонией. Он передвинул три табурета от овального стола под бюстом монарха, придвинул их к окну, и они сели рядом.

На эстраде волновались, перешептывались, сговаривались. Наконец господин советник встал. Теперь все знали, что его зовут Льевен, и имя его переходило из уст в уста. Разложив несколько листков и поднося их к глазам, чтобы лучше видеть написанное, он начал:

«Милостивые государи!

Да будет мне позволено (прежде чем начать беседу о предмете сегодняшнего собрания, — и это чувство, я уверен, объединит всех нас), да будет мне позволено, говорю я, воздать должное высшей администрации, правительству, монарху, милостивые государи, государю нашему,

обожаемому нашему королю, сердцу коего близка всякая отрасль общественного и частного благосостояния, кто рукою твердой и мудрой направляет колесницу государства среди непрекращающихся опасностей бурного моря и учит нас равно уважать мир и войну, промышленность, торговлю, земледелие и искусства».

— Я бы должен был немного отодвинуться, — проговорил Родольф.

— Зачем? — сказала Эмма.

Но в эту минуту голос советника достиг чрезвычайной силы. Он гремел:

«Прошли те времена, милостивые государи, когда гражданские междоусобия заливали кровью наши городские площади, когда собственник, торговец и даже рабочий, засыпая мирно с вечера, дрожал при мысли проснуться от звуков набата, при зареве пожаров, когда самые превратные учения дерзостно колебали основы...»

— Потому что, — продолжал Родольф, — меня могут увидеть снизу и потом недели две нужно будет извиняться, а при моей дурной репутации...

— О, вы клевете на себя, — сказала Эмма.

— Нет-нет, у меня отвратительная репутация, клянусь вам.

«Но, милостивые государи, — продолжал советник, — если я устраню из своей памяти эти мрачные картины и перенесу взор на современное состояние нашего прекрасного отечества, что я увижу? Повсюду процветают торговля и искусства; повсюду новые пути сообщения, подобные новым артериям в государственном теле, устанавливают новые сношения; наши главнейшие промышленные центры возобновили свою деятельность; религия, укрепленная, улыбается всем сердцам; наши гавани полны, доверие возрождается, и наконец Франция может вздохнуть...»

— Впрочем, — добавил Родольф, — быть может, с точки зрения света, люди и правы?

— Как это? — спросила она.

— Как! — сказал он. — Разве вы не знаете, что есть души, подверженные непрерывным мучениям? Им нужны попеременно то мечты, то деятельность, то самые чистые страсти, то самые яростные наслаждения, и они бросаются во всевозможные сумасбродства и безумства.

Она взглянула на него, как смотрят на путешественника, побывавшего в необыкновенных странах, и сказала:

— А у нас, несчастных женщин, нет даже и этого развлечения!

— Грустное развлечение, так как в нем нельзя найти счастья.

— А разве вообще его можно найти? — спросила она.

— В один прекрасный день вдруг и встретится, — ответил он.

«И вы это поняли, — говорил советник. — Вы, земледельцы и сельские рабочие, вы, мирные пионеры истинной гражданственности, вы, представители прогресса и нравственности, вы поняли, говорю я, что политические бури еще опаснее атмосферических волнений...»

— Вдруг и встретится счастье, — продолжал Родольф, — в один прекрасный день придет нечаянно, внезапно, когда в нем уже отчаялись. Тогда приоткрываются неожиданные горизонты, и словно чей-то голос кричит: «Вот оно!» Вы ощущаете потребность доверить этому лицу все тайны вашей жизни, отдать ему все, всем для него пожертвовать! Тогда люди не объясняются — они угадывают друг друга. Они уже как будто видели друг друга во сне. (Он взглянул на нее.) Наконец оно тут, перед вами, это давно разыскиваемое сокровище; оно блестит, сверкает. А между тем все еще сомневаешься, не смеешь в него поверить, стоишь ослепленный, словно только что вышел из темноты на свет!

Последнюю фразу Родольф дополнил мимикой. Он провел рукой по лицу, как человек, испытывающий головокружение; потом рука его упала на руку Эммы. Она отдернула свою. А советник все читал:

«И кто удивился бы этому, милостивые государи? Только тот, кто был бы настолько слеп, настолько погружен (и не боюсь сказать это), — настолько погружен в предрассудки иной эпохи, что не угадал бы современного настроения земледельческих классов. Где, в самом деле, найдете вы более патриотизма, чем в деревнях, где более преданности общегосударственному делу, — одним словом, общественного смысла более здорового? Я говорю, милостивые государи, не о том поверхностном развитии, какое служит пустым украшением праздных умов, а о том глубоком и умеренном строе мысли, который прежде всего направляется к преследованию полезных целей, содействуя таким образом благу каждого, общему усовершенствованию и укреплению государственности, будучи плодом уважения к законам и жизненного навыка в исполнении долга...»

— Ах, опять «долг», — сказал Родольф. — Все «долг» да «долг»! Мне это слово прямо смерть. Толпа старых идиотов во фланелевых фуфайках и ханжей с грелками и четками поют нам в уши: «Долг! Долг!» Черт возьми! Долг заключается в том, чтобы чувствовать все великое, любить все прекрасное, а не принимать все условности общества вместе с теми подлостями, которые оно нам предписывает.

— А между тем... между тем... — старалась было возразить госпожа Бовари.

— Ах нет! Зачем восставать против страстей? Разве они не

единственное прекрасное на земле, не источник геройства, энтузиазма, поэзии, музыки, искусств — словом, всего!

— Но надо же, — сказала Эмма, — хоть несколько считаться с мнением света и подчиняться его морали!

— Все дело в том, что есть две морали, — возразил он. — Одна мелкая, условная, людская мораль; она постоянно меняется и без устали горланит откуда-то снизу, с уровня земли, — вот так, как это собрание дураков, которое вы видите. А другая — вечная, она кругом нас, выше нас, как окружающая нас природа, как голубое небо, что светит над нами.

Господин Льевен, отерев рот носовым платком, продолжал:

«К чему, милостивые государи, стал бы я здесь распространяться о пользе земледелия? Кто заботится о наших насущных потребностях? Кто доставляет нам средства к существованию? Не земледелец ли? Земледелец, милостивые государи, засевая трудолюбивою рукой плодородные борозды полей, является виновником произрастания хлебного зерна; оно же, будучи смолото при помощи остроумных орудий, под именем муки перевозится в города и поручается булочнику, обращающему его в средство питания равно богатых и бедных. Не земледелец ли для снабжения нас одеждою откармливает на пастбищах изобильные стада? Во что одевались бы мы, чем питались бы без земледельца. И нужно ли, милостивые государи, искать отдаленных примеров? Кто не задумывался над пользою, извлекаемой из скромной породы животного царства, служащей украшением наших птичьих дворов и доставляющей нам и мягкие подушки для постелей, и сочное мясо к столу, и яйца? Но я никогда не кончил бы, если бы стал перечислять один за другим все продукты, которые хорошо возделанная земля, как великодушная мать, щедро расточает своим детям. Здесь — виноградная лоза, в другом месте — яблоки для сидра, там — репа, далее — сыры; наконец лен. Милостивые государи, не забывайте о льне! За последние годы площадь льняных засевов все увеличивается, и к этой отрасли сельского хозяйства я позволю себе привлечь ваше особое внимание».

Ему нечего было взывать ко вниманию: рты у всех были раскрыты, словно толпа впивала в себя его слова. Тюващ, сидевший подле оратора, слушал, тараща глаза; Дерозерэ время от времени опускал веки; далее аптекарь с сыном Наполеоном, стоявшим у него промеж колен, приставлял к уху руку, чтобы не проронить ни одного звука. Другие члены жюри степенно наклоняли подбородки к жилетам в знак одобрения. Пожарные, стоя у подножия эстрады, опирались на штыки; а Бинэ, неподвижный, замер, выпятив локоть и с саблей наголо. Быть может, он что-нибудь

слышал, но видеть ничего не мог, закрытый до носа козырьком каски. У его помощника, младшего сына Тюваша, каска была еще огромнее и качалась у него на голове, обнаруживая кончик ситцевого шейного платка. Он улыбался под каской с детскою кротостью, и его маленькое бледное личико, с которого градом катился пот, было радостно, устало и сонно.

Вся площадь до линии домов была переполнена народом. Все окна, все двери были заняты зрителями. Жюстен, у аптечной витрины, казался всецело погруженным в созерцание. Несмотря на тишину, голос Льеvena терялся в воздухе. Долетали отрывки фраз, прерываемые шумом стульев в толпе; потом вдруг раздавалось позади протяжное мычание быка или блеяние перекликавшихся овец. Пастухи пригнали скот на улицы местечка, и он время от времени ревел, обрывая качавшиеся перед ним веточки зелени.

Родольф придвинулся к Эмме и говорил вполголоса, быстро:

— Разве этот всеобщий заговор вас не возмущает? Есть ли хоть одно чувство, которого бы свет не осуждал? Самые благородные порывы, самые чистые симпатии он преследует и осыпает клеветами. Встретятся ли две души, нуждающиеся одна в другой, — все устроено так, чтобы они не могли соединиться. И все же они будут делать отчаянные попытки, будут биться крыльями, будут звать друг друга! О, рано или поздно, через шесть месяцев или через десять лет — не все ли равно? — но они соединятся, они будут любить, потому что этого требует рок, потому что эти двое рождены друг для друга....

Он сидел скрестив руки на коленях, и, приблизив лицо к Эмме, глядел на нее снизу вверх пристально. Она различала в его глазах золотистые искорки, сверкавшие вокруг черных зрачков, и даже обоняла запах помады, которой лоснились его волосы. Тогда ее охватило томление; она вспомнила виконта, пригласившего ее на вальс в Вобьессаре, — от его бороды, как и от этих волос, несся аромат ванили и лимона; бессознательно она прикрыла глаза, чтобы полнее вдохнуть этот запах. Но, откинувшись на спинку стула, она увидела при этом движении — далеко, на краю полей — «Ласточку», старый дилижанс, медленно спускавшийся по кособокому Лё, поднимая за собою облако пыли. В этой желтой карете так часто приезжал к ней Леон, и по этой же дороге он уехал навсегда! Ей показалось, что она видит его по ту сторону площади, у его окна; потом все смешалось, заволокло туманом; ей казалось, что она кружится в вальсе, под огнями люстры, с виконтом, и что Леон недалеко, что он сейчас войдет... а между тем продолжала чувствовать возле себя голову Родольфа. Сладость этого ощущения пронизывала ее прежние, опять зашевелившиеся желания, и,

словно песчинки в вихре, они кружились в тонких волнах аромата, лившегося в ее душу. Несколько раз она расширяла ноздри, вдыхая свежий запах плюща, обвинявшего капиталистов колонн. Она сняла перчатки, отерла руки; потом обмахнула лицо носовым платком, прислушиваясь сквозь шум в висках к гулу толпы и голосу советника, скандировавшего нараспев свои фразы:

«Продолжайте! Упорствуйте! Не внимайте ни внушениям рутины, ни слишком поспешным советам не в меру отважных экспериментаторов! Заботьтесь прежде всего об улучшении почвы, о хорошем удобрении, об усовершенствовании пород лошадей, рогатого скота, овец и свиней! Пусть этот съезд будет для вас мирной ареной, на которой тот, кто вышел из состязания победителем, протягивает руку побежденному и братается с ним в ожидании дальнейших успехов! А вы, почтенные слуги, скромные работники, чей тягостный труд до наших дней не был оценен ни одним правительством, придите получить награду за ваши молчаливые добродетели и будьте уверены, что государство отныне устремило свои взоры на вас, что оно поощряет вас и ограждает, что оно будет поддерживать ваши справедливые требования и облегчит, насколько это возможно, бремя ваших тяжелых жертв!»

Тут Льёвен сел; встал Дерозерэ и начал свое слово. Вторая речь не была, быть может, так цветиста, как речь советника, но она отличалась преимуществами более положительного характера, а именно более специальными знаниями и более существенными соображениями. Похвалы правительству заняли в ней меньше, а религия и земледелие — больше места. Были поставлены на вид взаимные отношения той и другого, и выяснено, насколько они дружно содействуют успехам цивилизации. Родольф с госпожой Бовари беседовали о снах, предчувствиях, магнетизме. Оратор, восходя к колыбели общества, описывал суровые времена, когда люди питались желудями в чаще лесов. Впоследствии они бросили звериные шкуры, оделись в шерстяные ткани, провели борозды и насадили виноградную лозу. Было ли то благом и не таилось ли в этих открытиях более опасностей, нежели преимуществ? Дерозерэ ставил себе эту проблему. Родольф от магнетизма мало-помалу перешел к сродству душ, и в то время как председатель съезда указывал на Цинцинната за сохой, на Диоклетиана, сажающего капусту, и на китайских императоров, знаменующих новолетие посевом, вдохновенный собеседник объяснял молодой женщине, что причина этих непреодолимых привязанностей — наследие прежних жизней, пережитых нами до появления нашего на свет.

— Так, например, мы с вами, — сказал он, — почему мы встретились?

Какой случай свел нас? Объясняется это, конечно, тем, что, несмотря на пространство, нас разделявшее, мы, подобно двум рекам, которые текут врозь, чтобы потом слиться, следуем направлению общего нам обоим водосклона.

Он схватил ее руку; она не отняла своей руки.

«Лучшее общее ведение сельского хозяйства!» — выкрикнул председатель.

— Например, когда я зашел к вам намеренно...

«Господину Бизэ из Кенкампуа»...

— Знал ли я, что окажусь вашим спутником?..

«Семьдесят франков!»

— Сто раз хотел я уйти, но все же пошел за вами, остался.

«Удобрение почвы».

— Как остался бы и сегодня, и завтра — все дни, всю жизнь!

«Господину Карону из Аргеля золотая медаль!»

— Никогда, ни в чьем обществе не находил я столь полного очарования.

«Господину Бену из Живри-Сен-Мартен!»

— И потому я унесу воспоминание о вас.

«За барана-мериноса»...

— Вы же забудете меня, я пройду в жизни вашей как тень.

«Господину Бело из Нотр-Дам»...

— Но нет, не правда ли, я займу какое-нибудь место в ваших мыслях, в вашей душе?

«За породу свиней премия разделена поровну: господам Легириссе и Кюленбургу — по шестидесяти франков!»

Родольф пожимал ее руку и чувствовал, что она горит и трепещет, как пойманная горlinka, которой хочется на волю; попыталась ли она отдернуть руку или же ответила его пожатием, но она сделала движение пальцами.

— О, благодарю вас, — воскликнул он. — Вы не отталкиваете меня! Вы добры! Вы понимаете, что я — ваш! Дайте мне возможность видеть вас, любоваться вами!

Порыв ветра, ворвавшегося в окно, наморщил скатерть на столе, а внизу на площади поднял все чепцы крестьянок, словно крылья вспорхнувших белых бабочек.

«Применение выжимок маслянистых семян», — продолжал председатель...

Он торопился:

«Фламандское удобрение — культура льна — осушение — долгосрочные аренды — служба домашнего рабочего персонала».

Родольф молчал. Они глядели друг на друга. Губы обоих были сухи и дрожали от желания; и нежно, без усилия, их пальцы сплелись.

«Катерине-Никезе-Елизавете Леру из Састо-Лагеррьер, за пятидесятичетырехлетнюю службу на одной и той же ферме — серебряная медаль стоимостью в двадцать пять франков! Где же она, Катерина Леру?» — повторил советник.

Она не выходила; но слышны были переговоры вполголоса:

— Иди же!

— Не пойду.

— Налево.

— Не бойся!

— Вот глупая-то!

— Здесь ли она, наконец? — вскричал Тюваш.

— Да... вот она!

— Пусть подойдет!

К эстраде приблизилась, с боязливой повадкой, маленькая старушка, вся съежившаяся в своей убогой одежке. На ногах у нее были грубые деревянные башмаки, а бедра закрыты широким синим передником. Худое лицо, обрамленное чепцом без оборки, было сморщено, как высохшее яблоко, а из рукавов красной кофты торчали длинные руки с узловатыми суставами. От пыли амбаров, от щелока стирок, от сала шерсти они так закорузли, потрескались, огрубели, что казались грязными, хотя и были всполоснуты ключевой водой; привыкнув служить, они оставались полуоткрытыми, как бы сами собою представляя смиренное доказательство перенесенных ими страданий. Какая-то монашеская суровость делала значительным выражение ее лица. Ни печаль, ни нежность не смягчали этого безучастного взгляда. В тесном общении с животными она усвоила себе их немоту и тихую покорность. Впервые в жизни очутилась она в такой многочисленной компании и, втайне испуганная этими флагами, барабанами, господами в черных фраках и орденом советника, стояла неподвижно, не зная, идти ли ей вперед или назад, ни куда толкает ее толпа, ни почему члены жюри ей улыбаются. Так стояло перед этою расцветшею буржуазией полувековое рабство.

— Подойдите же, почтенная Катерина-Никеза-Елизавета Леру! — произнес господин советник, взяв из рук председателя список лиц, представленных к награде. И, глядя поочередно то на лист бумаги, то на старуху, повторял отеческим тоном: — Подойдите, подойдите ближе!

— Да что же, вы глухи? — сказал Тюваш, подсакивая в своем кресле. И стал кричать ей в ухо: — Пятьдесят четыре года службы! Серебряная медаль! Двадцать пять франков! Вам!

Получив медаль, она взглянула на нее. Блаженная улыбка разлилась по ее лицу, и, уходя, она бормотала:

— Отдам ее батюшке нашему, чтобы служил за меня обедни.

— Какой фанатизм! — воскликнул аптекарь, наклоняясь к нотариусу.

Заседание кончилось; толпа рассеялась; теперь, когда речи были прочтены, каждый вернулся к своему прежнему общественному положению, и все вошло в обычную колею: хозяева ругали слуг, а эти били животных, ленивых триумфаторов, возвращавшихся в свои стойла с зелеными венками на рогах.

Между тем солдаты национальной гвардии поднимались во второй этаж мэрии, с надетыми на штыки булками и с барабанщиком, тащившим корзину бутылок. Госпожа Бовари взяла под руку Родольфа; он проводил ее до дому; у двери они расстались; потом он гулял по лугу один в ожидании банкета.

Пир был долог и шумен; подавали и прислуживали плохо; обедавшие сидели так тесно, что почти нельзя было двигать локтями, а узкие доски, служившие для сидения, едва не ломились под тяжестью гостей. Ели много. Каждый старался наесться вволю за свои деньги. Пот струился со всех лиц; и беловатый пар, словно туман над рекой в осеннее утро, носился над столом между висячими лампами. Родольф, прислонясь спиной к холсту палатки, так задумался об Эмме, что ничего не слышал. Позади, на траве, лакеи громоздили груды грязных тарелок; соседи с ним заговаривали, но он не отвечал; ему подливали вина, и молчание водворялось в его мыслях, между тем как общество становилось все шумнее. Он мечтал о том, что она ему говорила, и о форме ее губ; лицо ее, словно в магическом зеркале, отражалось в бляхах киверов; складки ее платья спускались по стенам, и перед ним в перспективе будущего развертывалась бесконечная вереница дней, отданных любви.

Он увидел ее еще раз вечером, во время фейерверка; но она была с мужем, с госпожой Гомэ и с аптекарем; последний, опасаясь нелопнувших ракет, ежеминутно покидал общество и делал наставления Бинэ.

Материалы для фейерверка, присланные на имя господина Тюваша, были из чрезмерной осторожности заперты в погреб; отсыревший порох не воспламенялся, и главный номер программы, долженствовавший изобразить дракона, кусающего собственный хвост, вовсе не удался. Время от времени взлетала жалкая римская свеча, тогда глазевшая толпа

разражалась громкими криками, сливавшимися с визгом женщин, которых щекотали в темноте. Эмма, молчаливая, прижималась к плечу Шарля или, подняв голову, следила в черном небе за ярким полетом ракет. Родольф любовался ею при свете пылавших плошек.

Мало-помалу они погасли. Зажглись звезды. Упало несколько капель дождя. Она покрыла голову косынкой.

В эту минуту коляска советника отъезжала от гостиницы. Кучер был пьян и тотчас заснул; издали видно было над верхом экипажа, между двумя фонарями, его грузное тело, покачивающееся то вправо, то влево в такт качке рессор.

— Поистине, — сказал аптекарь, — необходимы строжайшие мероприятия для преследования пьянства! Я желал бы, чтобы у входа в мэрию на особой доске были еженедельно выставляемы фамилии всех, кто в течение недели отравлялся алкоголем. К тому же эти данные с точки зрения статистики составили бы наглядную летопись, которую в случае надобности... Но извините меня! — И он снова побежал к капитану.

Бинэ уходил домой, к своему токарному станку.

— Быть может, вы хорошо сделали бы, — сказал Гомэ, — если бы послали кого-нибудь из людей вашей команды или пошли сами...

— Да оставьте вы меня в покое, — ответил сборщик податей, — ведь ничего же нет!

— Успокойтесь, — сказал аптекарь, вернувшись к друзьям. — Бинэ уверил меня, что приняты все меры. Ни одной искры не заронят, пожарные бочки полны. Пойдемте спать.

— По правде сказать, я была бы очень не прочь, — сказала госпожа Гомэ, зевая, — но все-таки для нашего праздника выдался хороший денек.

— О да, чудный день! — подтвердил Родольф вполголоса и с нежным взглядом.

Все попрощались и разбрелись.

Два дня спустя в «Руанском Маяке» была помещена большая статья о съезде. Гомэ сочинил ее одним духом, на следующий день.

«Что значили эти венки, цветы, гирлянды? Куда стремилась эта толпа, как волны бурного моря под лучами тропического солнца, заливавшего наши пашни?»

Далее говорилось о положении крестьян. Разумеется, правительство делает много, но этого все еще недостаточно! «Мужайтесь! — взывал к нему автор. — Необходимы тысячи реформ: выполните их!» Затем, описывая приезд советника, он не забыл упомянуть ни о «молодецком виде нашей милиции», ни о «резвой живости поселянок», ни о лысых стариках,

похожих на патриархов, из коих многие, «остатки наших бессмертных фаланг, чувствовали, что их сердце бьется прежним мужественным одушевлением при воинственных звуках барабанного боя». Он назвал себя одним из первых в списке членов жюри, и даже прибавил в примечании, что Гомэ, аптекарь, послал статью о сидре в Земледельческое общество. Дойдя до раздачи премий, он в восторженных выражениях описывал радость награжденных: «Отец обнимал сына, брат брата, супруг супругу. Не один счастливец с гордостью показывал свою скромную медаль, и, разумеется, вернувшись домой, к доброй жене и хозяйке, он со слезами на глазах повесит ее на стене своей убогой хижины.

В шесть часов главные участники празднества соединились за трапезой, устроенной на лугах господина Лижара. Величайшая сердечность не переставала царить на этом банкете. Было провозглашено несколько тостов: господином Льевром — за государя, господином Тювашем — за префекта, господином Дерозерэ — за земледелие, господином Гомэ — за искусство и промышленность как за двух родных сестер; господином Леплише — за общее совершенствование. Вечером блестящий фейерверк внезапно озарил потемневшую атмосферу. Настоящий калейдоскоп, оперная декорация, и на минуту наше маленькое местечко могло подумать, что оно перенесено в волшебные края „Тысяча и одной ночи“.

Следует отметить, что ни одно досадное событие не смутило семейного торжества».

В конце он прибавлял:

«Замечено было только отсутствие духовенства. По-видимому, в духовных консисториях понимают прогресс по-своему...

Как вам угодно, достопочтенные последователи Лойолы!»

Глава IX

Прошло шесть недель. Родольф не приходил. Наконец однажды к вечеру он явился.

На другой день после съезда он сказал себе: «Не будем спешить с визитом: это было бы ошибкой» — и в конце недели отправился на охоту. Вернувшись с охоты, он подумал, что время прошло, но, хорошенько размыслив, пришел к следующему выводу: «Если она полюбила меня с первого дня, то из нетерпения меня видеть она должна любить меня теперь еще больше. Итак, будем продолжать!»

Он понял, что расчет его был верен, когда при входе в гостиную он заметил, что Эмма побледнела.

Она была одна. Уже смеркалось. Кисейные занавесочки на окнах сгущали полумрак комнаты, а позолота барометра, на которой еще играл луч солнца, зажигала огни в зеркале, в промежутках между вырезами полипника.

Родольф не сажился; Эмма едва была в силах отозваться на его приветствие. Он сказал:

— У меня были дела. И я хворал.

— Серьезно? — воскликнула она.

— Нет!.. — отвечал Родольф, сядясь возле нее на табурете. — Я просто не хотел к вам приходить.

— Почему?

— Вы не догадываетесь?

Он опять взглянул на нее, но на этот раз с такою дерзостью желания, что она опустила голову, покраснев. Он было начал:

— Эмма...

— Господин Буланже! — сказала она, слегка отодвигаясь.

— Вот видите, — продолжал он с грустью, — что я был прав, когда не хотел приходить; имя, это имя, которое переполняет мою душу и сорвалось у меня с языка, вы запрещаете мне произносить! Госпожа Бовари!.. Эх, да ведь так зовут вас все!.. И притом, ведь это не ваше имя, это имя другого! — И он повторил: — Другого! — И закрыл лицо руками.

— Да, я думаю о вас непрерывно... Мысль о вас приводит меня в отчаяние!.. Ах, извините!.. Я уйду... Прощайте!.. Уеду далеко... так далеко, что вы никогда больше не услышите обо мне!.. Но все же сегодня... не знаю, какая сила толкнула меня к вам еще раз! С небесными силами

нельзя бороться, нельзя противиться улыбке ангелов. Человек отдает себя во власть того, что красиво, прелестно, обаятельно!

В первый раз в жизни Эмма слышала такие слова; и ее тщеславие, словно человек, отдыхающий в теплой ванне, нежилося и потягивалось от тепла этих слов.

— Но если я не приходил, — продолжал он, — если я не мог видеть вас, то по крайней мере глядел на все, что вас окружает. По ночам — каждую ночь — я вставал, приходил сюда, смотрел на ваш дом, на светлую при луне крышу, на деревья сада, качавшиеся над вашим окном, и на маленькую лампу, на огонек, мерцавший сквозь стекла, в тени. Ах, вы, конечно, не подозревали, что подле вашего дома, так близко и в то же время так далеко от вас, стоит кто-то глубоко несчастный...

Она обернулась к нему, едва сдерживая рыдания.

— О, как вы добры! — произнесла она.

— Нет, я люблю вас, вот и все. И вы в этом не сомневаетесь!.. Скажите мне это, одно слово! Одно только слово! — И Родольф незаметно соскользнул с табурета на пол; но из кухни послышался стук деревянных башмаков; дверь гостиной, он заметил, не была притворена.

— Будьте милосерды, — продолжал он, вставая, — исполните одну мою прихоть!

Он просил ее показать ему дом, ему хотелось все в нем видеть; и так как госпожа Бовари согласилась, оба встали, когда вошел в комнату Шарль.

— Здравствуйте, доктор, — сказал ему Родольф.

Лекарь, польщенный титулом, на который вовсе не рассчитывал, рассыпался в любезностях; Родольф воспользовался этим, чтобы немного оправиться.

— Ваша супруга, — сказал он, — говорила мне о состоянии своего здоровья...

Шарль прервал его: он в самом деле серьезно беспокоился, у жены снова начались удушья. Тогда Родольф спросил, не была ли бы ей полезна верховая езда.

— Разумеется! Превосходно, отлично!.. Это мысль! Ты непременно должна последовать этому совету.

Когда она возразила, что у нее нет лошади, Родольф предложил своих; она отказалась, он не настаивал; затем, чтобы оправдать свое посещение, рассказал, что крестьянин, которому недавно делали кровопускание, продолжает жаловаться на головокружения.

— Я к нему заеду, — сказал Бовари.

— Нет-нет, я пришлю его к вам; мы приедем сюда, это удобнее.

— А, очень хорошо. Благодарю вас.

Как только супруги остались одни, Бовари сказал:

— Отчего ты не хочешь принять предложения господина Буланже? Это так мило с его стороны.

Она надулась, перебрала тысячу предлогов и наконец заявила, что «это может показаться странным».

— Ах, мне-то какое до этого дело? — сказал Шарль, повертываясь на каблуке. — Здоровье прежде всего. Ты не права.

— Да и как ты хочешь, чтобы я каталась верхом, если у меня нет амазонки?

— Надо заказать! — ответил он.

Амазонка заставила ее решиться.

Когда платье было готово, Шарль написал господину Буланже, что жена ожидает его и что они рассчитывают на его любезность.

На другой день, около полудня, Родольф подъехал к двери Шарля с двумя выездными лошадьми. Одна, с розовыми помпонами у ушей, была под дамским седлом из замшевой кожи.

Родольф надел высокие мягкие сапоги, говоря себе, что, по всей вероятности, она никогда не видывала таких; и действительно, Эмма пришла в восторг от его наряда, когда он появился на крыльце в длинном бархатном камзоле и в лосинах. Она была одета и ждала его.

Жюстен из аптеки прибежал взглянуть на нее; потревожился и сам аптекарь. Он напоминал господину Буланже об осторожности:

— Долго ли случится несчастьем! Будьте осмотрительны! Быть может, лошади ваши слишком горячие?

Эмма расслышала над головой шум: то Фелисите у окна барабанила по стеклу, забавляя маленькую Бертю. Ребенок посылал ручкой воздушные поцелуи; мать сделала ответный знак рукояткой хлыста.

— Приятной прогулки! — крикнул Гомэ. — Но будьте осторожны, главное — будьте осторожны! — И он помахал им вслед газетой.

Как только лошадь Эммы почувствовала под собой мягкую землю, она пустилась галопом. Родольф скакал рядом с нею. Время от времени они обменивались короткими фразами. Слегка нагнув голову, приподняв левую руку и уронив правую, она отдавалась ритму движения, баюкавшего ее в седле.

При подъеме на косогор Родольф опустил повод, и они помчались, дружно, одним взлетом; на холме лошади вдруг остановились, и ее длинная голубая вуаль упала.

Стояли первые дни октября. Внизу реял туман. Длинными полосами

тянулся он по краю равнины, между вырезами холмов; местами полосы разрывались, поднимались клубами вверх и исчезали. Порой под просветом облаков выступали вдалеке, на солнце, крыши Йонвиля, с садами по берегу реки, дворами, стенами и церковною колокольней. Эмма щурила глаза, чтобы разглядеть свой дом, и никогда бедное селение, где она жила, не казалось ей таким убогим. С возвышенности вся долина представлялась огромным, бледным, кутившимся испарениями озером. Купы деревьев местами выдвигались как черные скалы, а колеблемые ветром вершины пирамидальных тополей, возникая рядами из мглы, напоминали зыбучие дюны.

Рядом на лужайке, между соснами, коричневатые отсветы колыхались в теплом воздухе. Почва рыжеватая, как табачная пыль, заглушала звук копыт, раскидывавших палые сосновые шишки.

Всадники держались лесной опушки. Время от времени Эмма отворачивалась, избегая его взгляда; тогда она видела только стволы сосен, вытянутых в ряд, и от их постоянного мелькания у нее слегка кружилась голова. Лошади фыркали. Поскрипывала кожа седел. Когда они въезжали в лес, показалось солнце.

— Небо нам покровительствует! — сказал Родольф.

— Вы думаете? — ответила она.

— Вперед! Вперед! — сказал он, прищелкнув языком.

Лошади помчались.

Высокие папоротники, росшие по краю дороги, запутывались ей в стремя, Родольф порой нагибался на всем скаку и вырывал их. Иной раз, чтобы раздвинуть ветви, он проезжал так близко от Эммы, что его нога задевала ее колено. Небо заголубело. Листья не шевелились. Большие пространства были покрыты цветущим вереском; лиловые ковры чередовались с купами деревьев, то серых, то бурых, то золотых, смотря по их породе. Часто под кустами слышалось легкое хлопанье крыльев или мягкогортанное карканье воронов, улетающих в чашу дубов.

Они сошли с седел; Родольф привязал лошадей. Она шла впереди по мху между колеями.

Но длинное платье, шлейф которого она взяла в руки, все же стесняло ее шаги, и Родольф, идя за нею, видел в промежутке между черным сукном и черным ботинком ее нежный белый чулок, напоминавший ему нагое тело.

Она остановилась.

— Я устала, — проговорила она.

— Ну сделайте еще усилие! Бодрей!

Пройдя еще шагов сто, она опять остановилась, и сквозь длинную

вуаль, спускавшуюся с ее мужской шляпы вбок, на бедра, видно было ее лицо в голубоватой прозрачной дымке, как будто она плавала в волнах лазури.

— Куда же мы идем?

Он не отвечал. Она дышала прерывисто. Родольф оглядывался и покусывал усы.

Они вышли на открытое место, где молодые побеги у пней были вырублены. Сели на ствол сваленного дерева. Родольф заговорил о своей любви.

Он не испугал ее сразу восторженными излияниями чувств: он был спокоен, серьезен, грустен.

Эмма слушала, потупясь и шевеля ногой валявшиеся на земле щепки.

Но когда он сказал:

— Разве нас не связывает теперь общая участь?

Она ответила:

— Нет. Вы это отлично знаете. Это невозможно. — И встала, собираясь уйти.

Он схватил ее за руку. Она остановилась. Посмотрев на него несколько секунд влюбленным, влажным взором, она сказала с живостью:

— Послушайте, не будем больше говорить об этом... Где лошади? Едем домой!

У него вырвалось движение гнева и досады. Она повторила:

— Где лошади? Где лошади?

Улыбаясь странно улыбкой, глядя на нее в упор и стиснув зубы, он подходил к ней с протянутыми вперед руками. Она отступила, дрожа, прошептала:

— Вы пугаете меня! Вы меня огорчаете! Едем!

— Делать нечего! — сказал он, меняясь в лице. И тотчас же стал почтителен, ласков, робок.

Она подала ему руку. Пошли назад.

— Что с вами было? — говорил он. — Отчего? Я не понял. Вы, очевидно, ошиблись! В душе моей вы как мадонна на пьедестале, на недосыгаемой, незыблемой, непорочной высоте. Но без вас я не могу жить! Мне нужны ваши глаза, ваш голос, ваши мысли. Будьте моим другом, моей сестрой, моим ангелом!

Он вытянул руку и охватил ее стан. Она слабо старалась высвободиться. Так он поддерживал ее, идя с нею рядом.

Заслышали шорох лошадей, обрывавших листья с деревьев.

— О, подождем еще, — сказал Родольф. — Останьтесь!

Он увлекал ее дальше, к маленькому пруду, подернутому зеленою ряской. Увядавшие водяные лилии недвижно лежали на воде в зарослях тростника. Испуганные шелестом шагов по траве, лягушки прыгали и прятались в воду.

— Я нехорошо поступаю, — говорила Эмма. — Я поступаю безумно, слушая вас.

— Отчего?.. Эмма! Эмма!

— О, Родольф... — медленно проговорила молодая женщина, склоняясь к его плечу.

Сукно ее амазонки приставало к бархату его камзола. Она закинула белую шею, вспухшую от глубокого вздоха, и, изнемогая, в слезах, с долгою дрожью, закрыв лицо, отдалась.

Спускались вечерние тени; низкое солнце, сквозя через ветви деревьев, слепило ей глаза. Там и здесь, вокруг нее, в листве и по траве, дрожали светлые пятна, словно колибри, вспорхнув, рассыпали свои перышки. Тишина царствовала повсюду; какою-то мягкой негой, казалось, веяло от деревьев; она чувствовала, как сердце ее опять забилося и кровь разливается по телу ласковой, млечной волной. Вдруг она услышала из-за леса, с далеких холмов, неопределенный долгий крик, голос, протяжно замиравший в воздухе; молча прислушивалась к нему: его музыка слилась с последними содроганиями ее потрясенных нервов. Родольф, с сигарой в зубах, чинил перочинным ножом одну из порванных уздечек.

Возвращались в Ионвиль тою же дорогой. Узнавали в грязи отпечатки подков, оставленные двумя лошадьми, шедшими рядом; те же кусты, те же камни в траве. Ничто вокруг не изменилось; но в ней совершилось нечто более важное, чем если бы передвинулись горы. Время от времени Родольф нагибался, брал ее руку и целовал.

Она была очаровательна на лошади. Прямая, с тонким станом, с коленом, подогнутым к гриве, вся розовая от воздуха и движения, в алом свете заката.

Въезжая в Ионвиль, ее лошадь загарцевала по мостовой. На нее смотрели из окон.

Муж за обедом нашел, что у нее свежий вид; но она притворилась, будто не слышит, когда он спросил ее о прогулке, и сидела молча, облокотясь на стол, над своим прибором между двух горящих свечей.

— Эмма! — сказал он.

— Что?

— Я заезжал сегодня днем к господину Александру; у него есть кобыла, старая, но еще видная, хотя есть ссадины на ногах; я уверен, что ее

можно купить за какую-нибудь сотню экю... — И прибавил: — Думая, что это будет тебе приятно, я оставил ее за собою... купил... Хорошо ли я сделал? Скажи.

Она кивнула головой в знак согласия и через четверть часа спросила:

— Ты пойдешь куда-нибудь сегодня вечером?

— Да. А что?

— Нет, так! Ничего, друг мой.

Освободясь от Шарля, она пошла и заперлась в своей спальне.

Сначала она ощутила словно головокружение; видела деревья, дороги, рвы, Родольфа и чувствовала еще его объятия, а вокруг дрожала листва и свистели тростники.

Но, взглянув на себя в зеркало, она удивилась изменению своего лица. Никогда в жизни глаза ее не были такими огромными, черными и глубокими. Что-то неуловимое, разлитое во всех чертах, преображало ее. Она твердила; «У меня любовник! Любовник!» — упоенная этою мыслью, словно чувством наступившей для нее второй юности. Стало быть, и она узнает радости любви, лихорадку счастья, а она уже отчаивалась! Она вступает в чудесный мир, где все — страсть, самозабвение и безумие; лазурная бездна окружила ее, вершины страсти сверкают перед ее мысленным взором, а повседневность отступает куда-то далеко, вниз, в тень, в провалы между этими высотами.

Тут она припомнила героинь читанных ею романов, и лирический легион влюбленных преступниц запел в ее памяти родными, сестринскими, волшебными голосами. Жизнь ее самой становилась удостоверением этих вымыслов, правдою сказки; долгие мечтания ее первых лет осуществлялись, — так думала она, вглядываясь в себя в этом облике любовницы, давно снившемся ее желанию. И, кроме того, Эмма переживала радость удовлетворенной мести. Разве она не довольно страдала? Но теперь она торжествует, и любовь, так долго сдерживаемая, рвалась наружу ликующим потоком. Она упивалась ею без угрызений совести, безмятежно, беспечно.

Следующий день принес новые нежные отрады. Любовники обменялись клятвами. Она поведала ему свои горести. Родольф прерывал ее речь поцелуями, а она просила, глядя на него полузакрытыми глазами, еще и еще называть ее по имени и повторять, что он ее любит. То было, как накануне, в лесу — в шалаше долбежника деревянной обуви. Стены были из соломы, а кровля спускалась так низко, что стоять можно было только нагнувшись. Они сидели, прижавшись друг к другу, на ложе из сухих листьев.

С того дня они писали друг другу неукоснительно каждый вечер. Эмма относилась свое письмо на край сада, к реке, и прятала его в расселину террасы. Родольф приходил за ним и взамен оставлял другое, которое она всегда находила слишком коротким.

Однажды утром, когда Шарль уехал до зари, ее охватило желание увидеть Родольфа тотчас же. Можно было сходить в Гюшетт, побыть там час и вернуться в Ионвиль, пока все еще спят. При этой мысли у нее захватило дух от нетерпеливого желания, и вскоре уже она быстрыми шагами, не оглядываясь, переходила луг. Светало. Эмма издали завидела дом возлюбленного с двумя флюгерами, черневшими на бледном утреннем небе.

За двором фермы поднимался жилой корпус; это и был, конечно, господский дом. Она вошла, словно стены раздвинулись перед нею сами собою. Широкая прямая лестница вела в коридор. Эмма повернула ручку двери и в глубине комнаты увидела спящего человека. То был Родольф. Она вскрикнула.

— Ты здесь? Здесь? — повторял он. — Как же ты пробралась? А платье на тебе все мокрое!..

— Люблю тебя! — ответила она, охватывая его шею руками.

Так как первая смелая выходка удалась, то всякий раз с того дня, едва Шарль выедет пораньше, Эмма торопливо одевалась и на цыпочках прокрадывалась со ступенек, ведущих к речке.

Но когда мостки для коров были сняты, пришлось пробираться вдоль стен, по скользкому берегу; чтобы не упасть, она цеплялась рукою за пучки увядших желтых цветов. Потом пересекала пашню, где спотыкалась и вязла в своих тонких башмачках. Шелковый платок, повязанный на голове, развевался по ветру середь луга; она боялась быков и пускалась бежать; прибегала, запыхавшись, с розовыми щеками, и от нее всей веяло силою жизни, запахом трав, свежестью вольного воздуха. Родольф в этот час обычно еще спал... Словно весеннее утро входило к нему в комнату.

Желтые занавески на окнах пропускали мягкий золотистый полусвет. Эмма входила ощупью, щурясь; капли росы, повисшие на прядях волос, окружали ее лицо нитью топазов. Родольф, смеясь, привлекал ее на грудь и прижимал к сердцу.

Потом она делала осмотр комнаты, отпирала ящики столов и комодов, причесывалась его гребнем и смотрелась в его маленькое зеркальце для бритья. Часто даже брала в зубы его толстую трубку, лежавшую на столе между лимонов и кусков сахара, рядом с графином воды.

Прощание длилось добрых четверть часа. Эмма плакала; ей хотелось

бы никогда не покидать Родольфа. Нечто сильнее ее самой толкало ее к нему.

Раз, когда она пришла совсем неожиданно, он поморщился, словно раздосадованный.

— Что с тобою? — спросила она. — Тебе нездоровится? Говори!

Наконец он заявил с серьезным видом, что ее посещения он находит слишком неосторожными и что она ставит себя в неловкое положение.

Глава X

Мало-помалу опасения Родольфа сообщились и ей. Любовь опьяняла ее вначале, так что она ни о чем другом не думала. Но теперь, когда она уже не могла жить без этой любви, она боялась утратить из нее хоть что-нибудь, хоть чем-нибудь возмутить ее. Возвращаясь от Родольфа, она бросала кругом беспокойные взгляды, всматриваясь в каждую темную тень на горизонте, в каждое слуховое окно на деревне, откуда ее могли увидеть. Прислушивалась к шагам, крикам, громыханию плугов и останавливалась, помертвевшая и трепещущая, как листья тополей, колыхавшихся над ее головою.

Возвращаясь так домой однажды утром, она вдруг заметила длинный ствол ружья, наведенный, казалось, прямо на нее. Он торчал из бочки, полуприкрытой травой, на краю рва. Эмма, готовая лишиться чувств от страха, шла однако вперед, а из бочки вылез человек, словно игрушечный черт, выскакивающий из коробочки. Гетры на нем были застегнуты до колен, фуражка нахлобучена на глаза, губы его дрожали, а нос был красен. То был капитан Бинэ, подстерегавший диких уток.

— Вы должны были крикнуть издали! — сказал он. — Когда видишь ружье, надобно предупреждать.

Сборщик податей, говоря так, старался скрыть овладевший им страх: указом префекта охота на диких уток разрешалась не иначе как в лодке, и Бинэ, при всем своем уважении к законам, являлся здесь их нарушителем. Ежеминутно мерещилось ему приближение деревенского сторожа. Но тревога раззадоривала его удовольствие; сидя в бочке, он торжествовал успех своей хитрости и лукаво злорадствовал.

При виде Эммы он почувствовал, будто тяжесть свалилась у него с плеч. И, тотчас же вступив в разговор, сказал:

— А не очень-то жарко, — пощипывает!

Эмма не отвечала. Он продолжал:

— А вы раненько вышли из дома?

— Да, — пробормотала она, — я ходила к кормилице, где живет мой ребенок.

— Ах, превосходно! Превосходно! А я — вот как вы меня видите, — чуть свет забрезжил, уж тут, на месте! Только погода такая слякотная, что если бы не...

— До свидания, господин Бинэ, — прервала она, поворачиваясь к нему

спиною.

— Ваш слуга, сударыня, — ответил он сухо. И полез опять в бочку.

Эмма раскаивалась, что так резко прекратила беседу с податным сборщиком. Наверное, эта встреча наведет его на неблагоприятные догадки. Ссылка на кормилицу была наихудшим из предлогов, так как всем в Ионвиле было хорошо известно, что маленькая Бовари уже с год как жила у родителей. К тому же поблизости не жил никто из соседей; этим путем можно было пройти только в Гюшетт; следовательно, Бинэ догадался, откуда она шла, и, уже конечно, не станет молчать, всем разболтает. До самого вечера она не переставала терзаться, придумывая всевозможные лживые показания, и все время торчал у нее перед глазами этот дурак с охотничьей сумкой.

После обеда Шарль, заметив, что она чем-то озабочена, вздумал для развлечения взять ее с собой в гости к аптекарю. Первое лицо, встреченное ею в аптеке, был сборщик. Он стоял перед прилавком, в потоке света, изливаемого красным шаром, и говорил:

— Отпустите мне, пожалуйста, пол-унции купороса.

— Жюстен, — крикнул аптекарь, — принеси серной кислоты. — И предложил Эмме, хотевшей было пройти наверх, к госпоже Гомэ: — Оставайтесь, не стоит подниматься, она сейчас сама сойдет. Погрейтесь покамест у печки... Прошу меня извинить... Здравствуйте, доктор (аптекарь нравилось произносить слово «доктор», как будто блеск этого титула, обращаемого к другому лицу, падал отчасти и на него самого)... Осторожнее, не урони ступок! Сходи-ка лучше за стульями в маленькую приемную; ты знаешь, что кресел из салона трогать нельзя.

И чтобы поставить на место взятое из гостиной кресло, Гомэ бросился из-за конторки; но в эту минуту Бинэ попросил у него пол-унции сахарной кислоты.

— Сахарной кислоты? — переспросил аптекарь с презрением. — Не знаю, таковая мне неизвестна. Быть может, вам угодно щавелевой кислоты? Щавелевой, не правда ли?

Бинэ объяснил, что ему требуется какое-либо едкое вещество, чтоб изготовить состав для чистки меди и вывода ржавчины на охотничьих принадлежностях. Эмма вздрогнула. Аптекарь проговорил:

— В самом деле, погода не благоприятствует вследствие сырости.

— И однако, — подхватил сборщик с лукавым видом, — есть лица, которых это не останавливает.

Эмма задыхалась.

— Дайте-ка мне еще...

«Да он никогда не уйдет!» — подумала она.

— Пол-унции канифоли и скипидара, четыре унции желтого воска и полторы унции сажи для чистки лакированной кожи на охотничьих принадлежностях.

Аптекарь резал воск, когда появилась госпожа Гомэ с маленькою Ирмой на руках; Наполеон шел рядом, а Аталия следовала за матерью. Госпожа Гомэ уселась к окну на бархатную скамейку, мальчик взлез на табурет, между тем как старшая сестра его рыскала около коробки с леденцами, возле своего папочки. Последний наполнял жидкостью воронки, закупоривал пузырьки, наклеивал ярлычки, завертывал пакетики. Вокруг него все молчали; время от времени раздавались только звяканье гирь о чашки весов и несколько слов, тихо произносимых аптекарем в виде наставлений ученику.

— Как поживает ваша девица? — спросила вдруг госпожа Гомэ.

— Тише! — крикнул ее муж, писавший в черновой тетрадке цифры.

— Отчего вы не привели ее с собой? — спросила она вполголоса.

— Тсс!.. — шепнула Эмма, указывая на аптекаря.

Но Бинэ, поглощенный проверкою счета, вероятно, ничего не слышал. Наконец он ушел. Эмма, облегченная, глубоко вздохнула.

— Как тяжело вы дышите! — сказала госпожа Гомэ.

— Жарко, — ответила Эмма.

На другой день влюбленные совещались о правильном устройстве своих свиданий: Эмма думала подкупить прислугу подарком, но лучше было бы найти в Ионвиле какой-нибудь укромный домик. Родольф взялся подыскать.

В течение всей зимы, три или четыре раза в неделю, в темные ночи приходил он в сад. Эмма нарочно вынула из калитки ключ, который Шарль считал потерянным.

Чтоб известить ее о своем приходе, Родольф бросал в ставни горсть песку. Условленный шорох заставлял ее вскакивать; но иногда приходилось выжидать, так как у Шарля была закоренелая привычка болтать о всяком вздоре, греясь у камина, и разговорам его не было конца. Она сгорала нетерпением; если бы ее глаза имели силу, казалось, она вышвырнула бы его своим взглядом за окно. Наконец она принималась за свой ночной туалет, потом брала книгу и спокойно погружалась в чтение, будто не могла от него оторваться. Но Шарль был уже в постели и просил ее ложиться спать.

— Иди же, Эмма, — говорил он, — пора.

— Да. Иду! — отвечала она.

Между тем пламя свечей утомляло его глаза, он поворачивался к стене и засыпал. Она убегала, еле дыша, улыбающаяся, трепещущая, полуодетая.

У Родольфа был широкий плащ; он окутывал ее всю и, охватив рукою за талию, молча увлекал вглубь сада.

Они садились в беседке, на ту самую скамью из полусгнивших толстых сучьев, сидя на которой некогда так влюбленно глядел на нее Леон в летние вечера. Теперь она не вспоминала о нем.

Звезды сверкали сквозь голые ветви жасмина. Позади плескалась речка, и время от времени трещал на берегу сухой камыш. Купы деревьев выступали то здесь, то там из темноты и порою, трепеща снизу доверху, вздымались и падали, словно огромные черные волны, подступавшие, чтобы их поглотить. Ночной холод заставлял их жарче прижиматься друг к другу; вздохи казались глубже, глаза, едва видимые в темноте, больше; слова, в общем безмолвии, произносились шепотом, но падали в душу с кристальною звучностью, отдаваясь в ней бесконечным эхо.

В дождливые ночи они уходили в лекарскую приемную для больных, между сараем и конюшней. Она зажигала свечу в кухонном подсвечнике, спрятанном ею за книгами. Родольф располагался как дома. Вид книжных полок, письменного стола и всей обстановки этого помещения возбуждал в нем веселость: он не мог удержаться, чтобы не отпустить частенько непринужденных шуток, целивших в Шарля и смущавших Эмму. Она хотела бы видеть в нем больше серьезности, а при случае и больше драматизма. Так, однажды послышался ей в аллее звук приближающихся шагов.

— Идут! — сказала она.

Он задул свет.

— С тобой ли пистолеты?

— Зачем?

— Как «зачем»? Чтобы защищаться, — отвечала Эмма.

— От твоего-то мужа? Куда ему, бедняге... — И Родольф кончил фразу жестом, означавшим: «Я раздавлю его одним щелчком».

Она была изумлена его храбростью, но в то же время почувствовала в ней и какую-то наивную душевную грубость, ее оскорбившую.

Родольф долго раздумывал над историей с пистолетами. Если она говорила серьезно, то это смешно, думал он, и даже отвратительно, так как у него нет причин ненавидеть доброго Шарля, не пылая, как говорится, ревностью; по этому случаю Эмма дала ему торжественную клятву, которую он также находил безвкусной.

Она вообще становилась весьма сентиментальной. Они должны были,

по ее желанию, обмениваться миниатюрами, прядями отрезанных волос, а теперь она требовала колец, настоящих обручальных колец, в знак вечного союза. Часто говорила она ему о звоне вечерних колоколов и о голосах природы; расспрашивала о его матери, рассказывала о своей. Родольф лишился матери двадцать лет тому назад. Тем не менее Эмма утешала его в этой утрате слащавыми словечками, словно сиротку-малыша, и даже шептала порой, глядя на луну:

— Я уверена, что там, на небесах, обе наши матери одобряют нашу любовь.

Но она была так красива! Он не часто встречал столь чистую страсть! Эта любовь без разврата была для него чем-то новым, отрывавшим его от привычек безудержной жизни и в то же время льстившим его гордости и его чувственности. Восторженность Эммы, казавшаяся смешной его обывательскому здравому смыслу, в глубине души ему нравилась, так как она относилась к его особе. Мало-помалу, уверенный в ее любви, он перестал стесняться и незаметно изменил свое обхождение с нею. У него уже не было ни тех нежных слов, от которых она плакала, ни тех яростных ласк, что сводили ее с ума; бездонная любовь, в которой она тонула, мелела под ней, как вода реки, всасываемой собственным руслом, и она нащупывала ил. Но она не поверила, удвоила нежность, а Родольф все менее скрывал свое равнодушие.

Она сама не знала, сожалеет ли о том, что отдалась ему, или же, напротив, готова любить его еще сильнее. Унизительное сознание своей слабости переходило у нее в обиду, умеряемую сладострастием. То была уже не привязанность, а какой-то непрерывный соблазн. Он подчинял ее себе. Она почти боялась его.

Тем не менее в их внешних отношениях было больше согласия, чем когда-либо, так как Родольфу удавалось вести связь, как ему того хотелось; и через полгода, при наступлении весны, они оказались друг перед другом в роли супругов, спокойно поддерживающих пламя семейственного очага.

Настала пора года, когда старик Руо обычно присылал индюка в память излечения своей ноги. Подарок всегда доставлялся вместе с сопроводительным письмом. Эмма перерезала веревку, которою оно было привязано к корзине, и прочла следующие строки:

«Милые мои дети!

Надеюсь, что настоящее письмо застанет вас всех в добром здоровье и что индюк и на сей раз не уступит прежним; кажется мне, что он даже помягче и, смею сказать, пожирнее. Но в

следующий раз, для перемены, пришлю вам петуха, если только вы не предпочитаете, однако, курочек, а вы верните мне, пожалуйста, корзинку вместе с двумя прежними.

У меня случилась беда с сараем — крышу с него в непогодную ночь ветром сорвало и снесло на деревья. Урожай тоже не бог знает какой. Словом, не знаю, когда с вами увижусь. Мне так трудно теперь покидать дом, с тех пор как я один, дорогая моя Эммочка!»

Здесь был пропуск, словно добряк положил перо и немного задумался.

«О себе могу сказать, что здоровье недурно, если не считать насморка: схватил его на днях на ярмарке в Ивето. Ездил туда нанимать пастуха, а старого прогнал за чрезмерную разборчивость в пище. Какое мучение с этими разбойниками! К тому же он был и грубиян.

Я слышал от торговца, который был зимою в ваших краях и приходил зубы рвать, что Бовари работает дельно — что меня не удивляет, — и он показывал мне свой зуб; мы с ним пили кофей. Спрашивал его, не видал ли он тебя; он сказал, что нет, а что на конюшне видел двух лошадок, из чего я понял, что дела идут на лад. Ну и слава Богу, милые детки, и да пошлет вам Господь всякого благополучия.

Прискорбно мне, что до сих пор не видел я возлюбленной моей внучки, Берты Бовари. Я посадил для нее в саду под твоим окном сливу и запретил трогать ее, а со временем буду из этих слив варить для нее одной варенье и хранить у себя в шкафу, к ее приезду.

Прощайте, дорогие детки. Целую тебя, дочка, и тебя также, дорогой зять, и крошку — в обе щежки.

Остаюсь с пожеланием всех благ любящий вас отец
Теодор Руо».

Она сидела несколько минут, держа в руках толстую бумагу, через сеть орфографических ошибок следя за нежною мыслью старика, клохчущую из-под них, как курица из-под колючей изгороди. Чернила были осушены золой из камелька, и щепотка серой пыли осыпалась с письма на ее платье: ей мнилось, она видит отца, наклоняющегося к очагу достать щипцы. Как давно не сиживала она возле него, на табурете, перед камином,

подкладывая поленья в пламя вспыхивающих с треском морских тростников!.. Она вспомнила залитые солнцем летние вечера. Жеребята ржали, когда проходили мимо них, и скакали, скакали без усталости. Под ее окном был сотовый улей; пчелы, кружась в солнечном свете, ударялись о стекла и отскакивали, как золотые пули. Какое было счастье в те времена! Какая свобода! Какие надежды! Какой избыток иллюзий! Теперь уже их не осталось. Она растратила их в скитаниях души, через ее последовательные жизни — в девичестве, в замужестве и в любви; она расплачивалась ими непрерывно, как путник, оставляющий часть своего богатства на всех постоялых дворах.

Но кто же виновник ее злополучия? Что случилось, необычайное и внезапное, что перевернуло ее жизнь? Она подняла голову, оглядываясь, словно ища увидеть глазами причину своих страданий.

Апрельский луч играл на фарфорах ее этажерки; в камине горел огонь; она нащупывала под своими туфлями мягкий ковер; день был ясный, воздух — теплый; слышала, как ее девочка заливается веселым хохотом.

Малютка каталась по лужайке, где ворошили скошенное сено; вползала на верх стога; нянька придерживала ее за юбку; Лестибудуа рядом сгребал сено, и каждый раз, как он подходил, она нагибалась к нему, махая ручонками.

— Дайте мне ее! — воскликнула мать, бросаясь расцеловать ребенка. — Как я тебя люблю, моя крошка! Как я тебя люблю!

Заметив, что кончики ушей у девочки запачканы, она поспешно позвонила, чтобы принесли теплой воды, вымыла ее, переменила на ней белье, чулки, башмачки, задала тысячу вопросов о ее здоровье, словно только что вернулась из путешествия, и наконец, поцеловав ее еще раз и поплакав, отдала няньке, стоявшей с раскрытым ртом перед этим приливом нежности. Вечером Родольф нашел ее необычайно сосредоточенной.

«Пройдет, — решил он, — это каприз». — И пропустил кряду три свидания.

Когда он явился, она выказала ему холодность, почти презрение.

«Увы, напрасно трудишься, бедняжка...» Сделал вид, что не замечает ни грустных вздохов, ни носового платка, который она теребила.

Вот когда настала для Эммы пора раскаяться!

Она даже спрашивала себя, за что именно она ненавидит Шарля и не лучше ли было бы, если бы она могла его полюбить. Но он подавал мало поводов к возврату ее нежности; и она была в большом затруднении, как проявить свою решимость самопожертвования, — когда аптекарь неожиданно доставил ей удобный к тому случай.

Недавно господин Гомэ прочел похвальный отзыв о новом методе лечения искривленных ног и, в качестве сторонника прогресса, усвоил себе патристическую мысль, что Ионвиль, дабы не отстать от века, должен иметь специалиста по «стрепоподии».

— Чем же тут рискуешь? — убеждал он Эмму. — Смотрите (он перечислял по пальцам выгодные стороны этой попытки: почти обеспеченный успех, исцеление и украшение больного, для оператора — быстро приобретаемая известность). Почему бы, например, вашему супругу не вылечить беднягу Ипполита из «Золотого Льва»? Заметьте, что он не преминул бы рассказать о своем выздоровлении каждому заезжему в гостинице, и затем (Гомэ понизил голос и оглянулся) почему бы мне не послать об этом заметку в газету? А там — боже мой, статья распространяется... о ней говорят... молва превращается в снежный ком! А потом — как знать, что будет?

«В самом деле, — думала Эмма, — Бовари мог преуспеть; ничто не свидетельствовало о его неспособности к хирургии». А какое удовлетворение для нее — вдохновить его к попытке, которая поднимет его известность и увеличит его состояние! Она только и стремилась опереться на что-либо прочное, чем любовь.

Шарль, удручаемый приставаниями жены и аптекаря, наконец сдался на их доводы. Он выписал себе из Руана книгу доктора Дюваля и по вечерам, облокотясь на обе руки, погружался в чтение.

Пока Шарль изучал «лошадиную ногу», varus и valgus, иначе говоря — стрепокатоподию, стрепианоподию и стрепексоподию (проще — различные искривления ноги: вниз, внутрь и наружу) вместе со стрепипоподией и стрепнаноподией (то есть случаями выверта ноги вниз и поднятия ее кверху), Гомэ всячески уговаривал трактирного служителя решиться и подвергнуть себя операции.

— Ведь ты едва ощутишь самую легкую боль, это простой укол, как при кровопускании; болезненнее иной раз извлечение мозоли.

Ипполит в раздумье глупо таращил глаза.

— Впрочем, — продолжал аптекарь, — меня это мало касается! Ведь я для тебя же стараюсь! Из чистого человеколюбия. Я желал бы, мой друг, видеть тебя избавленным от твоей отвратительной хромоты, с покачиванием таза и брюшной полости, которое, хоть ты и отрицаешь это, должно сильно вредить тебе при исполнении твоих обязанностей.

И Гомэ рисовал ему, насколько он почувствует себя после того молодцеватее и расторопнее; намекал даже, что он будет больше нравиться женщинам; конюх начинал тупо улыбаться. А аптекарь дразнил в нем

тщеславие:

— Разве ты не мужчина, черт возьми? А что если бы тебе нужно было отбывать военную службу, сражаться под знаменами?.. Ах, Ипполит! — И Гомэ уходил, заявляя, что не понимает его упрямства, этой слепоты, доводящей людей до того, что они отказываются от благодеяний науки.

Наконец бедняк уступил, так как все это походило уже на заговор. Бинэ, не любивший мешаться в чужие дела, госпожа Лефрансуа, Артемиза, все соседи, кончая самым мэром — господином Тювашем, — все убеждали его, читали ему проповеди, стыдили; но окончательно побудило его решиться обещание, что операция ничего не будет ему стоить. Бовари брался доставить даже необходимый для правки костей снаряд. Эта великодушная мысль зародилась в голове Эммы; Шарль согласился, говоря себе в душе, что жена его ангел.

Следуя указаниям аптекаря и дважды требуя переделки, он заказал столяру и слесарю особого вида ящик весом около восьми фунтов, на изготовление которого не пожалели железа, дерева, жести, кожи, винтов и гаек.

Но чтобы узнать, какое сухожилие предстояло перерезать у Ипполита, надлежало сначала определить род данного искривления.

Ступня вместе с остальной ногою представляла у пациента почти прямую линию, что не мешало ей быть обращенной внутрь; итак, это был случай «лошадиной ноги», осложненный легким *vagus*, или же форма *vagus* с ясным уклоном в сторону «лошадиной ноги». Но, несмотря на эту вывернутую ногу, широкую действительно как лошадиная нога, с грубою кожей, с сухими жилами, с толстыми пальцами, на которых черные ногти казались гвоздями подковы, стрефопод скакал с утра до ночи легче лося. Ежеминутно можно было видеть на площади, как хромец прыгает вокруг телег, выбрасывая вперед свою природную ходулю. Казалось, он ощущал ее даже более прочной, нежели другую свою опору. Служа ему так долго, она как будто приобрела и некоторые моральные качества — терпение и энергию; и когда конюху поручали тяжелую работу, он предпочитал упираться изуродованною ногой.

Ввиду того что это был случай «лошадиной ноги», приходилось перерезать сначала ахиллово сухожилие и только потом приниматься за передний берцовый мускул, от рассечения которого собственно зависело устранение *vagus*'а, ибо лекарь не брал на себя риска двух операций сразу; и без того дрожал он заранее, боясь задеть какую-либо неведомую ему важную область.

Ни у Амбруаза Парэ, применившего впервые, через пятнадцать веков

после Цельсия, перевязку артерии; ни у Дюпюитрэна, предпринимавшего разрез нарыва сквозь толстый слой мозга; ни у Жансуля, когда он делал первый опыт удаления верхней челюсти, — ни у кого из них, разумеется, не билось так сердце, не дрожала так рука, не был так напряжен мозг, как у Бовари, когда он подошел к Ипполиту с тенотомом в руке. Словно в больнице, стол был загроможден кучами корпии, вощенных ниток, бинтов, целыми пирамидами бинтов — всем, что нашлось у аптекаря по части бинтов. С утра все приготовления были выполнены самим Гомэ отчасти с тем, чтобы ослепить публику, отчасти, чтобы создать иллюзию самому себе. Шарль произвел прокол кожи. Послышался сухой треск. Сухожилие было перерезано, операция кончена. Ипполит не мог надивиться и нагнулся к Бовари, покрывая поцелуями его руки.

— Ну успокойся, — говорил аптекарь, — ты впоследствии засвидетельствуешь благодарность твоему благодетелю! — И он сбегал вниз сообщить о результате операции пяти или шести любопытным, стоявшим на дворе и ждавшим, что Ипполит выйдет тотчас с выпрямленной ногой.

Затем Шарль, заключив ногу больного в механический двигатель, вернулся домой, где Эмма в тоскливой тревоге ждала его у порога. Она бросилась к нему на шею; сели за стол; он ел много и захотел даже выпить за десертом чашку кофе — кутеж, который он разрешал себе только по воскресеньям, когда бывали гости.

Вечер прошел восхитительно, в живой беседе и мечтаниях. Супруги говорили о будущем богатстве, об улучшениях в домашнем хозяйстве; Шарль уже видел в мыслях, как распространяется его слава, как растет его благосостояние, а жена продолжает любить его по-прежнему. Эмма же была счастлива освежиться новым, более здоровым и добрым чувством; ей было радостно испытывать даже некоторую нежность к этому бедняге, ее обожавшему. Мысль о Родольфе мелькнула в ее голове, но глаза ее устремились на Шарля; с удивлением открыла она, что у него недурные зубы.

Они были уже в постели, когда Гомэ, отстранив кухарку, вдруг вошел в спальню с только что исписанным листом бумаги в руках. То была реклама, предназначавшаяся к помещению в «Руанском Маяке». Он принес ее прочесть.

— Прочтите сами, — сказал Бовари.

Аптекарь стал читать:

— «Несмотря на густую сеть предрассудков, покрывающую многие части Европы, свет начинает, однако, проникать и в наши деревни. Так, во

вторник наш захолустный городок Ионвиль послужил ареною для хирургического опыта, являющегося в то же время и актом высшей филантропии. Господин Бовари, один из известнейших деятелей практической медицины в нашем округе...»

— Ах, это слишком! Это слишком! — твердил Шарль, задыхаясь от волнения.

— Да нет же, вовсе нет! Как же иначе!., «произвел опыт выпрямления кривой ноги»... Я не употребил здесь научного термина; знаете, в газете... не все, по всей вероятности, поймут, а тут надо, чтобы массы...

— Правильно, — сказал Бовари. — Продолжайте.

— Я продолжаю, — сказал аптекарь. — «Господин Бовари, один из известнейших деятелей практической медицины в нашем округе, произвел опыт выпрямления кривой ноги над неким Ипполитом Тотэном, конюхом, прослужившим двадцать пять лет в гостинице „Золотой Лев“, содержимой вдовою Лефрансуа, на Оружейной площади. Новизна попытки и вызванный ею интерес привлекли такое стечение народа, что у дверей здания произошла настоящая давка. Операция была выполнена как по волшебству; едва несколько капель крови показалось на поверхности кожи, словно в подтверждение того, что непокорное сухожилие уступило наконец усилиям искусства. Больной — как это ни странно (мы утверждаем это *de visu*) — не обнаружил ни малейшей боли. Состояние его до сих пор не оставляет желать ничего лучшего. Все дает основание предполагать, что выздоровление пойдет быстро; и кто знает, быть может, на ближайшем сельском празднестве мы увидим уже нашего славного Ипполита участвующим в вакхических танцах, в хоре веселых товарищей, и своими резвыми прыжками доказывающим свое полное исцеление. Итак, честь и слава великодушным ученым! Честь и слава неутомимым умам, отдающим свои бессонные ночи на изыскание средств для усовершенствования человеческого рода и облегчения страждущих ближних! Трижды честь им и слава! Не уместно ли воскликнуть здесь, что слепые прозревают и хромы ходят! То, что религиозный фанатизм обещал некогда своим избранникам, наука делает ныне достоянием всех людей! Мы сообщим читателям о последовательных стадиях этого замечательного лечения».

Несмотря на все это, ровно пять дней спустя тетка Лефрансуа прибежала в ужасе, с криком:

— Помогите! Он помирает!.. Не знаю, что поделать!

Шарль бросился к «Золотому Льву»; аптекарь, видя его на площади без шапки, покинул свою аптеку. Он прибежал, весь красный, запыхавшийся, перепуганный, спрашивая всех, кто поднимался по

лестнице:

— Что же такое случилось с нашим интересным стрефоподом?

А стрефопод корчился в страшных судорогах, так что механический аппарат, в который была вставлена его нога, стучал о стену, как таран.

Со всевозможными предосторожностями, чтобы не потревожить положения больного члена, сняли коробку и увидели страшное зрелище. Очертания ноги исчезли под огромной опухолью; она раздулась так, что кожа на ней, казалось, готова была лопнуть и вся покрылась кровоподтеками — следами действия знаменитой машины. Ипполит уже раньше жаловался на боль, ею причиняемую, но на это не обратили внимания; приходилось признать, что он был отчасти прав, и на несколько часов его оставили в покое. Но едва отек слегка опал, как оба ученые сочли своевременным вставить ногу снова в аппарат и для ускорения дела сжать ее еще сильнее. Наконец три дня спустя, когда Ипполит уже не в силах был более терпеть, они еще раз удалили механизм и были чрезвычайно изумлены достигнутым результатом. Опухлость и омертвление распространились по всей ноге вместе с подкожными пузырями, из которых сочилась черная жидкость. Дело принимало нешуточный оборот. Ипполит затосковал, и старуха Лефрансуа устроила его в маленькой столовой, возле кухни, чтобы он по крайней мере имел некоторое развлечение.

Но сборщик податей, обедавший там ежедневно, стал горько жаловаться на это соседство. Тогда Ипполита перенесли в билльярдную.

Там лежал он и стонал под толстыми одеялами — бледный, обросший бородою, с ввалившимися глазами, время от времени поворачивая голову, всю в поту, на грязной, покрытой мухами подушке. Госпожа Бовари навещала его. Приносила ему тряпки для припарок, утешала и ободряла его. Впрочем, у него не было недостатка в обществе, особенно в базарные дни, когда крестьяне вокруг него играли на билльярде, фехтовали киями, курили, пили, кричали, горланили песни.

— Как поживаешь? — спрашивали они, похлопывая его по плечу. — Эх, с виду-то неважен! Сам виноват. Надо было сделать то-то и то-то!

И ему рассказывали, как люди выздоравливали от совсем других средств, нежели те, коими его пользовали, и, в виде утешения, прибавляли:

— Ты уж больно примечаешь, где что болит. Вставай-ка лучше. Разнежился, ровно король! Ах ты, старый шут!.. Да от тебя, брат, неважно пахнет!

Заражение крови действительно распространялось выше и выше. Бовари сам был совсем болен. Он прибегал ежечасно, ежеминутно.

Ипполит смотрел на него полными ужаса глазами и, рыдая, бормотал:

— Когда же я поправлюсь?.. Окажите божескую милость!.. Вот так беда пришла! Вот так беда.

И лекарь уходил, всякий раз предписывая больному диету.

— Не слушай его, парень, — говорила тетка Лефрансуа, — довольно они тебя мучили! Еще хуже ослабнешь. На, ешь! — И приносила ему супу пожирнее, ломтик жареной баранины, сала кусочек, а иногда и небольшой стаканчик водки, который, впрочем, у него не хватало храбрости поднести к губам.

Аббат Бурнизыен, прослышав об ухудшении в состоянии больного, просил, чтобы его допустили с ним увидеться. Начал он с того, что пожалел о его болезни, заявив в то же время, что надобно сему радоваться, ибо такова воля Господня, но и неотложно воспользоваться этим случаем для примирения с Небом.

— Ведь ты, — говорил священник отеческим тоном, — пренебрегал-таки своими обязанностями. Часто ли тебя видели на церковных службах? Сколько лет уже не был ты у причастия? Я понимаю, что работа и сутолока жизни могли отвлечь тебя от забот о душе. Но теперь время подумать о спасении. Не отчаивайся, однако; я знал великих грешников, которые, готовясь предстать пред Господом (твой час еще не скоро придет, я это знаю), молили Его о милосердии и умирали с упованием на Бога. Будем надеяться, что и ты, подобно им, послужишь нам добрым примером. А из предосторожности все бы лучше утром и вечером читать «Богородице Дево, Радуйся» и «Отче наш»! Делай это, умоляю тебя! Ради меня делай! Меня лично этим обяжешь. Ну что тебе стоит?.. Обещаешь ли?

Бедняга обещал. Священник заходил несколько дней подряд, беседовал, кстати, с трактирщицей и даже рассказывал анекдоты, пересыпанные шутками и каламбурами, непонятными Ипполиту. Потом, как только позволяли обстоятельства, снова переходил к вопросам религии, принимая соответствующий вид.

Рвение его, по-видимому, увенчивалось успехом: стрефопод выразил желание сходить, если выздоровеет, на богомолье к Богоматери Скорой Помощи, на что Бурнизыен ответил, что не видит к тому никаких препятствий, лишняя предосторожность никогда не мешает: «Ты ничем не рискуешь».

Аптекарь негодовал на то, что он называл «поповскими происками»; они задерживали, по его уверению, выздоровление Ипполита. Он твердил госпоже Лефрансуа:

— Оставьте его! Оставьте! Вы понижаете его моральную энергию

вашим мистицизмом!

Но добрая женщина не хотела слушать. От аптекаря все и пошло. Из духа противоречия она повесила даже над изголовьем больного полную кропильницу с буксовой веткой.

Между тем как хирургия, так и религия казались равно бесполезными: непобедимая гангрена поднималась все выше, от конечности к животу. Сколько ни разнообразили лекарств, сколько ни меняли припарок, мускулы с каждым днем слабели и отказывались служить, пока наконец Шарль не кивнул утвердительно головой, когда старуха Лефрансуа спросила, нельзя ли ей, ввиду отчаянного положения Ипполита, пригласить из Невшателя господина Канивэ, слывшего знаменитостью.

Доктор медицины, пятидесяти лет от роду, с положением, уверенный в себе, — этот коллега не постеснялся презрительно рассмеяться, когда открыл ногу, охваченную до колена гангреной. Объявив тотчас же начисто, что ее следует ампутировать, он пошел к аптекарю ругать тех ослов, которые могли довести несчастного человека до такого состояния. Тряся Гомэ за пуговицу сюртука, он ревел в аптеке:

— Вот вам парижские выдумки! Вот вам новейшие идеи столичных господ изобретателей! Все эти новшества, как лечение косоглазых, хлороформирование, дробление камня, — целая куча чудовищных безобразий, которые правительство должно было бы запретить! Хотят быть всех умнее и пичкают вас лекарствами, не заботясь о последствиях. Мы простые люди, не ученые, не гении, не великодушные мечтатели; мы люди дела, наше дело — лечить, и нам не придет в голову оперировать здорового человека. Скажите пожалуйста: выпрямлять кривые ноги! Да разве можно выпрямить кривую ногу? Ведь это все равно что выпрямить спину горбатого.

Гомэ страдал, слушая эти речи, но скрывал свое неудовольствие под любезною улыбкою, — нужно было ухаживать за Канивэ, чьи рецепты доходили иногда и до Ионвиля; поэтому он не взял на себя защиту Бовари, не позволил себе даже ни одного замечания, поступился принципами и пожертвовал своим достоинством более насущному интересу — коммерции.

Достопамятным событием в жизни местечка была эта ампутация ноги, произведенная доктором Канивэ! Все обыватели в тот день поднялись спозаранку; большая улица, запруженная народом, приняла какой-то зловещий вид, словно ждали смертной казни. У мелочного торговца толковали о болезни Ипполита. Лавки не торговали, а госпожа Тюваш, жена мэра, не отходила от окна, ожидая с нетерпением приезда оператора.

Он приехал в собственном кабриолете, которым сам правил. Оттого что правая рессора осела под тяжестью его тела, экипаж несколько накренился на ходу. Рядом с ним на сиденье стоял большой ящик, покрытый красным сафьяном, с тремя ярко блестящими медными застежками.

Влетев как вихрь в ворота «Золотого Льва», он громко крикнул, приказывая отпрячь лошадей; потом сам пошел на конюшню посмотреть, ест ли она овес; приезжая к больному, он всегда прежде всего занимался своей кобылой и своим экипажем. По этому поводу даже говорили: «Ах, Канивэ — чудак!» И еще больше уважали его за эту непоколебимую самоуверенность. Скорее вымерла бы вся вселенная до последнего человека, чем доктор изменил бы малейшей из своих привычек.

Явился Гомэ.

— Я на вас рассчитываю, — сказал доктор. — Все готово? Итак, в поход!

Но аптекарь, краснея, заявил, что он слишком впечатлителен и, пожалуй, не вынесет присутствия при операции.

— Когда присутствуешь в качестве простого зрителя, — говорил он, — то воображение, знаете ли, особенно разыгрывается! К тому же у меня нервная система так...

— Ба! — прервал Канивэ. — Вы мне кажетесь скорее склонным к апоплексии. Впрочем, меня это не удивляет; вы, аптекари, проводите всю жизнь по уши сидя в вашей стряпне, и в итоге это должно влиять на ваш темперамент. Взгляните-ка на меня: встаю ежедневно в четыре часа, бреюсь холодной водой (и никогда не зябну), не ношу фуфайки, не знаю насморка, машина работает исправно! Ем то и се — что под руку попадет, — живу как философ, по воле случая. Вот почему я не так изнежен, как вы, и мне совершенно безразлично, резать ли живого христианина или первую попавшуюся дичь. После этого говорить о привычке!.. Привычка!..

Не обращая внимания на Ипполита, которого прошибал пот под одеялом, собеседники разговорились; аптекарь сравнивал хладнокровие хирурга с хладнокровием полководца; это сравнение льстило Канивэ: он распространялся без конца о требованиях своего искусства. Для него оно было святыней, слишком часто попираемой его собратьями по ремеслу. Наконец он обратился к больному, осмотрел бинты, принесенные Гомэ, те самые, что появились уже перед первой операцией, и попросил, чтобы кто-нибудь подержал больному ногу. Послали за Лестибудуа, а Канивэ, засучив рукава, прошел в бильярдную. Аптекарь остался с Артемизой и

трактирщицей — обе были белее своих фартуков и поминутно прикладывали ухо к двери.

Бовари между тем не смел выйти из дома. Он сидел внизу, в столовой, перед холодным камином, опустив голову на грудь, сложив руки, с остановившимся взглядом. «Какая неудача! — думал он. — Какое несчастье!» А между тем ведь он принял все мыслимые меры предосторожности! Тут вмешался рок. Тем не менее если Ипполит умрет, он будет его убийцей. И какие доводы мог бы он представить в свое оправдание, как ему отвечать на расспросы пациентов? Быть может, однако, он допустил в самом деле какую-нибудь ошибку? Старался припомнить и не находил. Но ведь ошибались и самые знаменитые хирурги. Только этому, разумеется, никто не поверит! Напротив, на смех подымут, лаять станут! Пойдут пересуды до Форжа, до Невшателя, до Руана — повсюду! Как знать, быть может, и коллеги против него выступят. Неизбежна полемика; придется оправдываться в газетах. Ипполит сам может затеять тяжбу. Шарлю представлялось, что он уже опозорен, разорился, погиб. И его фантазия, осаждаемая бесконечными предположениями, колебалась среди них, как кувыркается в волнах пустая бочка, уносимая течением к морю.

Эмма, сидя напротив, смотрела на него; она не разделяла его унижения, она была унижена сама: как могла она вообразить, что этот человек на что-нибудь годен, как будто двадцать раз не убеждалась с полною ясностью в его ничтожестве!

Шарль ходил взад и вперед. Его сапоги скрипели по паркету.

— Сядь же, — сказала она ему, — ты мне надоел.

Он сел.

Как могла она (с ее умом!) ошибиться так еще раз? И что это за роковое безумие — губить свою жизнь непрерывными жертвами? Она припомнила свои порывы к роскоши, отречения, на которые была обречена ее душа, все унижения своего замужества и семейной жизни, все свои мечты, упавшие в грязь, как подбитые ласточки, — все, чего она желала, к чему стремилась, в чем себе отказывала, все, что могла бы иметь. И ради чего? Ради чего?

Среди мертвой тишины, стоявшей на улицах, воздух прорезал раздирающий крик. Бовари побледнел, готовый лишиться чувств. Она нахмурила брови нервным движением, потом вернулась к своему раздумью. Ради него, ради этого человека, не способного ничего ни понимать, ни чувствовать: вот он сидит спокойно, и ему даже в голову не приходит, что позор его имени ляжет теперь и на нее! И она всячески усиливалась полюбить его; она со слезами раскаивалась, что отдалась

другому.

— Но ведь это мог быть *valgus*? — воскликнул внезапно Бовари, погруженный в свои размышления.

От неожиданного толчка этой фразы, упавшей в круг ее мыслей, словно свинцовая пуля на серебряное блюдо, Эмма вздрогнула, подняв голову и стараясь угадать, что именно он хотел сказать; и оба глядели друг на друга молча, почти с изумлением, — до такой степени в сознании своем они были удалены друг от друга. Шарль обводил ее мутным взглядом, как пьяный, прислушиваясь к последним долетавшим до него воплям истязуемого, который то голосил протяжно-переливчато, не своим голосом, то разражался дикими вскриками: можно было подумать, что где-то режут скотину. Эмма кусала помертвевшие губы и, вертя в пальцах сломанный ею побег полипника, вперяла в Шарля горящие зрачки, похожие на две огненные стрелы, нацеленные и готовые слететь. Все в нем раздражало ее теперь — его лицо, его одежда, его произнесенные слова, все его явление, все существо его. Она каялась, как в преступлении, в своей былой добродетели, и что еще оставалось от прежней привычки — рушилось под яростными ударами ее гордости. Она наслаждалась злою иронией торжествующего обмана. Воспоминание о любовнике возвращалось к ней с головокружительным соблазном привлекательности; она отдавала ему свою душу и находила в мысли об этой беззаветной отдаче какой-то еще неиспытанный восторг; муж казался ей бесповоротно отрезанным от ее жизни, безвозвратно от нее ушедшим, столь же немислимым и несуществующим для нее отныне, как если бы он умирал на ее глазах в последних судорогах.

Послышался стук шагов по тротуару. Шарль взглянул в окно и сквозь спущенную занавеску увидел доктора Канивэ: он шел перед зданием рынка под ярким солнцем и отирал себе лоб шелковым платком. Гомэ, позади, нес за ним большую красную коробку; оба направлялись к аптеке.

Тут в порыве нежности и отчаяния Шарль обернулся к жене и сказал:

— Поцелуй меня, моя радость!

— Оставь меня! — произнесла она, краснея от гнева.

— Что с тобой? Что с тобой? — твердил он изумленно. — Успокойся! Опомнись. Ты же ведь знаешь, что я тебя люблю!.. Подойди ко мне!..

— Довольно! — крикнула она неистово. И, выбежав из комнаты, с такою силой хлопнула дверь, что барометр соскочил со стены и разбился об пол.

Шарль бессильно опустился в кресло, потрясенный, спрашивая себя, что могло с ней случиться; представлял себе серьезное нервное

расстройство, плакал и смутно предчувствовал что-то надвинувшееся на него, злое и непонятное.

Когда вечером Родольф пришел в сад, любовница ждала его на крыльце, на первой ступеньке. Они бросились друг другу в объятия, и вся их досада растаяла как снег в огне этого поцелуя.

Глава XI

Любовь их вспыхнула с новою силою. Часто посреди дня Эмме не терпелось: ей необходимо было написать ему несколько слов немедленно; она через окно давала знак Жюстену, тот проворно скидывал фартук и летел в Гюшетт. Родольф приезжал; неотложное дело заключалось в жалобах, что она тоскует, что муж ей отвратителен, что жизнь ее ужасна.

— Что же я могу с этим сделать? — воскликнул он однажды с нетерпением.

— Ах, если бы ты только захотел!..

Она сидела на земле, у его колен, с рассыпавшимися волосами и блуждающим взглядом.

— А именно? — спросил Родольф.

Она вздохнула:

— Мы уехали бы с тобою навсегда отсюда... куда-нибудь...

— Ты, право, безумная, — сказал он смеясь. — Да разве это возможно?

Она настаивала; он притворился непонимающим и перевел разговор на другие предметы.

Всего менее понимал он, из-за чего волноваться в таком простом деле, как любовь.

Для нее же привязанность к Родольфу приобретала особенный смысл; была причина, в которой это чувство находило постоянно новую пищу. Любовь ее росла с каждым днем, потому что росло ее отвращение к мужу. Чем беззаветнее отдавалась она одному из двух мужчин, тем большим презрением казнила другого; никогда еще Шарль не казался ей таким противным, его пальцы такими обрубками, столь неповоротливым его ум, столь вульгарными манеры, как после свиданий с Родольфом, когда супруги оказывались наедине. Тогда, разыгрывая роль верной жены, она загоралась страстью при воспоминании об этой черноволосой голове с курчавою прядью, падающей на загорелый лоб, об этом крепком и стройном теле, об этом человеке с таким опытным, холодным умом и таким пылом страстных порывов. Для него оттачивала она ногти, словно золотых дел мастер свой металл, изводила столько кольдкрема на притирания, выливала столько пачулей на свои носовые платки. Она нацепляла на себя браслеты, кольца, колье. К его приходу ставила букеты роз в две высокие вазы синего стекла и убирала свою комнату и самое себя, словно

куртизанка, ожидающая принца. Стирке конца не было, и по целым дням Фелисите не выходила из кухни, где подолгу засиживался юный Жюстен, глядя, как она работает.

Облокотясь на длинную гладильную доску, он жадно разглядывал подробности женского белья, разложенного вокруг: канифасовые юбки, косынки, воротнички, панталоны со сборками, широкие на бедрах, узкие внизу.

— На что это? — спрашивал молодой человек, дотрагиваясь до кринолина или застёжек.

— Неужто не видал ничего? — смеялась Фелисите. — А у твоей хозяйки, госпожи Гомэ, нет, что ли, юбок?

— У госпожи Гомэ? Да, как же! — И прибавлял задумчиво: — Разве она в самом деле дама, как твоя барыня?

Фелисите, однако, начинала досадовать, что он так увивается около нее. Она была старше его шестью годами, и за нею приволакивался Теодор, лакей Гильомена.

— Что ты ко мне пристал? — говорила она, переставляя горшок с крахмалом. — Ступай-ка толочь миндаль! Что все на женщин-то заришься? Подождал бы, пострел, соваться, пока хоть борода вырастет.

— Ну не сердитесь, я пойду вычищу вам ее ботинки.

Доставал с полки над очагом обувь Эммы, облепленную грязью, налипшею в часы свиданий; грязь обсыпалась под его пальцами, а он глядел, как поднятая пыль тихо кружилась в солнечном луче.

— Вишь, попортить боится! — говорила кухарка, не любившая излишних предосторожностей при чистке башмаков, так как барыня отдавала их ей, едва только материя на них утрачивала первоначальную свежесть.

У Эммы в шкафу хранился целый склад обуви, которым она свободно пользовалась по мере надобности; по поводу расходов жены Шарль не позволял себе ни малейшего замечания.

Так он выложил из своего кармана триста франков на приобретение деревянной ноги, которую она сочла приличным подарить Ипполиту. Нога была обтянута пробкой и сгибалась на пружинах; сложный механизм был одет черной штаниной, из-под которой красовался лакированный сапог. Но Ипполит, не осмеливаясь ходить ежедневно на такой нарядной ноге, умолил госпожу Бовари снабдить его другою, более сподручною. Лекарь, разумеется, уплатил и за ту издержку.

Итак, конюх мало-помалу вернулся к своим обязанностям и, как в былые времена, к шатанью по деревне; услышав издали по мостовой

сухой стук его деревяшки, Шарль спешил свернуть на другую дорогу.

Заказ был выполнен при посредстве торговца Лере; это доставило ему случай не раз видаться с Эммой. Он болтал с нею о последних присылках из Парижа, о всевозможных новых выдумках для дамского спроса, был крайне сговорчив и никогда не требовал денег. Эмма поддавалась соблазну столь легкого удовлетворения своих прихотей. Так, ей захотелось приобрести для подарка Родольфу великолепный хлыст, облюбованный ею в магазине зонтиков в Руане. Через неделю Лере принес его и положил перед нею на стол.

Но на другой день он явился, чтобы представить счет на двести семьдесят франков, не считая сантимов. Эмма оказалась в большом затруднении — все ящики письменного стола были пусты: Лестибудуа ждал жалованья вот уже две недели, а прислуга — целых шесть месяцев; много других мелких долгов требовали скорого покрытия. Бовари с нетерпением выжидал полочки от господина Дерозерэ, имевшего обыкновение расплачиваться с ним к Петрову дню.

Сначала ей удавалось кое-как выпроваживать Лере; наконец он потерял терпение: с него требовали платежей; его капитал был в обороте, и если он не получит хоть части долга, то принужден будет взять назад весь забранный товар.

— Ну что же, берите! — сказала Эмма.

— Что вы! Это я в шутку, — возразил он. — Мне бы вот только хлыстик вернуть!.. Уж, быть не быть, попрошу его у господина Бовари.

— Нет, нет, ни за что! — воскликнул она.

«Ага! Выдала себя!» — подумал Лере. И, уверенный в своем открытии, вышел, повторяя вполголоса с своим обычным легким присвистыванием: — Ладно, ладно! Там уж увидим.

Она раздумывала, как бы ей выпутаться, когда вошла кухарка и положила на камин большой сверток в синей бумаге, с надписью: «От господина Дерозерэ»... Эмма бросилась к нему, вскрыла пакет. В нем было пятнадцать наполеондоров. То была уплата по счету за врачебные визиты. На лестнице послышались шаги Шарля, она бросила золотые монеты в ящик, повернула в замке и вынула ключ.

Через три дня снова появился Лере.

— Я хочу предложить вам сделку, — сказал он. — Если бы вы согласились, взамен уплаты договоренной суммы...

— Вот она, — произнесла Эмма, высыпая ему на ладонь четырнадцать червонцев.

Хитрец был сбит с толку. Чтобы скрыть досаду, он рассыпался в

извинениях и в предложениях услуг, от которых Эмма наотрез отказалась. Так стояла она еще несколько минут, ощупывая в кармане своего передника две большие серебряные монеты по сто су, полученные в сдачу. Она давала себе слово быть бережливой, чтобы вернуть деньги впоследствии...

«Ба! — рассудила она, — он скоро об этом и думать забудет».

Кроме хлыста с вызолоченным набалдашником Родольф имел от Эммы и другие вещи, подаренные на память, — печатку с надписью: *Amor nel cor*, шейный шарф и, наконец, портсигар, точь-в-точь такой, как портсигар виконта, что был найден некогда Шарлем на дороге и хранился у Эммы. Но принимать от нее подарки ему казалось унижением. Он отказывался; она настаивала, и Родольф уступал, находя ее в то же время деспотической и назойливой.

Иногда являлись у нее странные фантазии.

— Когда часы будут бить полночь, — говорила она, — думай обо мне!

И если он признавался, что запамятовал, она была неистощима в упреках, кончавшихся неизменным вопросом: «Ты меня любишь?..»

— Да, люблю, люблю, — отвечал он.

— Очень?

— Конечно!

— Ты до меня не любил других женщин?

— Не думаешь ли ты, что с тобой я потерял свою девственность? — восклицал он смеясь.

Эмма плакала; он старался ее утешить, смягчая шутками тон прорывающейся досады.

— О, ведь это потому, что я тебя люблю! — начинала она сызнова. — Люблю так, что не могу без тебя жить, пойми это! Иногда мне бывает так нужно, так нужно видеть тебя: сердце мое разрывается от муки гнева, на который способна только любовь. Я говорю себе: «Где он? Быть может, он разговаривает с другими женщинами? Они улыбаются ему, он к ним подходит...» О нет, не правда ли, ведь тебе ни одна не нравится? Есть другие красивее меня, зато я лучше умею любить! Я твоя раба, твоя наложница! Ты мой царь, мой кумир! Ты добр! Ты прекрасен! Ты умный! Ты сильный!

Он столько раз в жизни слышал то же самое, что уже не находил в этих речах ничего неожиданного, ничего своеобразного. Эмма походила на всех любовниц; очарование новизны, спадая, как причудливая одежда, обнажало вечное однообразие страсти, у которой всегда одни и те же проявления, один и тот же язык. Он не различал, этот человек с практическим складом ума, глубокого несходства чувств под внешнею одинаковостью их

выражения. Так как уста развратные и продажные не раз шептали ему привычные слова, он не верил их правде. Приходилось учитывать слишком много преувеличений, пошлых прикрас заурядного чувства. Так привык он думать, — как будто полнота души не выливается иногда в самых пустых метафорах; ибо никто никогда не может дать точной меры своих потребностей, ни своих понятий, ни горестей, а слово человеческое похоже на надтреснутый котел, по которому мы отбиваем такт медвежьей пляски, в то время как сердце хотело бы допрыгнуть до звезд.

Но критический взгляд свысока, свойственный человеку, привыкшему во всех житейских отношениях осторожно оберегать свою независимость, открыл в этой любви источник других подлежащих использованию наслаждений. Родольф счел неуместною какую бы то ни было стыдливость. Он стал обращаться с Эммой без всяких стеснений. Он превратил ее в послушное орудие чувственной похоти. Ее любовь перешла в тупую безотчетную преданность, в восторженное поклонение перед тем, кто погружал ее в это море сладострастия, в это блаженство, где она цепенела; ее душа тонула к этом опьянении, как герцог Кларанский в своей бочке с мальвазией.

Следствием приобретенных госпожою Бовари любовных навыков была перемена в ее повадках. Взоры ее стали смелее, речи непринужденнее; она дошла даже до такого неприличия, что прогуливалась в сопровождении Родольфа с папироской в зубах, как будто издевалась над общественным мнением; наконец и те, что еще сомневались, перестали сомневаться, увидев ее однажды — она выходила из дилижанса — туго затянутою в жилет мужского покроя.

Госпожа Бовари-мать, приехавшая искать у сына убежища после ужасающей сцены с своим супругом, была возмущена этою выходкой едва ли не глубже, нежели местные дамы. И другое многое было ей не по сердцу: во-первых, Шарль не последовал ее совету и не запретил жене читать романы; во-вторых, ей не нравились тон и порядки дома; она позволила себе несколько замечаний, на это рассердились, особенно раз — по поводу Фелисите.

Госпожа Бовари-мать накануне вечером, проходя по коридору, застигла девушку в обществе мужчины лет сорока, с темными бакенами, который, заслышав ее шаги, быстро убежал из кухни. Выслушав донос, Эмма расхохоталась; тогда почтенная дама вспыхнула гневом и заявила, что только лица, позволяющие себе насмехаться над добрыми нравами, не считают своею обязанностью следить за тем, как ведет себя их прислуга.

— Что это за тон? В каком обществе вы живете? — сказала невестка с

таким дерзким взглядом, что старуха Бовари осведомилась, не попала ли она ей невзначай не в бровь, а в глаз. — Выйдите вон! — произнесла молодая женщина, вскочив с места.

— Эмма!.. Мамаша!.. — восклицал Шарль, стараясь их утихомирить.

Но обе зарвались и разбежались в ярости. Эмма топала ногой, повторяя:

— Невежа! Мужичка!

Он побежал к матери; та потеряла всякое самообладание, бормотала:

— Наглая! Бесстыдница... Или еще того хуже!

И намеревалась уехать немедленно, если та перед ней не извинится. Шарлю пришлось снова идти к жене и умолять ее об уступке; он стал на колени; наконец она сказала:

— Хорошо! Иду. — И действительно, протянула руку свекрови с достоинством маркизы, проговорив: — Извините меня, сударыня.

Потом, взойдя к себе в спальню, Эмма бросилась ничком на постель и разрыдалась как ребенок, уткнув голову в подушку.

Она условилась с Родольфом, что в случае какого-нибудь чрезвычайного события приколет к занавеске у окна клочок белой бумаги, чтобы он мог прибежать в узенький закоулочек за домом, если бы как раз оказался в Ионвиле. Эмма подала условный знак, прождала около трех четвертей часа, как вдруг увидела Родольфа на углу рынка. У нее явилось искушение распахнуть окно и позвать его; но он уже исчез. В отчаянии она снова упала на постель.

Вскоре, однако, слышала она шаги по тротуару. То был, конечно, он; она сбежала с лестницы, скользнула через двор. Он стоял перед нею. Она бросилась в его объятия.

— Будь осторожнее, — сказал он.

— Если б ты только знал! — воскликнула она. И принялась выкладывать ему все, торопливо, беспорядочно, преувеличивая случившееся, присочиняя новое, и с такими длинными отступлениями, что он ничего не мог сообразить.

— Ну же, мой ангел, полно, нужно присутствие духа, утешься, наберись терпения!

— Но вот уже четыре года терпения и страданий!.. Такая любовь, как наша, должна быть открытой перед лицом Неба! Они здесь затем, чтобы меня мучить. Я не в силах дольше терпеть! Спаси меня!

Она прижималась к Родольфу. Ее глаза, полные слез, сверкали, как пламя под волною; она прерывисто дышала, он никогда не любил ее так сильно; забыв обычную осторожность, он вымолвил:

— Что же нам делать? Чего ты требуешь?

— Возьми меня отсюда! — вскричала она. — Увези меня!.. Умоляю тебя! — И прильнула губами к его губам, словно желая вместе с дыханием поцелуя вырвать у него неожиданное согласие.

— Но... — сказал Родольф.

— Что такое?

— Твоя дочь?

Она задумалась на несколько мгновений, потом сказала:

— Мы возьмем ее с собою, нечего делать!

«Вот так женщина!» — пробормотал он про себя, глядя ей вслед, пока она удалялась.

Она побежала в сад. Ее позвали.

Старуха Бовари в течение следующих дней не могла надивиться перемене, происшедшей в невестке. Эмма стала благонравной, и даже довела почтительность к свекрови до того, что просила сообщить ей рецепт мариновки корнишонов.

Хотелось ли ей дурачить своих семейных, или она услаждалась этим своеобразным стоицизмом, желая глубже ощутить всю горечь того, что собиралась покинуть? Но к окружающему ее она была, напротив, беспечна: жила как в тумане, всецело поглощенная предвкушением будущего близкого счастья. Это был постоянный предмет нескончаемых разговоров с Родольфом. Она опиралась о его плечо и шептала:

— И вот мы окажемся с тобою в дилижансе!.. Как ты думаешь? Возможно ли это? Мне кажется, что в ту минуту, как карета тронется, это будет такое чувство, будто мы поднимаемся на воздушном шаре, будто уносимся за облака. Знаешь, я считаю дни?.. А ты?

Никогда госпожа Бовари не была так прекрасна, как в это время; она была прекрасна тою неопределимою красотой, которая рождается из радости, воодушевления, успеха и есть не что иное, как гармония между настроением и внешними обстоятельствами жизни. Ее вожделения, ее горести, опыт наслаждения и вечно юные надежды, подобно удобрению, ветрам, дождю и солнцу, влияющим на рост цветов, мало-помалу позволили ей развернуться, и она расцвела наконец со всею пышностью, во всей полноте своих природных сил. Ее веки были, казалось, нарочно выточены для долгих влюбленных взглядов, в которых зрачок исчезал, меж тем как усиленное дыхание раздувало ее тонкие ноздри и приподнимало напухший уголок ее губ, оттененных легким черным пушком. Можно было подумать, что какой-нибудь искусный в любовных обольщениях художник расположил жгуты волос на ее затылке: они падали тяжелою массой,

небрежно и подчиняясь случайностям любви, ежедневно их распускаящей. Ее голос нашел более мягкие переливы, ее стан — более гибкие очертания; что-то неуловимо тонкое и пронизывающее отделялось от самих складок ее платья и сгиба ее ноги. Шарль, как и в первое время после брака, находил ее упоительной, неотразимой.

Возвращаясь ночью домой, он не осмеливался ее будить. От фарфорового ночника дрожал на потолке круг света, а задернутые занавески маленькой люльки были похожи на белый шатер, круглившийся в тени у края постели. Шарль глядел на обеих. Ему казалось, он слышит легкое дыхание ребенка. Его дочка будет расти; каждое время года будет приводить с собой новую в ней перемену. Он уже видел, как она возвращается в сумерки из школы, веселая, смеющаяся, в закапанном чернилами балахончике, с корзинкою на руке. Потом следовало бы поместить ее в пансион, это будет стоить денег: как быть? Он погружался в раздумье. Не снять ли в окрестностях небольшую ферму? Он сам наблюдал бы за хозяйством по утрам, до объезда больных. Откладывал бы доход в сберегательную кассу; купил бы со временем какие-нибудь — все равно какие — акции; притом его практика должна расшириться; он на это рассчитывает, так как желает непременно дать Берте хорошее воспитание, развить в ней дарования, обучить ее музыке. А как она будет красива — ведь вся в мать — лет в пятнадцать! Летом обе будут носить одинаковые соломенные шляпы! Издали будут их принимать за двух сестер.

Он воображал дочь вечером, при свете лампы, за работой, подле него и Эммы; она будет вышивать ему туфли, вести хозяйство, оживлять весь дом своею веселостью и миловидностью. Потом придется им подумать об устройстве ее судьбы, подыскать ей честного жениха, с прочным положением, она будет с ним счастлива на всю жизнь.

Эмма не спала — притворялась, что спит; и когда он погружался в сон рядом с ней, она просыпалась, охваченная иными видениями.

Четверка лошадей вот уже целую неделю мчала ее вскачь в новый край, откуда они никогда не вернутся на старые места. Они едут, едут, тесно обнявшись, молча. Порой с горной высоты завидят вдруг блистательный город с куполами, мостами, кораблями, с лимонными рощами и беломраморными соборами, где на остроконечных колокольнях свили себе гнезда аисты. Лошади идут шагом по большим гладким плитам; букеты цветов лежат на мостовой, их предлагают продавщицы в красных корсажах. Слышится звон колоколов, ржание мулов, рокот гитар и плеск фонтанов, тонкая пыль которых, падая, освежает груды плодов, нагроможденных пирамидами у подножия бледных статуй, улыбающихся

под струями водометов. Вечером приезжают они в рыбацью деревню; коричневатые сети сохнут на ветерке, растянутые в ряд перед хижинами вдоль берегового обрыва. Там они останутся жить, поселятся в низком домике с плоскою крышей, над которой колышутся листья пальмы, в углу залива, у самого моря. Они будут кататься в гондоле, качаться в гамаке; жизнь их будет легка и просторна, как их широкие шелковые одежды, вся теплая и звездная, как те ласковые ночи, какие они будут созерцать. И на беспредельности этого воображаемого будущего не всплывало ничего особенного; дни, равно великолепные, были похожи один на другой, как волны; и все это колебалось на горизонте, бесконечное, гармоническое, голубое, залитое солнцем. Но вдруг ребенок закашляет в своей постельке, или Бовари захрапит громче — и Эмма забывалась сном только под утро, когда за окнами брезжил рассвет, и мальчик Жюстен на площади уже раздвигал ставни аптеки.

Она послала за Лере и сказала ему:

— Мне бы нужен был плащ, длинный, с пелериной, на подкладке.

— Дорожный. Вы едете? — спросил он.

— Нет! Но... все равно, я могу на вас рассчитывать, не правда ли? Это спешно.

Он поклонился.

— Мне необходимо еще иметь, — продолжала она, — сундук... не слишком тяжелый... не громоздкий.

— Да-да, понимаю, приблизительно девяносто два сантиметра на пятьдесят, как теперь делают.

— С мешком для туалетных принадлежностей.

«Решительно, — подумал Лере, — в доме нелады».

— Послушайте, — сказала госпожа Бовари, вынимая из-за пояса свои часики, — возьмите это; это пойдет вам в уплату.

Но торговец вскричал, что она его обижает, они не первый день знакомы; разве он может ей не доверять? Что за детская фантазия? Она настояла, однако, чтобы он взял хоть цепочку, и Лере, опустив ее в карман, уже уходил, как вдруг она опять его окликнула:

— Вы оставите вещи у себя. Что касается плаща (она с минуту колебалась) — нет, и его не привозите, вы сообщите мне только адрес портного и предупредите его, чтобы плащ был выдан мне по первому требованию.

Побег должен был состояться в следующем месяце. Она поедет из Ионвиля будто бы за покупками в Руан. Родольф запасет места в дилижансе, выправит паспорта и даже напишет в Париж, чтобы занять

свободное купе на двух в почтовой карете до Марселя, где они купят коляску и откуда, не останавливаясь, поедут на Геную. Она должна отослать свой багаж к Лере, который распорядится о доставке его на «Ласточку», так что никто ничего не заподозрит. Во всем этом плане не было ничего предусмотрено о ребенке. Родольф избегал говорить о нем. Она, быть может, вовсе о нем не думала.

Родольфу нужно было еще около двух недель, чтобы закончить кое-какие дела; прошла одна, и он попросил новой отсрочки еще недели на две; потом сказался больным; потом предпринял поездку; так прошел август месяц, и после всех этих проволочек они назначили отъезд окончательно на понедельник, 4 сентября.

Наступила суббота; послезавтра нужно было трогаться в путь.

Родольф пришел вечером раньше, чем обычно.

— Все ли готово? — спросила она его.

— Да.

Они обошли клумбу и сели возле террасы, на край каменной садовой ограды.

— Ты грустен, — сказала Эмма.

— Нет, почему же?

Между тем он глядел на нее с какою-то особенною, странною нежностью.

— Быть может, потому, что уезжаешь? — продолжала она. — Покидаешь то, к чему привязался, привык?.. Ах, я понимаю это... Но у меня нет ничего на свете! Ты для меня все. Зато и я буду всем для тебя: буду тебе семьей, родиной; буду о тебе заботиться, тебя любить.

— До чего ты очаровательна! — сказал он, схватывая ее в объятия.

— Правда? — сказала она с веселой негой. — Ты меня любишь? Поклянись!

— Люблю ли, люблю ли тебя? Я тебя обожаю, любовь моя!

Круглая багровая луна вставала низко над землей из-за края луга, быстро плыла между ветвями тополей, прикрывавших ее местами, как черная, дырявая занавеска; потом появилась, блистая белизной, в пустом, озаренном ею небе, замедлила путь и уронила на реку большое пятно, вспыхнувшее мириадами звезд. Серебряный свет извивался и корчился в реке до самого дна, подобясь безголовой змее, одетой сверкающими чешуями. Похож он был также и на чудовищно громадный многосвечник, с которого струились, обливая его весь, растопленные алмазные капли. Ночь, тихая, простерлась окрест; пелены тени легли меж листвой. Эмма, прикрыв глаза, ловила полным дыханием легковейный свежий ветер. Они молчали,

бессильные оторваться от овладевших ими грез. Былая любовь хлынула в их сердца, изобильная и безмолвная, как бежавшая вниз река, разнеженная, как разлитый вокруг запах сирени, и отбрасывала на их воспоминания длинные, печальные тени, длиннее и печальнее, чем тени от неподвижных ив, протянувшиеся по траве. Часто ночной зверек, еж или крот, выходя на охоту, шелестел листьями, или время от времени слышно было, как срывался и падал со шпалеры зрелый персик.

— Что за дивная ночь! — сказал Родольф.

— А какие ночи нас ждут! — ответила Эмма. И, словно говоря сама с собою; — Да, хорошо будет путешествовать... но почему же на сердце у меня такая грусть? Страх ли то перед неизвестным?.. Или все же больно отрываться от всего, что стало привычным?.. Или же?.. Нет, это избыток счастья! Какая я малодушная, не правда ли? Прости меня!

— Еще есть время! — воскликнул он. — Подумай, быть может, ты будешь раскаиваться в сделанном.

— Никогда! — ответила она порывисто. И, приблизившись к нему, сказала: — Какое же несчастье может меня постигнуть? Нет пустыни, пропасти, океана, которых бы я не перешла об руку с тобой. Каждый день совместной жизни будет все теснее, все беззаветнее сливать нас в одно существо. Ничто более не будет смущать нас, не будет тревог, не будет препятствий! Мы будем одни: ты да я, глаз на глаз друг с другом, всецело друг для друга — навеки...

— Да... да... да... — твердил он время от времени. Она перебирала пальцами его волосы и повторяла по-детски, а крупные слезы катились по ее щекам:

— Родольф! Родольф!.. Милый мой, маленький Родольф!

Пробило полночь.

— Полночь! — сказала она. — Так, значит, завтра! Еще один день.

Он встал, и, как будто это движение было сигналом замышленного побега, Эмма, вдруг повеселев, осведомилась:

— Паспорта у тебя?

— Да.

— Ты ничего не забыл?

— Нет.

— Ты уверен?

— Конечно.

— Ты будешь ждать меня в гостинице «Прованс», не так ли?.. В двенадцать часов дня?

Он кивнул головой.

— Итак, до завтра! — сказала Эмма с прощальной лаской. Глядела вслед удаляющемуся.

Он не обернулся. Побежала за ним и, наклонясь над водою среди зарослей, крикнула еще раз:

— До завтра!

Он был уже на том берегу и быстро шел по лугу.

Через несколько минут Родольф остановился, и, когда завидел ее, в белой одежде, мелькнувшую в тени и исчезнувшую, словно призрак, сердце его так забилося, что он должен был прислониться к дереву, чтобы не упасть.

— И дурак же я, — проговорил он, крепко выругавшись. — А впрочем, и то сказать, красавицу имел.

И вся красота Эммы, и все улады пережитой любви вдруг опять живо предстали его воображению. Он почувствовал нежное волнение; потом возмутился против своей страсти.

— Не в ссылку же мне идти, в самом деле, — восклицал он, размахивая руками, — да еще навязав себе на шею чужого ребенка! — Говоря так сам с собою, он пытался укрепить принятое решение! — А хлопот-то сколько, расходов... Нет, нет, тысячу раз нет. Это было бы из рук вон глупо!

Глава XII

Едва вошел Родольф в свою комнату, как с решимостью сел в кресло перед письменным столом, под лосиной головой, стенным трофеем давнишней охоты; схватил перо, но ничего не мог придумать и, подперев голову руками, предался размышлению. Эмма показалась ему отошедшею в далекое прошлое, словно принятое им решение вдруг раскрыло между ними непреодолимую пропасть.

В жажде прикоснуться к чему-нибудь ее напоминающему, он пошел к шкафу у изголовья постели и вынул старую коробку из-под бисквитов, где хранил женские письма; из нее пахло запахом затхлой пыли и вялых роз. Первый взгляд его упал на носовой платок, спрятанный им однажды на прогулке, когда у нее пошла носом кровь; все это уже изгладилось из его памяти. Тут же, в забросе, валялся миниатюрный портрет, подаренный ему Эммой; ее туалет показался ему притязательным, а взгляд, кокетливо обращенный в сторону, — жалким и комичным; по мере того как он разглядывал это изображение и вызывал в себе воспоминание об оригинале, черты Эммы смешались в его памяти, словно линии живого лица и линии портрета стирались и изглаживались взаимным трением. Наконец он прочел несколько ее писем; они были посвящены разъяснениям, касающимся задуманного путешествия, и написаны сжато, деловито, настоятельно, совсем как деловые бумаги. Ему захотелось перечитать прежние ее письма, длинные; чтобы разыскать их на дне коробки, Родольфу пришлось перевернуть все остальные; и машинально он принялся рыться в этой куче бумаг и старья, раскапывая из нее то букет цветов, то подвязку, то шпильки, то черную полумаску, то волосы — волосы! — и золотистые, и темные; иные, цепляясь за жесть коробки, рвались, когда ее отпирали.

Так блуждая среди этой груды сувениров, он приглядывался к почерку и слогу писем, столь же разнообразным, как их правописание. Письма были нежные и непринужденно-веселые, шуточные и грустные; одни молили о любви, другие о деньгах. Одно какое-нибудь слово воскрешало перед ним выражение лиц, своеобразие движений, звук голоса; часто ему не вспоминалось ничего.

В самом деле, эти женщины, входя толпой в его память, теснили одна другую и одна другую умаливали, сведенные под общий уровень равнявшей их всех страсти. Захватив в горсть перемешанные как попало письма, он

забавлялся несколько минут пересыпанием их, в виде водопада, из правой руки в левую. Наконец эти занятия навели на него снотворную скуку, и он отнес коробку обратно в шкаф, вымолвив:

— Что за дурацкий ералаш!

Так резюмировал он свое окончательное мнение; ибо наслаждения, подобно школьникам, изо дня в день резвящимся на школьном дворе, так вытоптали его душу, что ни один росток свежей зелени уже не мог в ней пробиться и все, что ни проходило через нее — еще с большим легкомыслием, чем дети, — не оставляло на память даже имени, начертанного на стене.

— Ну, — сказал он себе, — за дело! — И принялся за составление письма:

«Мужайтесь, Эмма! Мужайтесь! Я не хочу быть вашим злым роком»...

«Ведь это, в сущности, правда, — подумал Родольф, — я поступаю так ей же на пользу, я честен».

«Достаточно ли зрело обдумали вы ваше решение? Знаете ли вы, бедный ангел, в какую пропасть я готов был увлечь вас? Нет, вы не знаете! Доверчивая и безрассудная, вы шли за мной, веря в счастье, в будущее... Ах, мы несчастные! Безумные мы...»

Родольф остановился, ища какого-нибудь веского довода.

«Что если я объявлю себя разорившимся в пух и прах?... Нет, это ничего не меняет. Придется позднее начинать то же самое сызнова. Разве можно образумить подобных женщин?»

Он подумал и продолжал писать:

«Я никогда не забуду вас, верьте этому, всю жизнь буду я безгранично вам предан; но когда-нибудь, рано или поздно, наш страстный пыл — такова участь всего человеческого — неизбежно остыл бы! Мы устали бы любить, и кто знает, не испытал ли бы я невыразимой горечи — увидеть вас раскаявшеюся в своем решении и даже разделить это раскаяние, так как вина лежала бы на мне. Одна мысль о предстоящих вам испытаниях, Эмма, меня терзает! Забудьте же меня! К чему суждено было мне вас увидеть? Зачем вы были так прекрасны! Неужели в этом моя вина? О боже мой! Нет, нет, вините во всем одну судьбу!»

— Вот слово, которое всегда производит впечатление, — сказал он себе.

«Ах, если бы вы были одной из бессердечных женщин, каких много, я мог бы, конечно, из эгоизма позволить себе попытку для вас безопасную. Но эта пленительная восторженность, которая составляет одновременно и вашу прелесть, и ваше мучение, не позволила вам сознать, дивное

существо, всю ложь нашего будущего положения. Но ведь и я также не думал об этом вначале, и я покоился в грезах этого идеального счастья, как под деревом яда, не предусматривая последствий».

«Она, чего доброго, подумает, что я отступился из скупости... Пускай, все равно! Как-никак, необходимо с этим покончить!»

«Свет жесток, Эмма. Куда бы мы ни кинулись, везде бы преследовал он нас. Вам предстояло подвергаться назойливым расспросам, клевете, презрению, быть может оскорблениям. Оскорбления — вам! И это — о боже! — в то время как я хотел бы воздвигнуть вам трон царский, — я, уносящий в душе ваш образ, как талисман! Ибо изгнанием казнь я себя за все зло, вам причиненное. Я уезжаю. Куда? Не знаю сам: я потерял рассудок! Прощайте! Будьте доброй, как всегда! Сохраните память о несчастном, вас утратившем. Научите вашего ребенка молиться за меня».

Пламя двух свечей дрожало. Родольф встал, закрыл окно и, усевшись вновь, сказал:

— Кажется, все. Ах, еще несколько слов, чтобы она не вздумала за мною гоняться:

«Я буду далеко, когда вы прочтете эти печальные строки, ибо решил бежать, чтобы не подпасть искушению нового свидания. Нельзя поддаваться слабости! Я вернусь, и, быть может, позднее нам обоим случится с охлажденным сердцем вспомнить нашу былую любовь. Прощайте!»

Под этим начертано было последнее «прости». Родольфу показалось внушением изысканного вкуса — изобразить этот заключительный привет двумя словами: «A Dieu».

«Как же теперь подписаться? — прикидывал он в уме. — „Всецело вам преданный“?.. Не подходит. „Друг ваш“... Да, именно так. „Ваш друг“».

Перечитал письмо, оно его удовлетворило. Он был растроган.

— Бедняжка, она сочтет меня бесчувственным, как камень.

«Хоть бы несколько слез! Что же делать? — не умею плакать; не моя вина».

Тогда, налив в стакан воды, Родольф окунул в воду палец и уронил сверху на письмо крупную каплю, которая расползлась бледным пятном на чернилах. Потом стал искать, чем бы припечатать письмо; под руку подвернулась печатка с девизом: «Amor nel cor».

— Ну, это не совсем подходит к случаю... А впрочем, все равно!

После этого он выкурил три трубки и лег спать.

На другой день, встав с постели часа в два (долго проспал), приказал он набрать корзину абрикосов, положил письмо на дно, под виноградные

листья, и отрядил Жирара, работника, снести бережно корзину госпоже Бовари. Он и раньше пользовался этим средством сношений, посылая ей, смотря по времени года, то фрукты, то дичь.

— Если она спросит обо мне, ты скажешь, что я уехал из имения. Корзину передашь ей самой, в собственные руки... Отправляйся и будь осторожен!

Жирар надел новую блузу, завязал корзину с абрикосами в платок и, тяжелою шагая в своих подбитых гвоздями грубых башмаках, не спеша двинулся по дороге в Ионвиль.

Госпожа Бовари, когда он вошел в дом, разбирала вместе с Фелисите на кухонном столе груды белья.

— Вот, — сказал работник, — от нашего барина вам посылка.

Ее охватили предчувствие и страх, и, ища в кармане мелочи, она глядела на крестьянина растерянным взглядом, а он с удивлением — на нее, не понимая, как мог так взволновать человека простой гостинец. Наконец он ушел. Но в кухне оставалась Фелисите. Эмма не выдержала, побежала в столовую, как будто за тем, чтобы отнести туда абрикосы, опрокинула корзину, разрыла листья, нашла письмо, распечатала и — словно за ее спиной занялся чудовищный пожар — бросилась в свою комнату в ужасе.

Там был Шарль; она его увидела; он говорил ей что-то; она ничего не слышала и продолжала быстро подниматься по лестнице, задыхаясь, вне себя, как пьяная, все еще держа в руке страшный лист бумаги, потрескивавший в ее пальцах, как жестяная пластинка... Взбежав до третьего этажа, она остановилась перед запертой дверью на чердак.

Тут она сделала над собой усилие, чтобы успокоиться; вспомнила о письме; нужно было дочитать его, но она не решалась. Да и где? Как? Ее увидят.

«Нет, здесь, — подумала она, — мне будет хорошо».

Толкнула дверь и вошла. Под накаливаемой грифельной крышей стоял тяжкий зной, сжимавший ей виски и спиравший дыхание; она дотащилась до запертой мансарды, отодвинула засов, хлынул ослепительный свет.

Перед нею за околицей, насколько хватал глаз, расстилался сельский кругозор. Внизу, под нею, пустела площадь; сверкали булыжники мостовой; недвижно торчали, словно замерли, флюгера на домах; с угла улицы, из окна одного дома, доносился до нее снизу скрипучими переливами какой-то хрип. То Бинэ точил на токарном станке.

Она прислонилась к косяку мансарды и, злобно усмехаясь, перечитывала письмо. Но чем напряженнее старалась она в него вникнуть, тем беспомощнее путались ее мысли. Она снова видела Родольфа перед

собой, она слышала его голос, она обнимала его обеими руками, и удары сердца, колотившегося в груди как большой молоток, учащались с неровными промежутками. Она озиралась вокруг, смутно надеясь, что вот-вот рухнет под нею земля. И почему бы не покончить всего разом? Что ее удерживает? Она свободна. Она подалась вперед и взглянула на мостовую, твердя про себя:

— Ну же! Скорее!

Отвесный луч света, поднимавшийся прямо к ней снизу, притягивал к пропасти тяжесть ее тела. Ей казалось, что почва площади, колеблясь, приподымается вдоль стен, а край пола наклоняется, как судно во время качки. Она стояла у самого края — почти висела, окруженная пустым пространством. Ее охватывала небесная лазурь, воздух словно проносился сквозь опустошенную голову, ей стоило только уступить, не противиться, отдаться. А хрип станка не прекращался, словно яростный голос, ее зовущий.

— Жена! Эмма! — раздался голос Шарля.

Она замерла.

— Да где же ты? Иди скорее!

Мысль, что она едва ускользнула от смерти, обессилила ее почти до обморока; она закрыла глаза и вдруг задрожала, почувствовав на себе чью-то руку: то была Фелисите.

— Барин вас ждет, суп подан.

Пришлось сойти вниз. Пришлось сесть за стол.

Она попыталась есть, но не могла осилить пищи. Развернула салфетку, притворяясь, будто разглядывает заштопанные места, и действительно предалась было этому занятию, стала считать нитки полотна. Но вдруг вспомнила о письме. Неужели же она его потеряла? Где теперь искать?

Но так велика была усталость ее мозга, что ей никак не удавалось придумать предлога, чтобы выйти из-за стола. Притом на нее напала робость: она боялась Шарля, он, наверное, все знает! В самом деле, он как-то странно проговорил:

— Мы, очевидно, не скоро увидим господина Родольфа.

— Кто тебе сказал? — спросила она, вся дрожа.

— Кто мне сказал? — отвечал он, немного изумленный внезапностью вопроса. — Жирар говорил; я только что встретил его у «Французского кафе». Он уехал или собирается уехать надолго.

Она слегка вскрикнула.

— Что же тебя изумляет? Он отлучается время от времени, чтобы развлечься, — и, право, я это одобряю. Когда имеешь состояние и при этом

холост!.. Вообще наш друг веселится на славу! Весельчак! Мне рассказывал господин Ланглуа...

Он умолк из приличия перед вошедшей в столовую служанкой.

Она переложила опять в корзину абрикосы, рассыпанные по буфету. Шарль, не замечая краски, вспыхнувшей на лице жены, приказал подать их на стол, взял один и отведал.

— Прелесть! — сказал он. — На, попробуй! — И протянул к ней корзину, которую она легонько оттолкнула. — Понюхай только: какой аромат! — сказал он, поднося корзину в несколько приемов к ее носу.

— Задыхаюсь! — крикнула она, вскакивая со стула. Но, усилием воли подавив судорогу в горле, проговорила: — Ничего! Прошло! Это нервы! Садись кушай!

Она боялась, что ее станут расспрашивать, ухаживать за нею, что ей не позволят остаться одной.

Шарль, чтобы не перечить ей, опять уселся и стал выплевывать в руку косточки от абрикосов, которые складывал потом на тарелку.

Вдруг синий шарабан промчался быстрою рысью по площади. Эмма вскрикнула и замертво упала навзничь.

Родольф действительно, по зрелом размышлении, решил отправиться в Руан. А так как из Гюшett в Бюши нет другой дороги, ему пришлось проехать через местечко Ионвилль, и Эмма узнала его при свете фонарей, как молния прорезавших сумерки.

Заслышав смятение в доме, прибежал аптекарь. Стол со всеми тарелками был опрокинут; соус, мясо, ножи, солонка, графинчик из-под прованского масла — валялись по полу; Шарль звал на помощь; Берта кричала в испуге, Фелисите дрожащими руками распускала корсет на барыне, по телу которой пробегали судороги.

— Бегу в лабораторию за ароматическим уксусом, — сказал аптекарь. И когда Эмма открыла глаза, нюхая флакон, он заметил: — Я был уверен в этом средстве, оно и мертвого поднимет.

— Проговори что-нибудь! — молил Шарль. — Скажи нам что-нибудь! Приди в себя! Это я, твой Шарль, который тебя любит! Узнаешь ли ты меня? Вот твоя дочурка: поцелуй ее!

Малютка протягивала руки к матери, чтобы повиснуть у нее на шее. Но Эмма, отвернувшись, произнесла отрывисто:

— Нет, нет... уйдите все!

Она опять лишилась чувств. Ее снесли и уложили в постель.

Она лежала вытянувшись; рот ее был открыт, веки плотно сомкнуты, руки обращены ладонями вверх; она была недвижна и бледна, как восковая

статуя. Из глаз двумя ручейками струились слезы и медленно стекали на подушку.

Шарль стоял в глубине алькова; аптекарь, рядом с ним, хранил сосредоточенное молчание, приличествующее в серьезные мгновения жизни.

— Успокойтесь, — сказал он, толкая Шарля локтем, — кажется, пароксизм миновал.

— Да, она теперь немного отдыхает, — ответил Шарль, глядя на спящую. — Бедняжка!.. Несчастливая женщина!.. Вот и опять свалилась!

Гомэ спросил, как это случилось. Шарль ответил, что случилось это внезапно, в то время как она ела абрикосы.

— Странно!.. — воскликнул аптекарь. — Но возможно, что обморок был вызван действием абрикосов. Есть натуры, необычайно чувствительные к некоторым запахам! И это даже любопытнейший предмет для исследования как в патологическом, так и физиологическом отношении. Попы хорошо знали, что делали, вводя в свои обряды каждение. Это отуманивает рассудок и вызывает экстаз. Особенно подвержены этим воздействиям лица женского пола, имеющие более нежную организацию, чем мужчины.

Говорят, иные дамы лишаются чувств от запаха жженого рога, свежего хлеба...

— Осторожнее, не разбудите ее! — сказал Бовари вполголоса.

— И не только люди, — продолжал аптекарь, — но и животные страдают теми же аномалиями. Так, вам неизвестно, какое влияние в половой сфере оказывает на кошек *pereta cataria*, в общежитии называемая «кошачьей травой»; а с другой стороны, приведу пример, за достоверность которого я ручаюсь, — у одного из моих старых товарищей, Бриду (его аптека на улице Мальпалу), есть собака, с которой делаются судороги, как только приблизят к ее носу табакерку. Часто даже он производит этот опыт при знакомых на своей даче в Буа-Гильом. Кто бы мог поверить, что простое чихательное средство может производить такой переворот в организме четвероногого? Это чрезвычайно любопытно, не правда ли?

— Да, — сказал Шарль, который не слушал.

— Это доказывает нам, — ответил тот, улыбаясь с благосклонным самодовольством, — бесчисленные уклонения нервной системы. Что касается супруги вашей, — признаюсь, она всегда казалась мне натурой типически сенситивной. Поэтому я отнюдь не могу вам порекомендовать, мой добрый друг, ни одного из этих мнимых средств, которые под предлогом излечения явлений, чисто симптоматических, борются на самом

деле с самим организмом. Нет, только не пичкать лекарствами! Режим, вот и все! Болеутоляющие, смягчительные и успокоительные. Затем не думаете ли вы, что следовало бы, быть может, повлиять на воображение?

— В чем? Как? — сказал Бовари.

— Вот в этом-то и весь вопрос! Это и составляет действительно вопрос, «that is the question» — как недавно было сказано в газете.

Но Эмма, вдруг проснувшись, закричала:

— А письмо? Письмо?

Подумали, что она бредит; с полуночи действительно начался бред; обнаружилось воспаление мозга.

Целых сорок три дня Шарль не покидал ее ни на минуту. Он забросил всех больных, не ложился спать и постоянно щупал ей пульс, ставил горчичники, делал холодные примочки. Он посылал Жюстена за льдом в Невшатель; дорогой лед таял; Жюстен отправлялся в путь снова. Он пригласил на консультацию Канивэ; выписал из Руана своего бывшего профессора, доктора Ларивьера; отчаивался. Более всего страшило его угнетенное состояние Эммы: она ничего не говорила, ничего не слышала и даже, казалось, вовсе не страдала, — как будто ее тело и душа отдыхали одновременно от всех своих волнений.

К середине октября она могла сидеть в постели, обложенная подушками. Шарль заплакал, когда в первый раз она съела тартинку с вареньем. Силы возвращались к ней; она вставала на несколько часов после обеда. И однажды, когда она почувствовала себя лучше, он отважился провести ее под руку по саду. Песок дорожек был устлан мертвыми листьями; она шла еле ступая и волоча свои туфли, опиралась плечом о грудь Шарля, улыбалась.

Они дошли так до края сада, до террасы. Она потихоньку выпрямилась и прикрыла глаза рукой, вглядываясь вдаль; глядела далеко, очень далеко, но на горизонте виднелись только дымки по холмам от сжигаемых ворохов сухой травы.

— Ты устанешь, дорогая, — сказал Бовари. И, подталкивая ее легонько ко входу в беседку, промолвил: — Сядь сюда, на скамейку, здесь тебе будет хорошо.

— Ах нет, не здесь, не здесь! — воскликнула она слабеющим голосом.

У нее закружилась голова, и с этого вечера ее болезнь вернулась, правда с менее определенными признаками, с какими-то новыми осложнениями. То она жаловалась на боли в области сердца, то на боли в груди, в мозгу, во всех членах, с нею делалась рвота, и Шарль подозревал в ней предвестие начинающегося рака.

И, сверх всего, бедняга должен был бороться еще и с денежными затруднениями.

Глава XIII

Прежде всего необходимо было рассчитаться с господином Гомэ за все забранные у него лекарства, и хотя Шарль, в качестве врача, мог за них вовсе не платить, тем не менее он краснел при мысли об этом долге. Далее, расходы по дому — теперь, когда кухарка являлась полной хозяйкой, — достигали ужасающих размеров; счета погоняли друг друга; поставщики ворчали, особенно досаждал ему Лере. В самый разгар Эмминой болезни Лере, пользуясь случаем, чтобы раздуть свой счет, поспешил доставить на дом плащ, саквояж, два сундука вместо одного и множество еще других вещей. Сколько ни твердил Шарль, что они ему не нужны, торговец отвечал заносчиво, что все было им выписано по заказу барыни и что он не возьмет ничего обратно; да, вероятно, и господин доктор сам не пожелает раздражать супругу во время ее выздоровления, ему следовало бы подумать, — словом, Лере был готов обратиться в суд скорее, чем отказаться от своих прав и взять обратно товары. Шарль приказал было снести их обратно в магазин; Фелисите забыла, а у лекаря были другие заботы, так об этом никто и не вспомнил; между тем Лере возобновил свои домогательства и, то грозя, то плачась, получил наконец от Бовари вексель сроком на шесть месяцев. Но едва Шарль подписал свое имя, как дерзкая мысль пришла ему в голову: он придумал занять у Лере тысячу франков. Смущенно осведомился он, нет ли средства достать эту сумму, и прибавил, что занял бы ее на год, внеся какие угодно проценты. Лере побежал к себе в лавку, принес деньги и продиктовал другой вексель, согласно которому Бовари обязывался уплатить первого сентября следующего года тысячу семьдесят франков, что вместе с прежними ставосмьюдесятью составляло ровно тысячу двести пятьдесят франков. Итак, Лере давал в рост из шести на сто, брал, сверх того, четверть процента комиссионных, да поставка товара приносила ему не менее доброй трети цены; все это за двенадцать месяцев должно было дать сто тридцать франков барыша; притом он надеялся, что дело этим не ограничится, что по векселям не смогут уплатить, их перепишут и его бедные денюжки, покормившись у лекаря, словно в санатории, вернутся к нему в один прекрасный день, значительно пожирев и растолстев, так что мошна, того и гляди, лопнет.

Впрочем, ему во всем везло. Он добился подряда на поставку сидра для невшательской больницы; господин Гильомен обещал ему акции торфяных болот Грумениля; он мечтал об открытии нового дилижансового

сообщения между Аргелем и Руаном, что не замедлило бы, конечно, уничтожить фургон «Золотого Льва»; его дилижансы, двигаясь быстрее и забирая больше багажа, при пониженной плате, отдадут ему в руки всю торговлю Ионвиля.

Шарль уже не раз спрашивал себя, как справится он в будущем году со столькими обязательствами; думал и передумывал, измышлял уловки — то прибегнуть к помощи отца, то продать что-либо. Но к его просьбам отец будет глух, а продать прямо нечего. До такой путаницы додумывался он, что ничего не оставалось как просто забыть о предмете столь неприятном. Он ловил себя на том, что из-за денег забывает Эмму; ему казалось, что все его мысли принадлежат этой женщине и он отнимает у нее нечто, если не держит ее образ в уме непрерывно.

Зима была суровая; выздоровление Эммы шло медленно. В хорошую погоду ее кресло подвигали к окну, выходившему на площадь; она возненавидела сад, и ставни с той стороны были постоянно закрыты. Лошадь она велела продать; все, что она некогда любила, теперь ей не нравилось. Все ее мысли, казалось, ограничивались заботами о себе самой. Она лежала в постели и забавлялась тем, что приказывала время от времени принести ей легкой еды или звонила, чтобы осведомиться у прислуги о приготавливаемом для нее декокте, а порой и просто поболтать с ней о чем случится. Между тем снег на крышах рынка бросал в комнату недвижный, белесоватый отблеск; потом начались дожди. Ежедневно с какою-то тоскливой тревогой ожидала Эмма неуклонного повторения обыденных, ничтожных событий, вовсе ее не касавшихся. Самым крупным из них было по вечерам возвращение «Ласточки». Трактирщица тогда кричала, и ей отвечали другие голоса, фонарь Ипполита, разыскивавшего сундуки на крыше кареты, светился в потемках, как звезда. В полдень приходил Шарль и уходил опять; она кушала бульон, а в пять часов, при наступлении сумерек, школьники все, друг за дружкой, волоча по тротуару свои деревянные башмаки, хлопали линейками по ставням окон.

В этот именно час к ней приходил господин Бурнизьен. Он расспрашивал ее о состоянии здоровья, сообщал ей новости, заговаривал и о религии, не меняя простого тона легкой, ласковой болтовни, имевшей в себе нечто приятное. Один вид его рясы уже успокаивал ее.

Однажды, в самую тяжкую пору болезни, когда ей казалось, что она умирает, она пожелала причаститься; и пока в комнате делались приготовления для таинства — убирали, в виде алтаря, комод, заставленный лекарствами, и Фелисите рассыпала по полу георгины, — Эмма чувствовала приближение какой-то силы, снимавшей с нее всю

скорбь и муку, всякое ощущение боли, всякое чувство. Ее плоть, облегченная, казалось, утратила свой вес, начиналась другая жизнь; ей показалось, что существо ее, поднимаясь к Богу, готово раствориться в этой любви, как рассеивается клубами зажженный ладан. Окропили святою водою простыни ее постели; священник вынул из дарохранительницы белую облатку Агнца; изнемогая от небесной радости, протянула она губы, чтобы принять тело Спасителя, ей преподанное. Полог ее алькова мягкими волнами надувался, как облако, а лучи от двух свечей, горевших на комод, мнились ей венцами ослепительной славы. Она уронила голову на подушку; ей казалось, она слышит в пространствах арфы серафимов и видит в лазоревом Небе, на золотом престоле, в сонме святых, с зелеными пальмовыми листьями в руках, Бога Отца, сверкающего величием и посылающего мановением на землю своих ангелов с огненными крыльями, чтобы унести ее на руках.

Это лучезарное видение осталось в ее памяти, как нечто самое пленительное, о чем только возможно мечтать; и теперь она усиливалась вызвать в себе это ощущение, которое, впрочем, в ней еще не замерло, еще длилось, менее властительное, но все еще глубоко сладостное, как впервые. Ее душа, изломанная гордостью, отдыхала наконец в христианском смирении; вкушая уладу изнеможения, Эмма глядела в свою душу и видела, как воля в ней разрушалась и освобождала широкий путь вхождению благодати. Итак, на месте счастья было возможно иное, еще большее, блаженство, иная любовь выше наслаждений любви земной, непрерывная, непреходящая, возрастающая вечно! Она прозрела, за обманами земных надежд — радость чистоты, отрешенной от земли, сливающейся с небесными радостями, — и это состояние стало ей желанным. Ей захотелось сделаться святой. Она накупила четок, повесила на шею образки и ладанки; ей мечталось поставить в спальне, у изголовья своей постели, ковчежец с мощами в оправе из изумрудов и прикладываться к нему по вечерам. Священник удивлялся этому ее настроению, восхищался ее рвением, хотя и находил, что благочестие Эммы, будучи пылким, может приблизиться к ереси и перейти в исступление. Не чувствуя себя, впрочем, достаточно опытным в этих материях, когда они превышали определенный уровень, он на всякий случай написал книгопродавцу Булару, поставщику его высокопреосвященства, прося его прислать что-нибудь особенное для особы женского пола, образованной и острого ума. Книгопродавец, с таким же равнодушием, с каким он стал бы отправлять тюк жестяных изделий для негров, запаковал без разбора все, на что был в то время спрос по части

душеспасительного чтения. То были маленькие катехизические руководства, состоящие из вопросов и ответов, памфлеты, написанные высокомерно-наставительным тоном наподобие произведений де Местра, и особого рода романы в розовых обложках, изготовленные в слащавом стиле поэтами из семинаристов или кающимися «синими чулками». Заглавия были: «Одумайтесь»; «Светский человек у ног Марии. Сочинение господина де***, кавалера многих орденов»; «Заблуждения Вольтера. Чтение для юношества» и т. д.

У госпожи Бовари голова была еще не настолько свежа, чтобы серьезно заниматься чем-либо; к тому же она слишком ревностно наинулась на это чтение. Ее раздражали требования обрядности; не нравилась ей и ожесточенность, с какою заносчивые полемисты обрушивались на незнакомых ей людей; а светские повести с религиозной закваской показались ей сочиненными с таким неведением света, что неприметно они отдалили ее от тех истин, подтверждения коих она искала. Тем не менее она упорствовала, и когда книга выпадала у нее из рук, ей казалось, что ее охватывает тончайшая мистическая грусть, свойственная высшей христианской одухотворенности.

Воспоминание о Родольфе она похоронила в глубине своего сердца, и там покоилась эта память торжественнее и неподвижнее царственной мумии в подземелье. От этой набальзамированной любви шел аромат, проникая и напитывая негой атмосферу непорочной чистоты, которой отныне она хотела дышать. Когда она преклоняла колени перед своим готическим аналоем, она шептала Господу те же нежные слова, что говорила некогда любовнику в минуту страстных порывов. Она желала этим укрепить свою веру; но с Неба не сходили на нее отрада и наслаждение, и она поднималась с усталыми членами, с темным ощущением какого-то огромного обмана. Эти алкания, думала она, были только лишнею заслугою, и в своей горделивой набожности сравнивала себя с теми дамами былых времен, о славе которых мечтала, глядя на портрет госпожи Лавальер, которые, влача с таким величием расшитый золотом шлейф своих длинных одежд, удалялись в пустыни и проливали у ног Христа все слезы души, уязвленной жизнью.

Потом она предалась чрезмерной деятельности милосердия. Шила одежды для бедных, посылала топливо родильницам; и раз Шарль, придя домой, застал на кухне трех оборванцев за миской супа. Она взяла обратно в семью свою девочку, которую муж на время болезни матери опять поместил к кормилице. Эмме вздумалось самой научить ее грамоте; сколько ни плакала Берта, Эмма уже не раздражалась: то было

преднамеренное смирение, всеобщее прощение. Ее речь по всякому поводу была пересыпана идеальными выражениями. Она говорила своему ребенку:

— Прошли ли у тебя желудочные боли, мой ангел?

Старухе Бовари уже не на что было ворчать — разве, пожалуй, на эту манию невестки вязать кофточки для сирот, вместо того чтобы чинить собственное белье. Но измученная домашними ссорами, почтенная дама чувствовала себя теперь хорошо в этом спокойном доме и, прогостив всю Пасху, не спешила уезжать, чтобы таким образом избежать издевательств Бовари-отца, который нарочно в Страстную пятницу заказывал себе свиную колбасу с жирной начинкой.

Общество свекрови, укреплявшей ее прямою своих суждений и своею солидарностью с ней, было не единственной компанией Эммы: почти ежедневно принимала она знакомых. То были госпожа Ланглуа, госпожа Карон, госпожа Дюбрель, госпожа Тюваш и неизменно, от двух до пяти часов, добрейшая госпожа Гомэ, ни разу не поверившая ни одной из сплетен, распускаемых про ее соседку. Дети Гомэ приходили также в гости, их сопровождал Жюстен. Он поднимался с ними наверх, в комнату Эммы, и стоял все время в дверях, не двигаясь, не произнося ни слова. Часто даже госпожа Бовари, не обращая на него внимания, садилась при нем за свой туалет. Прежде всего она вытаскивала из волос гребень и резким движением встряхивала головой; когда Жюстен увидел в первый раз эту массу волос, черными кольцами падавшую до самых колен, то перед бедным малым словно двери распахнулись в нечто необычайное и новое, испугавшее его своим великолепием.

Эмма, разумеется, не замечала ни его молчаливого усердия, ни его робости. Она и не подозревала, что любовь, исчезнувшая из ее жизни, трепетала вот тут, возле нее, под этой рубашкой из грубого холста, в этом сердце юноши, раскрывавшемся навстречу всем обнаружениям ее красоты. К тому же на все глядела она теперь с таким равнодушием, речь ее была так ровно ласкова, а взоры так надменны и так различны ее манеры держать себя, что трудно было отличить эгоизм от сострадания, развращенность от добродетели. Однажды вечером, например, она рассердилась на свою служанку, просившую разрешения уйти со двора и бормотавшую какие-то оправдания; потом вдруг сказала:

— Ты его, значит, любишь? — И, не дожидаясь ответа покрасневшей Фелисите, грустно прибавила: — Ну что же, беги, повеселись!

Ранней весной она приказала перекопать из конца в конец весь сад, не обращая внимания на возражения Бовари, который все же был счастлив,

видя, что она проявляет хоть в чем-нибудь свою волю. Она проявляла ее, впрочем, все чаще, по мере того как поправлялась. Во-первых, она нашла способ выгнать тетку Роллэ, кормилицу, повадившуюся за время ее выздоровления частенько заходить на кухню с двумя грудными младенцами и маленьким пансионером, прожорливым, как людоед. Потом она отделалась от семьи Гомэ, повыкурила мало-помалу остальных посетительниц и даже в церковь стала ходить реже, чем заслужила полное одобрение аптекаря, сказавшего ей по этому поводу дружески:

— Вы слегка ударились было в ханжество!

Господин Бурнизьен заходил к ней по-прежнему ежедневно, после урока Закона Божия. Он предпочитал сидеть снаружи и дышать воздухом под «кущею» — так называл он беседку. В этот час возвращался и Шарль. Обоим было жарко, им приносили сидру, и они чокались за окончательное выздоровление госпожи Бовари.

Бинэ находился неподалеку, то есть несколько ниже, под стеной, поддерживавшей террасу, и ловил раков. Бовари приглашал его освежиться напитком; он был не прочь, а откупоривать бутылки — прямо мастер.

— Надобно, — говорил он, обводя ближайшие предметы и даже отдаленный кругозор самодовольным взглядом, — поставить бутылку вот так, крепко, на стол, перерезать веревочку и потихоньку, потихоньку выталкивать пробку — вот как в ресторанах, примерно, откупоривают сельтерскую воду.

Порой, однако, в самую минуту его объяснений сидр выбрызгивал им прямо в лицо; тогда священник, заливаясь густым смехом, повторял неизменно одну и ту же шутку:

— Высокое качество сего напитка бросается в глаза.

Старик был в самом деле большой добряк и нисколько не возмущался, когда аптекарь посоветовал Шарлю свезти жену для развлечения в Руан — послушать оперу с участием знаменитого тенора Лагарди. Гомэ, удивленный этою кротостью, пожелал узнать его мнение, и священник заявил, что считает музыку менее опасною для нравственности, нежели литературу.

Тогда аптекарь взял на себя защиту словесности. Театр, говорил он, борется с предрассудками и, под видимостью забавы, учит добродетели.

— «Castigat ridendo mores» — смех очищает нравы, господин Бурнизьен! Возьмите, например, большинство трагедий Вольтера, они искусно пересыпаны философскими рассуждениями, которые обращают их в истинную школу морали и политики для народа.

— Я, — сказал Бинэ, — видел когда-то пьесу под названием

«Парижский сорванец», в ней выведен тип старого генерала; автор, можно сказать, попал прямо в точку! Генерал задает головоломку молодому человеку, сыну порядочных родителей, соблазнившему простую девушку, которая в конце...

— Разумеется, — продолжал Гомэ, — есть плохая литература, как есть плохие аптеки; но осуждать огулом важнейшее из искусств кажется мне просто нелепостью, варварской средневековой идеей, достойной тех внушающих ужас и отвращение времен, когда посадили в тюрьму Галилея.

— Я знаю, — возражал священник, — что есть хорошие сочинения и хорошие сочинители; тем не менее уже само это сборище, смесь лиц разного пола, в каком-то соблазнительном помещении, роскошной светской обстановке, затем эти языческие переодевания, эти румяна, эти огни, эти изнеженные голоса — все это разве не должно в конечном счете порождать духовный разврат, вселять в человека греховные мысли и нечистые вожделения? Таково, по крайней мере, мнение всех отцов Церкви. Наконец, — присовокупил он, придавая голосу таинственность, между тем как его пальцы разминали щепотку табаку, — если Церковь осудила зрелища, значит, она была права и мы должны подчиниться ее решению.

— За что Церковь отлучает актеров? — поставил вопрос аптекарь. — В былые времена они ведь открыто участвовали в религиозных обрядах. Да, разыгрывали вокруг церковного алтаря особый вид представлений, называвшихся мистериями, — балаганные комедии, в которых законы благопристойности частенько нарушались.

Священник ограничился тем, что испустил вздох, а аптекарь продолжал:

— Это как в Библии, в ней есть-таки... знаете ли... некоторые подробности... пикантного свойства, вещи, так сказать... веселенькие! — И, в ответ на жест господина Бурнизьена, выражавший его раздражение, прибавил: — Ведь вы же сами согласитесь, что эту книгу нельзя дать в руки молодой девушке, и мне было бы очень досадно, если бы Аталия...

— Но ведь Библию рекомендуют для чтения протестанты, не мы, — воскликнул священник с нетерпением.

— Все равно! — сказал Гомэ. — Изумляюсь, однако, что в наши дни, в век просвещения, находятся люди, упорствующие в осуждении духовного отдыха, умственных развлечений, безусловно безвредных, поучительных — и даже иногда гигиенических, не так ли, доктор?

— Разумеется, — ответил лекарь небрежно, потому ли, что, держась тех же взглядов, он не хотел никого обидеть, или же потому, что у него не было взглядов.

Разговор, казалось, был исчерпан; но аптекарю понадобилось еще раз кольнуть противника.

— Я знал священников, одевавшихся в светское платье и ходивших поглазеть на ножки танцовщиц.

— Полноте! — сказал священник.

— Да-с, знал! — И, отчеканивая отдельно каждый слог фразы, Гомэ повторил: — Я таких знал.

— Ну что же, они поступали неправильно, — сказал Бурнизьен, решившийся претерпеть все.

— Черт возьми, да то ли они еще делают! — воскликнул аптекарь.

— Милостивый государь!.. — вскричал священник с таким свирепым взглядом, что аптекарь испугался.

— Я хочу только сказать, — ответил тот уже менее грубым тоном, — что терпимость — вернейший способ обратить души к религии.

— Это верно, совершенно верно! — согласился толстяк, усаживаясь снова на стул.

Но он просидел на нем всего две минуты. Едва он вышел, Гомэ сказал лекарю:

— Вот что называется сцепиться! Видели, как я его отделал!.. Послушайте меня, свезите-ка барыньку в оперу, уже ради того только, чтобы хоть раз в жизни довести до бешенства одного из этих воронов, черт побери! Если бы кто-нибудь мог меня заменить, я бы сам с вами поехал. Торопитесь! Лагарди дает всего только одно представление: получил богатейший ангажемент в Англию. Это, знаете ли, по общему уверению, знатная штука! Золото ему так и сыплется. Возит с собою трех любовниц и повара. Все эти великие артисты жгут свечу с двух концов; им нужна беспутная жизнь, чтобы возбуждать воображение. Но они умирают в больнице: в молодости-то не были достаточно умны, чтобы делать сбережения. Ну, желаю вам приятного аппетита! До завтра!

Мысль об этом спектакле быстро принялась в голове Бовари, он тотчас же сообщил ее жене; та сначала отказалась, ссылаясь на усталость, беспокойство и расходы; но на этот раз Шарль настаивал — так был он уверен, что это развлечение будет ей полезно. Никаких препятствий он не видел; мать его прислала им триста франков, на которые он перестал было рассчитывать; текущие долги не значительны, а срок уплаты по векселям Лере так далек, что о нем не стоило думать. К тому же он предполагал, что жена стесняется принять его предложение, и потому убеждал ее еще настойчивей. Уступая его неотвязным просьбам, наконец она решилась. И на другой же день, в восемь часов, они залезли в «Ласточку».

Аптекарь, которого, в сущности, ничто не удерживало в Ионвиле, считал себя обязанным не двигаться с места; провожая их, он вздохнул.

— Ну, приятный вам путь, — сказал он им, — счастливые вы смертные! — Потом, обращаясь к Эмме, на которой было голубое шелковое платье с четырьмя оборками, он проговорил: — Вы прелестны, как амур! Вы произведете фурор в Руане.

Дилижанс остановился у гостиницы «Красный Крест» на площади Бовуазин. То был постоялый двор с трактиром, каких много в каждом провинциальном предместье, с огромными конюшнями, крошечными спальнями и двором, посреди которого куры клюют овес под забрызганными грязью шарабанами коммивояжеров. Это почтенные старые строения с источенными червем деревянными балконами, скрипящими от ветра в зимние ночи. Они постоянно полны народа, шума и еды; черные столы в них залиты кофе, толстые оконные стекла засижены мухами, сырые салфетки испещрены синеватыми пятнами от вина. От таких домов пахнет всегда деревней, как от батраков на ферме, хотя они и одеты в городское платье; при этих гостиницах всегда есть кофейня на улицу и огород на задворках, выходящий в поле. Шарль немедленно отправился действовать. Перепутал авансцену с галереей, партер с ложами, просил объяснений, ничего не понял, контролер отослал его к директору, он вернулся в гостиницу, потом снова побежал в кассу и так измерил ногами несколько раз весь город, от театра до бульвара.

Барыня приобрела себе шляпу, перчатки, букет цветов. Барин боялся опоздать к началу спектакля, и, не успев проглотить и по тарелке супа, они стояли уже перед входом в театр, двери которого были еще заперты.

Глава XIV

Перед театром стояла толпа, симметрично стиснутая между двумя балюстрадами. На углах соседних улиц гигантские афиши повторяли причудливыми литерами: «Лючия ди Ламмермур... Лагарди... опера...» и т. д. Погода стояла прекрасная; в воздухе было душно: завивка волос размокла от пота, красные лбы осушались вынутыми из карманов носовыми платками; порою теплый ветерок с реки слегка колебал кайму парусиновых гардин, раскинутых над входами в кафе. А пониже дул ледяной сквозняк, несший с собою запах кож, сала и масла. То были испарения улицы Шаррет, черневшей складами, где перекачивались бочки.

Из боязни показаться смешною, Эмма прежде, чем войти, пожелала прогуляться по гавани. Бовари из осторожности не выпускал из руки билетов, прижимая их к животу в кармане панталон.

Сердце забилося у нее сильнее уже в вестибюле. Она невольно улыбнулась тщеславною улыбкою при виде толпы, стремящейся другим коридором направо, меж тем как она поднималась по лестнице в «первые места». С ребяческим удовольствием толкала она пальцем широкие обитые двери; всею грудью вдыхала пыльный воздух коридоров и, сев в ложе, откинулась назад с непринужденностью герцогини.

Зал начинал наполняться, бинокли вынимались из футляров; абонированные посетители раскланивались друг с другом издали. Усталые от торговых хлопот, они приходили в храм искусства расправить члены, но, не забывая все же «дел», продолжали дневную беседу о хлопке, о тридцатишестиградусном спирте, об индиго. Мелькали лица стариков, спокойные, без выражения, белые, с белыми волосами, походившие на потускневшие от свинцовых паров серебряные медали. Молодые фаты гоголем ходили по партеру, выставляя напоказ в вырезах жилетов, розовые или зеленые, цвета незрелых яблок, галстуки; госпожа Бовари с восхищением любовалась сверху, как их затянутые в желтые перчатки пальцы опирались на трости с золотыми набалдашниками.

Тем временем в оркестре зажглись свечи; люстра спустилась с потолка, сияя гранеными подвесками и распространяя по зале внезапную веселость; потом один за другим вошли музыканты, и начался долгий хаос нестройных звуков: хрипели контрабасы, взвизгивали скрипки, трубили корнет-а-пистоны, пищали флейты и флажолеты. Но вот со сцены раздались три удара; грянули раскаты литавр, медь отчеканила несколько

аккордов; взвился занавес, и открылся пейзаж.

То было перепутье в лесу, с ручьем и дубом на левой стороне сцены. Поселяне и вельможи, с пледом через плечо, хором пели охотничью песню; потом вышел атаман и стал призывать духа зла, подняв руки к небу; появился еще кто-то; потом оба ушли, а охотники запели снова.

Эмма почувствовала себя перенесенною в былое своей ранней юности, когда она зачитывалась Вальтером Скоттом. Ей чудилось сквозь туман гудение шотландских волюнок, отдававшееся в зарослях вереска. Воспоминание о романе облегчало ей понимание текста оперы, и она следила за интригой, фраза за фразой, меж тем как едва уловимые мысли, набегавшие на нее, обрывались, уносимые бурным дыханием музыки. Ритм то баюкал ее, то заставлял все существо ее трепетать, словно ее нервы были струнами под смычком скрипок. Она не могла вдоволь налюбоваться костюмами, декорациями, фигурами действующих лиц, намалеванными деревьями, колыхавшимися, когда мимо них проходили, бархатными беретами, плащами, шпагами — всеми этими мнимыми вещами и красивыми обманами, согласно двигавшимися под музыку, словно в атмосфере иного мира. Но вот выступила молодая женщина и бросила кошелек зеленому егерю. Потом она осталась одна, и тогда послышались трели флейты, то журчавшей, как ручей, то щебетавшей, как птичка. Лючия уверенно запела свою каватину в соль-мажор; она жаловалась на муку любви, просила крыльев. Эмме тоже хотелось бежать от жизни, далеко улететь в объятиях милого. Вдруг появился Эдгар Лагарди.

Он был бледен тою великолепною бледностью, которая придает величие мрамора лицам пылких сынов юга. Его сильный стан был стянут коричневой курткой; маленький тонкого чекана кинжал бился у левого бедра; он водил вокруг томным взором и показывал ослепительные зубы. Ходили слухи, что одна польская княгиня услышала его пение вечером на морском берегу, вблизи Биаррица, где он чинил шляпки, и влюбилась в него. Она истратила на него все свое состояние, а он бросил ее для других женщин; и эта романтическая слава упрочила знаменитость артиста. Расчетливый актер старался сам о том, чтобы в рекламы, о нем трубившие, проскальзывала и поэтическая фраза о неотразимом обаянии его личности, о чувствительности его души. Прекрасный голос, непоколебимая самоуверенность, перевес темперамента над умом, пафоса над лиризмом дополняли законченный до совершенства характер этого истинного шарлатана, эту смесь куафера с тореадором.

С первой же сцены он увлек залу. Он сжимал Лючию в объятиях, покидал ее, возвращался к ней снова, изображал отчаяние: вспышки гнева

чередовались у него с элегическим шепотом бесконечной нежности, и звуки вырывались из его обнаженной шеи, полные, рыданий и поцелуев. Эмма наклонилась, чтобы лучше видеть его, и вдавливала ногти в бархат ложи. Она впивала эти мелодические жалобы, тянувшиеся под аккомпанемент контрабасов, словно крики утопающих в смятении бури. Она узнавала все упоение и муки, от которых едва не умерла сама. Голос певицы казался ей отзвуком ее собственной души, а чаровавшая ее иллюзия имела что-то общее с ее жизнью. Но никто никогда не любил ее такую любовью. Не плакал он, подобно Эдгару, в последний вечер, когда светила луна и когда они говорили друг другу: «До завтра! До завтра!...» Зал гремел от рукоплесканий; пришлось повторить часть фуги; влюбленные пели о цветах на их могиле, о клятвах, об изгнании, о роке, о надеждах, и, когда прозвучало их заключительное «прости», у Эммы вырвался пронзительный крик, слившийся с гулом последних аккордов.

— Но зачем этот знатный господин ее преследует? — спросил Бовари.

— Да нет же, — отвечала Эмма, — это ее возлюбленный.

— Однако же он клянется отмстить ее семье, а тот, что приходил сейчас, говорил: «Я люблю Люцию и думаю, что любим ею». К тому же он ушел под руку с ее отцом. Ведь этот уродец с петушиным пером на шляпе ее отец, не правда ли?

Несмотря на толкование Эммы, с того дуэта, когда Жильбер посвящает своего господина в придуманные им отвратительные козни, Шарль при виде мнимого обручального кольца, которое должно ввести в обман Люцию, поверил, что это залог любви, присланный Эдгаром. Он сознавался, впрочем, что во всей истории ничего не понял из-за музыки, сильно введившей словам.

— Все равно, — сказала Эмма. — Молчи.

— Ведь я, знаешь, — сказал он, наклоняясь к ее плечу, — люблю отдавать себе во всем отчет.

— Молчи, молчи! — повторила она с нетерпением.

Люция выступала, поддерживаемая прислужницами, в венке из померанцевых цветов, и лицом — блее атласа своего белого платья. Эмме вспомнился день ее свадьбы, узкая межа между хлебов, по которой двигался в церковь свадебный поезд. Почему, подобно Люции, она не боролась, не молила? Нет, она была весела и не замечала, в какую бросалась пропасть... Ах, если бы во всей свежести красоты, до позора брака и до разочарований прелюбодеяния, она могла отдать свою жизнь человеку с верным, великодушным сердцем, то для нее и нежность, и добродетель, и наслаждение, и долг — все слилось бы воедино, и никогда

не сошла бы она с высот такого счастья. Но такое счастье, разумеется, ложь, придуманная людьми, чтобы отнять надежду у всякого желания. Она знает теперь всю ничтожность страстей, возвеличиваемых искусством. Усиливаясь освободить свою мысль от его внушений, Эмма не хотела в этом изображении своих собственных страданий видеть ничего другого, как только художественную фантазию, приятную для глаз, и даже внутренне улыбалась с презрительным сожалением, когда в глубине сцены из-за бархатной портьеры вдруг появился мужчина в черном плаще. Он сделал движение, и его широкополая испанская шляпа упала с головы; в ту же минуту оркестр и певцы начали секстет. Эдгар, пылавший гневом, заглушал остальных своим звучным голосом.

Аштон в низком регистре бросал ему убийственные вызовы; Лючия выпускала пронзительные вопли; Артур в стороне выводил средние ноты, а бас министра гудел, как орган, а женские голоса, подхватывая его слова, повторяли их хором, как сладостное эхо. Все стояли в ряд и все жестикулировали; гнев, мщение, ревность, ужас, милосердие, изумление выливались одновременно из их полуоткрытых уст. Оскорбленный любовник потрясал голою шпагой; кружевной воротник на нем приподнимался в такт с колыханиями его груди; он ходил то вправо, то влево, крупно шагая и звеня о дощатый пол серебряными шпорами мягких ботфортов, расширившихся от циклотки. В нем жила, думалось Эмме, неиссякаемая любовь, если он мог такими потоками изливать ее в публику. Ее слабые попытки развенчать иллюзию потонули в поэтическом впечатлении от захватившей ее роли, и, влекомая к человеку чарами изображаемой им личности, она пыталась представить себе его жизнь, громкую, необычайную, великолепную жизнь, которую могла бы вести и она, если бы этого захотел случай. Они могли бы встретиться, полюбить друг друга. С ним она разъезжала бы по всем странам Европы, из столицы в столицу, деля его труды и его гордость, подбирая бросаемые ему цветы, своими руками вышивая его костюмы. Каждый вечер из-за золоченой сетки глубокой ложи она, замирая от блаженства, ловила бы излияния его души, он пел бы для нее одной; со сцены, играя, он глядел бы на нее. Вдруг ее охватило какое-то безумие; он глядит на нее, это несомненно. Ей захотелось броситься к нему, найти прибежище в его силе, как в воплощении самой любви, и сказать, крикнуть ему: «Возьми меня, увези, уедем! Я твоя, твоя. Тебе весь мой пыл, все мои грезы».

Занавес опустился.

Запах газа сливался с дыханием толпы; веяние вееров делало воздух еще более душливым. Эмма хотела выйти из ложи, но толпа наполняла все

коридоры, и с бьющимся сердцем, задыхаясь, она упала снова в кресло. Шарль, боясь обморока, побежал в буфет за стаканом оршада.

Не без труда протискался он назад: на каждом шагу его толкали под локоть, и он уже вылил три четверти стакана на плечи одной декольтированной руанке, которая, ощутив у поясницы холодную жидкость, пронзительно закричала, словно под ножом. Ее супруг, владелец бумагопрядильни, вспылил на невежу, и пока дама носовым платком вытирала пятна на своем пышном шелковом вишневого цвета платье, муж угрюмо ворчал что-то про расход и возмещение убытков. Наконец Шарль пробрался к жене и, страшно запыхавшись, сказал:

— Честное слово, думал, что не выберусь! Такая толпа... такая толпа... — И прибавил: — А ну-ка угадай, кого я там, наверху, встретил?.. Господина Леона!

— Леона?

— Его самого! Он сейчас явится засвидетельствовать тебе свое почтение.

Не успел он произнести эти слова, как бывший ионвильский клерк вошел в ложу.

Он протянул руку с великосветской развязностью, госпожа Бовари машинально дала свою, повинувшись, вероятно, притяжению более сильной воли. Она не пожимала этой руки с того весеннего вечера, когда по зеленым листьям струился дождь и когда они простились, стоя у окна. Но тотчас же, призвав себя к соблюдению приличий, она усилием воли стряхнула дремоту, навеянную воспоминаниями, и быстро заговорила:

— Ах, здравствуйте... Как, вы здесь?

— Тише! — раздался голос из партера, так как начиналось третье действие.

— Итак, вы в Руане?

— Да.

— И давно?

— Тсс... выйдите вон...

В их сторону оборачивались; они умолкли.

Но с этой минуты Эмма уже не слушала; хор гостей, сцена между Аштоном и его слугой, большой дуэт в ре-мажор — все прошло для нее в каком-то тумане, словно инструменты сделались как-то менее звучными, а действующие лица ушли куда-то вдаль; она припомнила карточные вечера у аптекаря, посещение кормилицы, чтение вслух в беседке, разговоры у камина наедине — всю свою бедную любовь, такую тихую, такую долгую, такую скромную, такую нежную и тем не менее ею забытую... Зачем же он

вернулся? Какое стечение событий ставит его вновь на ее дороге? Он стоял за нею, прислонясь плечом к перегородке; время от времени она вздрагивала от его теплого дыхания, касавшегося ее волос.

— Вас это занимает? — сказал он, наклоняясь так низко, что кончик его усов задел ее щеку.

— Так себе, не слишком! — ответила она небрежно.

Тогда он предложил уйти из театра и пойти куда-нибудь есть мороженое.

— Ах нет! Останемся до конца! — сказал Бовари. — У нее распущены волосы. Это обещает что-то трагическое.

Но сцена безумия вовсе не интересовала Эмму, и игра певицы казалась ей неестественной.

— Она не поет, а кричит, — сказала она Шарлю, продолжавшему слушать.

— Да... может быть... немного, — отвечал он, колеблясь между искренностью своего удовольствия и уважением к мнению жены.

Леон вздохнул и сказал:

— Какая жара...

— Невыносимая, это правда.

— Тебе дурно? — спросил Бовари.

— Да, я задыхаюсь, пойдем.

Леон бережно накинул ей на плечи длинную кружевную шаль. Все трое направились к гавани и сели на открытом воздухе, под окнами кафе.

Вначале речь шла о болезни Эммы, хотя она несколько раз и прерывала Шарля из боязни, как она говорила, наскучить господину Леону; этот сообщил им, что приехал в Руан поработать года два в большой конторе и попривыкнуть к ведению юридических дел, которое в Нормандии, по сравнению с Парижем, имеет свои особенности. Затем он осведомился о Берте, о семье Гомэ, о старухе Лефрансуа; но так как в присутствии мужа им не о чем было больше говорить, то беседа вскоре иссякла.

Публика, выходявшая из театра, двигалась мимо них по тротуару; кто напевал себе под нос, кто во всю глотку горланил: «О, Лючия, ангел милый». Леон, желая разыграть любителя, заговорил о музыке. Он слышал Тамбурины, Рубини, Персиани, Гризи; рядом с ними Лагарди, несмотря на весь свой блеск, ничего не стоит.

— А между тем, — перебил Шарль, отпивая маленькими глотками свой шербет с ромом, — говорят, что в последнем акте он прямо изумителен, мне жаль, что мы не дождались конца, меня это начинало

занимать...

— Впрочем, он даст еще спектакль, — сказал клерк.

Но Шарль ответил, что им нужно ехать на другой же день.

— Если, Впрочем, ты не захочешь остаться одна, Эммочка, — прибавил он, обращаясь к жене.

Меняя мгновенно тактику перед этим неожиданным оборотом дела, сулившим ему надежду, молодой человек принялся расхваливать Лагарди в последнем акте. Это действительно нечто высокое, это великолепие. Шарль настаивал:

— Ты можешь вернуться в воскресенье. Ну же, решай! Ты не должна колебаться, если думаешь, что это принесет тебе малейшую пользу.

Между тем столики вокруг пустели; один из служителей подошел и скромно стал неподалеку от них; Шарль понял и вынул кошелек, но клерк удержал его за руку и сверх уплаты по счету не забыл даже оставить две серебряные монеты, которыми звякнул по мрамору.

— Мне, право, не хотелось бы вводить вас в расходы, — пробормотал Бовари.

Тот пренебрежительно и вместе радушно махнул рукой и, взяв шляпу, проговорил:

— Итак, решено, завтра в шесть часов, не правда ли?

Шарль опять оговорился, что не может остаться дольше, но Эмме ничто не мешает...

— Дело в том, что... — пробормотала она с загадочной улыбкой, — я, право, не знаю...

— Ну ты подумаешь, завтра увидим, утро вечера мудренее... — И, обращаясь к Леону, провожавшему их: — Теперь, раз вы опять в наших краях, надеюсь, заедете к нам кое-когда отобедать?

Клерк ответил, что не преминет воспользоваться приглашением, тем более что ему необходимо быть в Ионвиле по делам конторы: Расстались на углу переулочка Сент-Эрблан в ту минуту, как на колокольне собора часы пробили половину двенадцатого.

ЧАСТЬ ТРЕТья

Глава I

Леон, изучая в Париже право, не забывал посещать и «Хижину», где пользовался даже большим успехом у гризеток, находивших его «изящным». Он был самым приличным в толпе студентов: волосы носил не слишком длинные, но и не короткие, не прокучивал с первого же дня денег, полученных на содержание за полсеместра, и ладил с профессорами. От излишеств воздерживался столько же из трусости, сколь из отвращения ко всему грубому.

Часто, сидя за книгой у себя в комнате или вечером под липами Люксембургского сада, он ронял из рук свод законов и отдавался воспоминаниям об Эмме. Но чувство это мало-помалу слабело, новые желания глушили его, хотя, упорствуя, оно пробивалось и сквозь них наружу, ибо еще Леон не терял надежды: какое-то смутное предчувствие манило его, какое-то обещание таилось для него в будущем, как золотой плод в листве волшебного дерева.

Когда он увидел Эмму после трехлетней разлуки, страсть его проснулась. Нужно, думал он, найти наконец в душе волю и решимость овладеть ею. Его застенчивая робость поубавилась в веселом товариществе; в провинцию вернулся он полный презрения ко всему, что не топчет лаковыми ботинками асфальта Больших бульваров. Перед парижанкою в кружевах в гостиную какой-нибудь медицинской знаменитости, имеющей ордена и собственный экипаж, бедный клерк дрожал бы, как ребенок. Но здесь, в Руане, в гавани, перед женою лекаря он чувствовал себя свободным, заранее знал, что ослепит ее. Самоуверенность зависит от среды, в которой она проявляется: в бельэтаже говорят иначе, чем в пятом этаже, и добродетель богатой женщины охраняют все ее банковские билеты, подобно кирасе под ее корсетом.

Расставшись вечером с супругами Бовари, Леон последил за ними издали по улице; увидя, что они остановились перед «Красным Крестом», он повернул домой и всю ночь обдумывал план действий.

На другой день, часов в пять, вошел он в кухню гостиницы; щеки его были бледны, горло сжимала судорога, но в душе его была та решимость трусливых людей, которую ничто не в силах остановить.

— Господин уехал, — сказал лакей.

Это показалось ему добрым предзнаменованием. Он поднялся наверх.

Она не смутилась при его появлении, напротив, стала извиняться, что

забыла сказать ему, где они остановились.

— О, я угадал сам, — сказал Леон.

— Как?

Он уверял, что его привел как бы осязательно инстинкт. Она улыбнулась, и Леон тотчас же, чтобы поправить свою глупость, рассказал, что все утро провел в розысках по всем гостиницам города.

— Итак, вы решились остаться? — прибавил он.

— Да, — сказала она, — и поступила неправильно. Не следует привыкать к удовольствиям, которыми нельзя пользоваться, когда на тебе лежит множество обязанностей.

— О, я могу себе представить...

— Ах нет, не можете: вы не женщина.

Но у мужчин есть свои тягости, — разговор начинался с философических размышлений. Эмма распространилась о тщете земных привязанностей и о вечном одиночестве, на какое обречено человеческое сердце.

Чтобы порисоваться или из наивного подражания этой грусти, и ему сообщившейся, молодой человек заявил, что чудовищная скука преследовала его за все время университетских занятий. Судебная деятельность раздражает его, он чувствует в себе призвание к другому, а мать не перестает в каждом письме его терзать. Все определеннее выяснял каждый из них причины своего горя и, по мере того как говорил, сам воспламенялся своими все более откровенными признаниями. Но порою оба останавливались перед неприкрытым выражением своей мысли и искали фраз, могущих служить ее переводом. Она не призналась ему в своей страсти к другому, и он не сказал ей, что ее забыл.

Быть может, в эти минуты он не помнил своих ужинов с кокотками после танцев; да и она — своих утренних прогулок по лугам в усадьбу любовника. Шум города едва до них доносился; комнатка казалась нарочно стеснившейся, чтобы сблизить их в уютном уединении. Эмма, в канифасовом пеньюаре, сидела, откинув черный узел волос на спинку кресла, желтые обои за нею казались золотым фоном; непокрытая голова ее отражалась в зеркале, с белым пробором посредине и кончиками ушей, выглядывавшими из-под бандо.

— Но, простите, — молвила она, — не нужно было мне говорить об этом, я утомляю вас вечными жалобами.

— Нет, ничуть, ничуть!

— Если бы вы знали, — продолжала она, поднимая к потолку прекрасные глаза с трепетавшими на них слезинками, — если бы вы только

знали, о чем я мечтала!

— А я! О, как я страдал! Часто я уходил из дому, шел вперед наугад, бродил по набережным, стараясь задурманить себя шумом толпы, и все же не в силах был избавиться от наваждения, меня преследовавшего. На бульварах, в одном магазине эстампов, есть итальянская гравюра, изображающая музу. Она одета в тунику и глядит на луну, в распущенных волосах ее незабудки. Что-то непрестанно толкало меня к ней, я простаивал перед нею целые часы. — И дрожащим голосом он прибавил: — Она была немного похожа на вас.

Госпожа Бовари отвернулась, чтобы он не уловил невольной улыбки, тронувшей ее губы.

— Часто, — продолжал он, — я писал вам письма и потом рвал.

Она не отвечала. Он продолжал:

— Иногда я воображал, что какой-нибудь случай приведет вас ко мне. Мне мерещились вы на углах улиц, я бегал за всеми каретами, из окон которых развевались шаль или вуаль, похожие на ваши...

Она решила, казалось, позволить ему высказаться, не прерывая его. Скрестив руки и опустив голову, она разглядывала бантики своих туфель и порою легким движением пальцев шевелила их атлас.

Наконец она вздохнула:

— Но всего печальнее, не правда ли, влачить бесполезное существование, как я. Если бы еще наши горести могли послужить кому-либо на пользу, можно было бы утешиться мыслью о жертве!

Он принялся восхвалять добродетель, долг, молчаливые жертвы: сам он чувствует невероятную потребность самопожертвования и не знает, чем ее утолить.

— Я хотела бы, — сказала она, — быть сестрой милосердия в больнице.

— Увы, — ответил он, — мужчинам не дано выполнять святые призвания, и я не вижу ни в одной профессии... за исключением, быть может, профессии врача...

Пожав слегка плечами и прерывая его речь, Эмма заговорила о своей болезни, от которой едва не умерла; как жаль! — теперь она уже не страдала бы. Леон тотчас же пожелал и себе «покоя под могильной плитой»; ведь однажды вечером он написал даже завещание, прося в нем, чтобы его тело покрыли тем дивным бархатным ковром, что подарила ему Эмма. Так говорили они, ибо такими они хотели казаться себе в прошлом, и тот и другая; они рисовали себе идеал, под который подгоняли свою прошлую жизнь. Впрочем, слово — это прокатные вальцы, на которых

чувство всегда растягивается.

Но при этой выдумке по поводу ковра она спросила:

— Зачем же, однако?

— Зачем? — Он колебался. — Затем, что я безумно любил вас.

И, одобрив себя за то, что смело перешагнул через препятствие, Леон искоса поглядывал на нее, следя за выражением ее лица.

Оно было как небо, с которого внезапный ветер разогнал все облака. Тучи грустных мыслей, омрачавших его, казалось, рассеяли и исчезли из ее синих глаз, и все лицо ее просияло.

Он ждал.

Наконец она ответила:

— Я это всегда подозревала...

Тогда они стали рассказывать друг другу мелкие события этой далекой жизни, радости и печали которой только что все сказались в одном слове. Он припомнил беседку из жимолости, платья, которые она носила, вещи ее комнаты, весь ее дом.

— А где наши бедные кактусы?

— Их побил морозом в эту зиму.

— Знаете ли, я часто о них думал. Вспоминал, как, бывало, в летнее утро солнце ударяет в ваши окна... видел ваши обнаженные руки, мелькавшие за горшками цветов...

— Бедный друг, — сказала она, протягивая ему руку.

Леон быстро прильнул к ней губами. Потом глубоко вздохнул и сказал:

— В те времена вы были для меня какою-то таинственной силою, полонившей мою жизнь. Однажды, например, я пришел к вам; но вы этого, конечно, не помните?

— Помню, — сказала она. — Продолжайте.

— Вы стояли внизу, в прихожей, на ступеньке и собирались уходить; на вас была шляпа с мелкими голубыми цветочками; и, не дожидаясь приглашения с вашей стороны, неожиданно для себя самого я пошел за вами. С каждой минутой, однако, я все яснее сознавал свою глупость и продолжал идти вслед за вами, не смея открыто сопровождать вас и не желая вас покинуть. Когда вы входили в лавку, я оставался на улице, смотрел сквозь стекло, как вы снимали перчатки, пересчитывали на прилавке мелочь. Наконец вы позвонили у двери госпожи Тюваш, вам отперли, а я остался, как идиот, перед большою тяжелою дверью, захлопнувшейся за вами.

Госпожа Бовари, слушая его, удивлялась, что она так стара; все эти воспоминания, проходившие снова перед нею, казалось, удлиняли ее

протекшую жизнь; то были в прошлом ее сердца какие-то необъятные пространства, которые она оставила за собой и куда теперь мысленно переносилась. Время от времени, еле слышным голосом и полужакрытыми глазами, она роняла:

— Так! Верно! Верно!

Оба слышали, как в разных местах квартала Бовуазин, переполненного пансионами, церквями и огромными покинутыми домами, пробило восемь часов. Они умолкли и глядели друг на друга; в голове у них шумело, как будто от встречи пристально устремленных зрачков, как гулкий ток отделялись какие-то звуки. Их руки сплелись: прошедшее, будущее, воспоминание, грезы — все потонуло в блаженстве этого восторга. Сумрак сгустился по стенам, где, полутонувшие в тени, еще блистали яркие краски четырех литографий, изображавших сцены из «la tour de Nesle» с объяснениями по-испански и по-французски внизу. Через узкое окно был виден уголок темного неба в вырезе остроконечных крыш.

Она встала, зажгла на комодке две свечи и опять вернулась на свое место.

— Итак?.. — проговорил Леон.

— Итак?.. — отозвалась она.

Он придумывал, как бы связать прерванный разговор; она сказала:

— Отчего до сих пор никто никогда не высказывал мне таких чувств?

Клерк воскликнул, что не легко понять идеальные натуры. Он полюбил ее с первого взгляда и приходил в отчаяние, думая о том, как они могли бы быть счастливы, если бы случай свел их раньше и неразрывно друг с другом связал.

— Я иногда об этом думала, — молвила она.

— Какая мечта! — прошептал Леон. И, нежно коснувшись голубой каймы ее длинного белого пояса, прибавил: — Что нам мешает начать жизнь сызнова?..

— Нет, друг мой, — ответила она. — Я слишком стара... а вы слишком молоды... забудьте меня! Другие будут любить вас... и вы будете их любить.

— Так, как люблю вас, — нет! — воскликнул он.

— Дитя вы! Будьте же благоразумны. Я этого требую.

Она представила ему всю невозможность их любви; они по-прежнему должны держаться в границах простой братской дружбы.

Серьезно ли она говорила это? Эмма, разумеется, сама того не знала, подчиняясь прелести соблазна и в то же время сознавая необходимость бороться с ним, и, глядя умиленным взглядом на молодого человека, нежно

отстраняла робкие ласки его дрожащих рук.

— Ах, извините, — сказал он, отодвигаясь.

Эмму охватил смутный страх перед этою робостью, более опасной для нее, чем смелость Родольфа, когда он подходил к ней с раскрытыми объятиями. Никогда ни один мужчина не казался ей столь прекрасным. Пленительным чистосердечием было проникнуто его обращение. Он опускал длинные, тонкие, загибавшиеся кверху ресницы. Его нежные щеки краснели — как ей казалось — от страстного желания, и ей неудержимо хотелось коснуться их губами. Вдруг, нагнувшись, как будто затем, чтобы взглянуть на часы, она проговорила:

— Боже мой, как поздно! Как мы заболтались!

Он понял намек и протянул руку за шляпой.

— Я забыла даже о театре. А бедный Бовари оставил меня нарочно для спектакля. Супруги Лормо, живущие на улице Гранпон, должны были взять меня с собою.

Случай был уже упущен, так как завтра она уезжает.

— Правда? — спросил Леон.

— Да.

— Мне, однако, необходимо увидаться с вами еще раз, я должен сказать вам...

— Что?

— Нечто... важное, серьезное. Да вы, впрочем, не уедете, это невозможно. Если бы вы знали... Выслушайте меня... Вы меня, значит, не поняли? Вы не угадали?..

— А между тем вы выражаетесь ясно, — сказала Эмма.

— Ах, вам угодно шутить! Довольно, довольно! Из жалости дайте мне увидеть вас еще раз... Только один раз...

— Ну уж... — Она остановилась, затем, как бы одумавшись, сказала: — О, только не здесь!

— Где вам будет угодно.

— Хотите...

Она раздумывала и отрывисто сказала:

— Завтра в одиннадцать часов, в соборе.

— Буду там! — воскликнул он и схватил ее за обе руки, но она их высвободила.

Он стоял несколько позади ее, а она опустила голову; он нагнулся над ее шеей и долгим поцелуем прильнул к ее затылку.

— Вы с ума сошли! Ах, сумасшедший! — говорила она, нервно смеясь, меж тем как поцелуи не прекращались.

Он заглядывал через плечо в ее глаза, словно ища прочесть в них согласие. На него упал ее взгляд, полный ледяного величия.

Леон отступил на три шага к дверям. Остановился на пороге. Потом дрожащими губами прошептал:

— До завтра.

Она ответила кивком головы и, как птичка, порхнула в соседнюю комнату.

Вечером Эмма писала клерку нескончаемое письмо, в котором отменяла свидание: теперь между ними все кончено, и ради их счастья они не должны более встречаться. Но когда письмо было запечатано, она оказалась в большом затруднении, так как не умела надписать адрес.

«Отдам ему сама, — подумала она, — он придет».

На другой день Леон, распахнув дверь на свой балкончик и весело напевая, сам вычистил свои ботинки, покрыв их несколько раз лаком. Надел белые панталоны, тонкие носки, зеленый фрак, вылил на носовой платок все духи, что были у него в запасе, завился у цирюльника и потом опять велел развить волосы, чтобы придать прическе изящную простоту.

«Еще рано!» — подумал он в цирюльне, взглядывая на кукушку: было девять часов.

Он перелистал старый модный журнал, вышел, закурил сигару, прошелся по трем улицам, наконец решил, что уже пора, и поспешно направился к площади перед собором Богоматери.

Было прекрасное летнее утро. Серебряные изделия сияли в окнах соседних лавок, и свет, падавший на собор сбоку, играл на изломах серых камней; стая птиц кружилась в голубом небе вокруг колоколенок со сквозными трилистниками; площадь оглашалась криками и благоухала цветами, окаймлявшими ее мостовую: розами, жасмином, гвоздикой, нарциссами, туберозами; промежутки между купами цветов были заняты там и сям влажною зеленью — кошачьей травой и курослепом для птиц; посреди площади журчал фонтан, а под огромными зонтиками, промеж пирамид из дынь, простоволосые торговки обертывали бумагой букетики фиалок.

Молодой человек взял такой букетик. В первый раз приходилось ему покупать цветы для женщины; и, вдыхая их аромат, грудь его выпрямлялась от горделивого чувства, словно эта дань преклонения, подносимая ей, возвеличивала его самого.

Однако он боялся, что его увидят; он решительно пошел в церковь.

Швейцар собора стоял в ту минуту на пороге левого портала, под статуей «Пляшущая Марианна», — в шляпе с перьями, со шпагой у бедра,

с булавою в руке, величественный, как кардинал, и блистательный, как священная утварь.

Он подошел к Леону и с благодушно-лукавой улыбкой, какая бывает у священников, когда они обращаются к детям, спросил:

— Вы, должно быть, не здешний, сударь? Вам угодно осмотреть достопримечательности собора?

— Нет, — ответил тот.

Сначала обошел он приделы. Потом вернулся к portalу и взглянул на площадь. Эммы все еще не было. Он пошел прямо, по среднему проходу, до самого алтаря.

Средний корабль с частью стрельчатых арок и цветных стекол отражался в полных кропильницах. Отсветы оконной живописи ломались на их мраморных краях и тянулись дальше по плитам пола, как пестрый ковер. Яркий дневной свет врвался в собор тремя гигантскими полосами сквозь открытые двери главного портала. Время от времени по церкви проходил причетник, наскоро преклоняя колени перед алтарем движением торопливого богомольца. Хрустальные паникадила висели неподвижно. У престола горела серебряная лампада; из темных боковых капелл доносились порою словно вздохи, да стук захлопнувшейся решетки отдавался эхом под высокими сводами.

Леон медленными шагами двигался вдоль стен. Никогда еще жизнь не казалась ему столь прекрасной. Сейчас придет она, очаровательная, взволнованная, оглядываясь, не следят ли за ней, — в платье с воланами, с золотым лорнетом, в тонких ботинках, со всем обаянием изящества, еще ему неведомого, со всей той прелестью, какою бывает окружена добродетель в минуту перед падением. Храм, словно исполинский будуар, раскидывался над нею, своды наклонялись, чтобы в полумраке принять исповедь ее любви; цветные стекла сияли, чтобы озарить ее лицо, и кадила были готовы зажечься, чтобы она явилась, как ангел, в облаках благовоний.

Она, однако, все не приходила. Он сел на стул, и глаза его упали на голубое окно с написанными на нем рыбаками, несущими из лодок корзины с рыбой. Он всматривался в витражи — долго, внимательно, считал чешуи рыб и петлицы на куртках, а мысль его блуждала в поисках Эммы.

Швейцар, стоя в стороне, возмущался про себя образом действий этого посетителя, дерзнувшего восхищаться собором в одиночестве. Ему казалось, что он ведет себя чудовищно, в некотором смысле грабит его и почти святотатствует.

Но вдруг — шуршанье шелка по плитам, край шляпы, черная пелерина... Она! Леон встал и почти бегом бросился ей навстречу.

Эмма была бледна. Шла быстро.

— Прочтите это! — сказала она, протягивая ему сложенную бумагу... — О нет! — И она резко отдернула свою руку, потом вошла в часовню Пресвятой Девы, стала на колени, опираясь на спинку стула, и погрузилась в молитву.

Молодого человека рассердила эта ханжеская причуда; потом он испытал все же некоторое очарование, видя ее в минуту любовного свидания погруженной в молитву, как андалусская Маркиза; вскоре, однако, это ему наскучило, так как ее благочестивое занятие не кончалось.

Эмма молилась или, вернее, делала усилие молиться, надеясь, что небо вдохнет в нее какое-нибудь внезапное решение; и для привлечения благодатной помощи она впивала глазами лучезарный блеск алтаря, вдыхала благоухание белых ночных фиалок, распускавшихся в высоких вазах, прислушивалась к безмолвию церкви, от которого смятение в ее сердце еще возрастало.

Наконец она поднялась с колен, и они собирались уже уходить, когда швейцар быстро подошел к ним со словами:

— Барыня, наверное, не здешняя? Барыне угодно осмотреть достопримечательности церкви?

— Да нет! — воскликнул клерк.

— А почему бы нет? — возразила она.

Ее поколебленная добродетель хваталась и за скульптуру, и за молитву, и за памятники — за все, что представлял случай.

Тогда, чтобы обозреть все «по порядку», швейцар повел их ко входу с площади, и, указав булавою на полу большой круг из черных плит, без надписи и украшений:

— Вот, — сказал он величественно, — окружность славного колокола Амбуаза. Он весил сорок тысяч фунтов. Подобного ему не было во всей Европе. Мастер, который его отливал, умер от радости...

— Пойдем дальше, — сказал Леон.

Вожатый двинулся дальше; он привел их назад, к часовне Богородицы, где всеобъемлющим жестом раскинул руки и с гордостью деревенского собственника, показывающего свой фруктовый сад, произнес:

— Под этою простою плитой покоятся останки Пьера де Брезе, владельца Варенны и Брисака, великого маршала Пуату и губернатора Нормандии, убитого при Монлери шестнадцатого июля тысяча четыреста шестьдесят пятого года.

Леон, кусая себе губы, переминался на месте.

— А этот рыцарь, направо, закованный в латы, верхом на коне, поднимающемся на дыбы, — его внук Лун де Брезе, владелец Бреваля и Моншове, граф де Малеврие, барон де Мони, камергер короля, кавалер Ордена и, подобно деду, губернатор Нормандии, скончавшийся в воскресенье двадцать третьего июля тысяча пятьсот тридцать первого года, как гласит надпись; внизу этот человек, готовый сойти в могилу, то же самое лицо. Едва ли существует, не правда ли, более совершенное изображение тленности всего земного?

Госпожа Бовари поднесла к глазам лорнет. Леон, стоя неподвижно, смотрел на нее, не пытаясь уже сопротивляться ни словом, ни движением; он терял всякое мужество перед этим двойственным союзом болтливости и равнодушия.

Вечный проводник не унимался:

— Рядом с ним плачущая на коленях женщина — его супруга, Диана де Пуатье, графиня де Брезе, герцогиня де Валентинуа, родилась в тысяча четыреста девяносто девятом году, умерла в тысяча пятьсот шестьдесят шестом году; а налево, с ребенком на руках, — Пресвятая Дева. Теперь обернитесь сюда; вот могилы Амбуаз. Оба они были кардиналами и архиепископами Руана. Этот был министром при короле Людовике XII; он сделал много добра для собора. В духовном завещании он отказал тридцать тысяч экю в пользу бедных.

Не переставая болтать, он втокнул их в одну часовню, всю загроможденную балюстрадами, и, отодвинув некоторые из них, открыл какую-то глыбу, которая могла быть и плохо изваянной статуей.

— Она украшала некогда, — продолжал он нараспев, — могилу Ричарда Львиное Сердце, короля Англии и герцога Нормандии. Это кальвинисты, сударь, привели ее в такое состояние. Они по злобе зарыли ее в землю, под архиепископским местом. Взгляните, вот дверь, через которую архиепископ проходит в свои покои. Теперь пойдем смотреть Гаргульские расписные стекла.

Но тут Леон поспешно вынул из кармана серебряную монету и схватил Эмму под руку. Швейцар остолбенел, не понимая этой несвоевременной щедрости, когда приезжему оставалось еще столько примечательных вещей. Поэтому он крикнул ему вдогонку:

— Эй, сударь! А шпиль-то, шпиль...

— Нет, благодарю, — ответил Леон.

— Напрасно, сударь! Высота — четыреста сорок футов, всего на девять футов ниже высочайшей египетской пирамиды. Весь отлит из

чугуна...

Но Леон уже бежал; ему казалось, что любовь его, оцепеневшая за эти два часа в церкви, как ее камни, испарится теперь, как дым, сквозь эту трубу с узорными прорезами, так чудно торчащую на соборе, словно причудливая затея какого-нибудь сумасбродного медника.

— Куда же мы идем? — спросила она.

Не отвечая, он спешил к выходу, и уже госпожа Бовари окунула пальцы в святую воду, когда вдруг они услышали за собою чье-то тяжелое дыхание и мерный стук булавы. Леон обернулся.

— Сударь!

— Что такое?

Он увидел перед собою швейцара, который тащил под мышкой и подпирал для равновесия животом томов двадцать толстых переплетенных книг. То были разные сочинения «о соборе».

«Дурак!» — проворчал Леон и бросился к выходу.

Мальчишка шалил на паперти.

— Сбегай за извозчиком!

Мальчик стрелой помчался по улице Четырех Ветров; несколько минут они стояли друг перед другом, одни и несколько смущенные.

— Ах, Леон!.. Право, я не знаю... должна ли я!..

Она жеманилась. Потом сказала серьезно:

— Это очень неприлично, вы знаете?

— Почему же? — возразил клерк. — В Париже это постоянно делается!

Эти слова, как неопровержимый аргумент, заставили ее решиться.

Извозчик, однако, не ехал. Леон боялся, что Эмма снова войдет в церковь. Наконец фиакр показался.

— Выходите, по крайней мере, через северный портал! — крикнул им швейцар, стоявший на пороге. — Там увидите «Воскресение», «Страшный суд», «Рай», «Царя Давида» и «Грешников в вечном огне».

— Куда ехать прикажете? — спросил кучер.

— Куда хотите! — ответил Леон, подсаживая Эмму в карету. И грузное сооружение тронулось.

Карета направилась по улице Большого Моста, пересекла Площадь Искусств, проехала по Наполеоновской набережной, по Новому мосту и круто остановилась перед статуей Пьера Корнеля.

— Поезжайте дальше! — крикнул голос изнутри.

Карета снова пустилась в путь и от перекрестка Лафайет, увлекаемая спуском, примчалась вскачь на двор железнодорожного вокзала.

— Нет, поезжайте прямо! — крикнул тот же раздраженный голос.

Карета выбралась из-за решетчатой ограды на бульвар и поплелась тихою рысцой под высокими вязами. Кучер отер платком лоб, поставил между колен свою кожаную шляпу и пустил экипаж поперечными аллеями, спускаясь между газонов к реке.

Карета ехала вдоль реки по вымощенной булыжником бечевой дороге, в направлении Уасселя, — ехала долго, миновала острова.

Но внезапно она повернула в сторону, стремительно понеслась через Катрмар, Соттевиль, по Большому Шоссе, по улице Эльбеф и избрала местом своей третьей остановки площадь перед Ботаническим садом.

— Да поезжайте же! — крикнул голос с еще большим бешенством.

И, покотив снова, она проехала по Сен-Северу, по набережной Кюрандье, по Жерновой набережной, еще раз через мост, по площади Марсова поля и задами больничных садов, где на солнышке у террасы, сплошь увитой плющом, греются старики в черных куртках, поднялась по бульвару Буврель, посетила бульвар Кошуаз и предместье Мон-Рибудэ до высот Девилля.

Потом поехала обратно; тут она стала бродяжничать уже без всякого плана, без всякого направления, по воле случая. Ее видели в Сен-Поле, в Лес-кюре, на холме Гарган, в Руж-Марке и на площади Гальярбуа; на улице Малядрери, на улице Динандери, у церквей Св. Романа, Св. Вивиана, у Сен-Маклу, у Сен-Никеза, у таможни, у Старой Башни, у Трех Трубок и у монументального городского кладбища. Время от времени кучер с козел бросал безнадежные взгляды на кабаки. Он не понимал, что за страсть к передвижениям толкала его седоков без отдыха вперед. Едва он придерживал лошадей, как за его спиной раздавались гневные крики. Тогда он хлестал изо всей мочи пару своих взмыленных кляч, не остерегаясь уже ухабов, задевая то за то, то за другое, не обращая ни на что внимания, потеряв всякую бодрость и чуть не плача от усталости, жажды и скуки.

В гавани, среди телег и бочек, на улицах и перекрестках обыватели широко раскрывали глаза, изумленные столь необычным в провинции видом кареты со спущенными шторами, появлявшейся то здесь, то там, замкнутой плотнее, чем могила, и качаемой по ухабам, как судно на море.

Лишь один раз, за городом, когда солнце всего жарче ударяло в старые посеребренные фонари, дрогнули шторы из желтого холста: чья-то рука без перчатки высунулась из-под них и выбросила клочки бумаги, рассеявшейся по ветру и опустившейся, словно стая белых бабочек, на поле клевера все в красном цвету.

Около шести часов вечера карета остановилась в одном из переулков

квартала Бовуазин, из нее вышла женщина и пошла, не поднимая вуали и не оглядываясь.

Глава II

Придя в гостиницу, госпожа Бовари удивилась: дилижанса не было. Ивер прождал ее пятьдесят три минуты и наконец уехал.

Ничто, впрочем, не принуждало ее спешить домой; но она дала слово, что вернется в этот день к вечеру. Шарль ждал ее; и она уже испытывала то чувство трусливой покорности, которое для многих женщин служит вместе и наказанием, и выкупом за супружескую измену.

Живо уложила она чемодан, уплатила по счету, наняла один из стоявших на дворе кабриолетов и, торопя и подбодряя возницу, справляясь ежеминутно, который час и сколько верст проехали, догнала благополучно «Ласточку» у первых строений Кенкампуа.

Едва заняв свой уголок почтовой кареты, она закрыла глаза и открыла их только у подножия холма, откуда завидела издали Фелисите, стоящую на страже у кузницы. Ивер придержал лошадей, и кухарка, дотянувшись до окошка, сказала ей таинственно:

— Сударыня, вам нужно сейчас же пойти к господину Гомэ. Какое-то неотложное дело.

В местечке было тихо, как всегда. На углах улиц виднелись розовые кучки, дымившиеся на воздухе, так как то была пора варки варенья, а все ионвильцы заготавливали его про запас в один и тот же день. Но перед аптекою красовалась куча больших, чем остальные, размеров, настолько превосходившая их, насколько промышленное заведение должно превосходить обывательские очаги, а общественная потребность — личные прихоти.

Эмма вошла. Большое кресло было опрокинуто, и даже «Руанский Маяк» валялся на полу между двумя пестиками. Она отворила дверь из коридора и посреди кухни, среди коричневых банок с чищеной смородиной, среди мелкого и колотого сахара, весов на столе и тазов на плите, увидела всех Гомэ, больших и малых, в передниках до подбородка, с вилками в руках. Жюстен стоял опустив голову, а аптекарь кричал:

— Кто тебе приказал пойти в склад?

— Что такое? В чем дело?

— В чем дело? — отвечал аптекарь. — Варят варенье: оно кипит и едва не ушло вследствие слишком сильного жара; я приказываю принести другой таз. Тогда он, из лени, из нерадения, идет и берет в лаборатории ключ от склада, висевший там на гвозде!

Под «складом» аптекарь разумел чулан на чердаке, заставленный посудой и аптекарскими товарами. Часто проводил он там в одиночестве целые часы, надписывая ярлыки, переливая жидкости, перевязывая банки и бутылки; он смотрел на него не как на простую кладовую, а как на святилище, откуда исходили приготовленные его собственными руками пилюли, крупные и мелкие, настойки, примочки и всякие снадобья, разносившие по всей округе его славу. Ни одна душа не смела переступить порог этого места; он относился к нему с таким почтением, что сам подметал его. Словом, если аптека, доступная всякому, была местом, где он выставял напоказ свою гордость, то чулан был для него убежищем уединенного сосредоточения, эгоистического наслаждения любимым делом. Поэтому легкомыслие Жюстена показалось ему чудовищною дерзостью, и, сам краснее смородины, он повторял:

— Подумайте, ключ от аптекарского склада! Ключ от места, где заперты все кислоты, все щелочи! Пойти туда за запасным тазом! За тазом с крышкой, который никогда, быть может, и не употреблю! Все имеет значение в приемах нашего ответственного, тонкого ремесла. Но, черт возьми, надо же понимать разницу и не употреблять на надобности почти домашние того, что предназначено для фармацевтики! Это все равно как если бы жареную пулярку стали резать скальпелем, как если бы судья...

— Успокойся же, успокойся! — говорила госпожа Гомэ.

Аталия, таща отца за сюртук, кричала:

— Папа, папа!

— Нет, отстаньте от меня, пожалуйста! — продолжал аптекарь. — Оставьте меня в покое! Если так, к черту! Лучше идти, честное слово, в лавочки! Сделай одолжение, плюнь на все! Все ломай, бей! Выпусти всех пиявок! Жарь мальву! Соли в аптекарских банках огурцы! Изорви бандажи!

— Вы, кажется, хотели... — сказала Эмма.

— Сию минуту! Да знаешь ли ты, что ты мог наделать?.. Видел ли ты, что там стоит в углу налево, на третьей полке? Говори, отвечай, выговори хоть слово!

— Не... знаю, — пробормотал юный ученик.

— А, ты не знаешь? Ну так я знаю! Ты видел там синюю склянку с белым порошком, запечатанную желтым сургучом, на которой я собственноручно написал: «Яд». Знаешь ли ты, что в этой склянке? В ней — мышьяк. А ты до нее дотрагиваешься! Достоешь таз, стоящий с нею рядом!

— Рядом? — воскликнула госпожа Гомэ, всплеснув руками. —

Мышьяк? Ты мог всех нас отравить.

Дети подняли крик, словно ощущая уже в своих внутренностях страшные боли.

— Или мог отравить больного! — продолжал аптекарь. — Тебе хотелось, чтобы я попал на скамью подсудимых, чтобы меня предали уголовному суду? Хотелось посмотреть, как меня потащат на эшафот? Неужто ты не знаешь, как я осторожен в деле приготовления лекарств, несмотря на дьявольский навык? Я часто сам ужасаюсь, когда подумаю о своей ответственности! Ибо правительство нас преследует, а нелепое законодательство, которому подчинена наша профессия, — поистине дамоклов меч, висящий над нашими головами!

Эмма уже не пыталась спрашивать, зачем она понадобилась; аптекарь же, задыхаясь, не умолкал:

— Вот как ты отблагодарил за мою доброту к тебе! Вот как ты вознаграждаешь меня за мои прямо отеческие о тебе попечения! Без меня куда бы ты пошел? Что бы ты делал? Кто дает тебе пищу, образование, одежду и все средства, чтобы ты мог со временем с честью занять положение в обществе? Но для этого надо лезть из кожи, надо, как говорится, натереть на руках мозоли. *Fabricando fit faber, age quod agis*. Куй — кузнецом станешь, взялся за дело — делай.

Он приводил латинские цитаты — до того он был возмущен. Он заговорил бы по-китайски, по-гренландски, если бы умел; он переживал один из тех кризисов, когда душа человека невольно раскрывает все свое содержание, подобно океану во время бури, выносящему к прибрежные водоросли, и песок из своих недр.

Он продолжал:

— Я начинаю страшно раскаиваться, что навязал себе на плечи заботы о тебе. Лучше бы я предоставил тебя твоей участи — погрязнуть в нищете и в грязи, где ты родился. Из тебя может выйти разве только пастух. К наукам ты не способен. Еле-еле умеешь наклеить сигнатурку! А живешь у меня словно каноник, как сыр в масле катаешься.

Но тут Эмма обратилась к госпоже Гомэ:

— За мною от вас присылали...

— Ах, боже мой! — воскликнула добрая женщина с печалью в голосе. — Как бы вам это сказать?.. У вас несчастье!

Она не договорила. Аптекарь гремел:

— Опорожни его! Вычисти его! Снеси на место! Поворачивайся!

Он встряхнул Жюстена за ворот; из кармана блузы вывалилась книга.

Мальчик нагнулся. Но Гомэ оказался проворнее и, схватив книгу,

рассматривал ее, тараща глаза и разинув рот.

— «Брачная... любовь»! — прочел он медленно, по слогам. — Превосходно! Очень мило! И еще с картинками!.. Нет, это уж чересчур!

Госпожа Гомэ выступила вперед:

— Нет, не трогай!

Дети хотели было посмотреть картинки.

— Выйдите из комнаты! — вскричал он повелительно.

Они ушли.

Аптекарь сначала прошелся взад и вперед крупными шагами, держа в руке раскрытую книгу, вращая глазами, отдуваясь, весь опухший, близкий к апоплексическому удару. Потом подошел к ученику и стал против него скрестив руки:

— Да у тебя все пороки, несчастный!.. Остерегись, ты скользишь в пропасть!.. Ты, значит, и не подумал о том, что эта гнусная книга может попасть в руки моим детям, заронить губительную искру в их мозг, смутить невинность Аталии, развратить Наполеона! Он уже вырос из ребенка. Уверен ли ты по крайней мере, что они не читали ее? Можешь ли ты мне это засвидетельствовать?..

— Однако, господин Гомэ, — сказала Эмма, — вы хотели мне сообщить что-то?..

— Совершенно верно, сударыня... Ваш тесть скончался.

В самом деле, Бовари-отец два дня тому назад скоропостижно умер от апоплексического удара, встав из-за обеденного стола; в избытке заботливости о чувствительной Эмме Шарль просил Гомэ осторожно сообщить ей это ужасное известие.

Аптекарь заранее обдумал свою фразу, округлил ее, отточил, придал ей ритм; это было совершенство по осторожности и постепенности переходов, по тонкости оборотов и мягкости выражений, но буря гнева смыла все красноречие.

Эмма, не ожидая дальнейших, более подробных сообщений, ушла из аптеки; Гомэ принялся снова за свои обличительные наставления. Впрочем, он уже несколько успокоился и теперь бормотал отеческим тоном, обмахиваясь феской:

— Я не хочу сказать, что отрицаю эту книгу безусловно. Автор ее врач. В ней есть научная часть, знать которую не мешает мужчине, которую, осмелюсь сказать, ему даже необходимо знать. Но позже, позже! Подожди по крайней мере, пока сам ты не станешь мужчиной, пока не установится твой темперамент!

Заслышав стук молотка в дверь, Шарль, поджидавший Эмму, бросился

к ней с распростертыми объятиями и проговорил дрогнувшим от слез голосом:

— Ах, дорогая... — и нежно наклонился поцеловать ее.

Но когда губы его коснулись ее лица, воспоминание о другом охватило ее, и она, вздрогнув, провела рукой по лицу. Однако ответила:

— Да, знаю, знаю...

Он протянул ей письмо, в котором мать без лицемерной чувствительности рассказывала событие. Она сожалела только о том, что супруг ее не удостоился религиозного напутствия и умер в «Дудевиле», на улице, при выходе из ресторана, после патриотического обеда отставных офицеров.

Эмма отдала письмо мужу, а за обедом из приличия выказала некоторое отвращение к еде. Но так как Шарль ее упрашивал, то она принялась с решительностью кушать, между тем как он сидел напротив, недвижимый и угнетенный.

Время от времени, поднимая голову, он взглядывал на нее долгим и скорбным взглядом. Однажды он даже вздохнул:

— Как бы мне хотелось увидеть его еще раз!

Она молчала. Наконец поняла, что следует что-нибудь сказать, и спросила:

— Сколько лет было твоему отцу?

— Пятьдесят восемь!

— А!

Разговор пресекся.

Через четверть часа Шарль прибавил:

— Бедная матушка!.. Что-то с нею теперь будет?

Она ответила жестом, означавшим неведение. Ее упорное безмолвие Шарль объяснил себе ее глубокою горестью и стал принуждать себя к молчанию, чтобы не растревать этой трогательной печали. Тем не менее, стараясь стряхнуть собственную грусть, спросил:

— Ну как же, веселилась ли ты вчера?

— Да.

Когда со стола убрали скатерть, Бовари не встал. Эмма осталась тоже сидеть, и по мере того, как она вглядывалась в него, однообразие этого зрелища вытесняло из сердца ее всякую жалость. Он казался ей таким немощным, слабым, ничтожным — человеком жалким во всех отношениях. Как от него отделаться? Как бесконечно тянется этот вечер! Что-то туманящее, словно пары опиума, погрузило ее в оцепенение.

В сенях послышался стук деревянной палки о плиты. То Ипполит

принес барынин багаж. Чтобы сложить его на пол, он с усилием описал своею деревяшкой четверть круга.

«Он уже и забыл про свою ногу!» — подумала она, глядя на беднягу, с рыжих волос которого катился пот.

Бовари искал в кошельке мелкую монету и не понимал, по-видимому, сколько унижения для него крылось в самом присутствии этого человека, стоявшего перед ним как живой укор его непоправимой бездарности.

— А, какой у тебя хорошенький букет! — воскликнул он, заметив на камине фиалки Леона.

— Да, — ответила она равнодушно, — я купила эти цветы давеча... у нищей.

Шарль взял фиалки и, освежая над ними глаза, красные от слез, нежно вдыхал их аромат. Она с живостью отняла у него букет, чтобы поставить его в стакан с водою.

На следующий день приехала старуха Бовари. Мать и сын долго плакали. Эмма под предлогом распоряжений по хозяйству исчезла.

Через день нужно было подумать о трауре. Обе уселись с рабочими ящиками под речкой, в беседке.

Шарль вспоминал отца и удивлялся, что находит в себе столько нежной привязанности к человеку, которого он до сих пор, казалось, так мало любил.

Старуха Бовари обращалась мыслью к своей супружеской жизни. Худшие дни их прошлого казались ей теперь завидными. Все затушевывалось безотчетною жалостью, плодом долголетней привычки; и время от времени, между тем как она проталкивала иголку, крупная слеза скатывалась из ее глаз и, повиснув, дрожала на кончике носа.

Эмма думала о том, что не прошло еще и двух суток с той поры, как она и он были вместе, вдали от света, опьяненные страстью, и не могли налюбоваться друг другом. Она старалась оживить в памяти мельчайшие подробности этого пронесшегося дня. Присутствие свекрови и мужа ее стесняло. Ей хотелось ничего не слышать, ничего не видеть, ничем не нарушать своей любовной сосредоточенности, которая, как она ни охраняла ее, рассеивалась от прикосновений внешнего мира.

Она распарывала подкладку платья, и обрезки сыпались вокруг нее наземь; старуха Бовари, не поднимая головы, скрипела ножницами; Шарль, в мягких туфлях, в старом коричневом сюртуке, заменявшем ему халат, слонялся тут же, засунув руки в карманы, и тоже молчал; возле них Берта, в белом передничке, сгребала на дорожке лопаткой песок.

Вдруг в калитке появился галантерейный торговец Лере.

Он пришел предложить свои услуги «по случаю горестного события». Эмма ответила, что думает обойтись без покупок. Торговец не отступал.

— Прошу извинения, — сказал он, — я хотел бы поговорить наедине. — И шепотом прибавил: — По поводу того дела... знаете?

Шарль густо покраснел до ушей.

— Ах да... действительно! — Смущенный, он обратился к жене: — Не можешь ли ты... дорогая?..

Она, по-видимому, поняла, так как медленно встала, а Шарль сказал матери:

— Пустяки! Какие-нибудь мелочи по хозяйству.

Он не хотел, чтобы мать знала про вексель, боясь услышать выговор.

Лере, как только они оказались вдвоем, в достаточно определенных выражениях поздравил Эмму с получением наследства, потом стал болтать о том о сем, о фруктовых деревьях, об урожае, о собственном здоровье, которое по-прежнему сильно прихрамывало. Ведь и то сказать, он бьется как рыба об лед, утомляется — и все же, вопреки всем толкам, едва сводит концы с концами.

Эмма не прерывала его. Она так ужасно скучала два последних дня!

— А вы совсем поправились? — продолжал он. — Я видывал, как нелегко приходилось вашему мужу в иные минуты. Славный он человек, хотя у нас и бывали с ним кое-какие недоразумения.

Она спросила: «Какие же?» — так как Шарль скрыл от нее спор из-за поставленных товаров.

— Да вы же все это знаете! — сказал Лере. — Это вышло из-за ваших маленьких фантазий — из-за тех чемоданов.

Он надвинул на глаза шляпу и, заложа руки за спину, улыбаясь и посвистывая, глядел на нее в упор — невыносимо! Подозревает ли он что-нибудь? Она терялась в пугающих догадках. Наконец он промолвил:

— Впрочем, все же мы кое-как ладили, а сегодня как раз я хотел условиться с ним об одной сделке.

Он предлагал переписать вексель, выданный ему Бовари. Впрочем, пусть доктор поступит как ему заблагорассудится, не стоит из-за этого тревожиться, особенно теперь, когда ему предстоит столько хлопот.

— И лучше всего было бы ему сложить все эти хлопоты на кого-нибудь другого, например на вас; выдав вам доверенность, он был бы спокоен, а мы с вами обделали бы вместе наши делишки...

Она не понимала. Он замолчал. Потом, переводя разговор на товары, заявил, что барыня непременно должна что-нибудь взять. Он пришлет ей черного барежа двенадцать метров на платье.

— То, что сейчас на вас, хорошо для дома. Но вам нужно другое, для визитов. Я, как вошел, сразу приметил. У меня, я вам скажу, глаз американца.

Материю он не прислал, а принес сам. Потом пришел еще раз, для мерки. Приходил и под другими предложениями, всякий раз стараясь быть любезным, услужливым, завладевая волею госпожи Бовари, как сказал бы Гомэ, и не забывая при удобном случае ввернуть намек о пользе доверенности. Про вексель он не напоминал, а она забыла. Шарль в пору ее выздоровления, правда, говорил ей что-то о своем денежном обязательстве, но она столько передумала с того времени, столько испытала волнений, что уже об этом не помнила. К тому же она остерегалась заводить какие бы то ни было деловые разговоры. Старуха Бовари была этим изумлена и приписала перемену в настроении невестки религиозному чувству, овладевшему ею в дни болезни.

Но едва теща уехала, как Эмма не замедлила удивить Бовари своим практическим смыслом. Надобно было навести справки, проверить закладные, решить, следует ли назначить ликвидацию или продажу с аукциона. Она сыпала наудачу техническими терминами, произносила громкие слова о порядке, о будущности, о предусмотрительности и настоятельно преувеличивала трудности, связанные с закреплением прав на наследство; а в один прекрасный день представила мужу проект общей доверенности, заключавшей полномочие «управлять и заведовать всеми его делами, заключать займы, выдавать и переписывать векселя, производить платежи» и т. д. Уроки Лере оказались не бесполезными.

Шарль простодушно осведомился, откуда у нее эта бумага.

— От господина Гильомена. — И с величайшим в мире хладнокровием она прибавила: — Я не особенно ему доверяю. Про нотариусов идет дурная молва. Следовало бы, может быть, с кем-нибудь посоветоваться... Но мы никого не знаем, разве... Нет, никого!

— Не спросить ли Леона? — сказал Шарль, подумав.

Но столкнуться в письмах было трудно. Она вызвалась съездить к нему. Шарль благодарил и не соглашался. Она настаивала. Произошел пылкий обмен великодушной предупредительности. Наконец тоном напускного своенравия она воскликнула:

— Нет, пожалуйста, я поеду.

— Как ты добра! — сказал он, целуя ее в лоб.

На другой же день она села в «Ласточку», направляясь в Руан к господину Леону за советом и пробыла там три дня.

Глава III

То были три полных, упоительных, великолепных дня, вместившие в себе целый медовый месяц.

Жили они в «Булонской гостинице», в гавани. Жили с закрытыми ставнями, с запертыми дверьми, среди цветов, рассеянных по полу, и сиропов со льдом, которые подавались им с утра. Под вечер они брали крытую лодку и ехали обедать на острова.

Был час, когда по верфям стучат молотки конопатчиков, ударяя в кузовы судов. Смоляной дым подымался из-за деревьев, а на реке широкие масляные пятна неровно волновались в багровых лучах солнца, словно плавали по ней бляхи флорентийской бронзы.

Любовники причаливали среди укрепленных у берега барок, длинные канаты которых, свешиваясь над берегом, задевали слегка верх их лодки. Городской шум незаметно отдалялся: грохот телег, гомон голосов, лай собак на палубах. Она развязывала ленты шляпки, и они выходили на свой остров.

Усаживались в низкой столовой кабачка, над крыльцом которого висели черные сети. Ели поджаренную корюшку, сливки, вишни; лежали на траве, целовались в сторонке, под тополями, и, как два Робинзона, желали бы вечно жить в этом местечке, которое в их блаженстве казалось им прекраснее всего на земле. Не в первый раз видели они деревья, голубое небо, луг, слышали плеск воды и шелест ветерка в листве; но никогда не восхищались они всем этим, как теперь, словно раньше природа для них не существовала или словно она стала прекрасной только с минуты утоления их желаний.

К ночи они возвращались домой. Лодка огибала берега островов. Они сидели в глубине, в сумраке, молча. Весла стучали о железные уключины, и этот звук отмечал безмолвие, как мерные удары метронома, меж тем как тянувшийся за кормою канат не переставал плескаться по воде с тихим журчанием.

Однажды выплыла луна; они не преминули обменяться красивыми фразами, находя светило полным меланхолической поэзии. Эмма даже запела:

— Ты помнишь? Вечер был; мы плыли, и луна...

Ее слабый и мелодический голосок замирал на воде; ветер относил рулады, которые реяли мимо Леона, как всплески крыльев.

Она сидела прямо против него, прислонясь к переборке лодки, куда сквозь открытые ставни светила луна. Складки ее черного платья ложились веером; она казалась тоньше и выше. Лицо было приподнято, руки сложены, глаза устремлены к небу. Тень плакучих ив скрывала ее порою, потом вдруг она снова являлась, как видение, в лунном свете.

Леон, сидя на дне лодки у ее ног, поднял шелковую пунцовую ленту. Лодочник посмотрел на нее и сказал:

— Вероятно, обронил кто-нибудь из компании, что я возил намедни. Привалила целая толпа веселого народа, мужчины и дамы, с пирожными, с шампанским, с флейтами, со всякой всячиной, — целый карнавал! Особенно один был хорош, высокий, красивый, с маленькими усиками, весельчак и забавник. К нему все приставали: «Ну же, расскажи что-нибудь... Адольф... или Родольф, что ли...»

Эмма вздрогнула.

— Тебе дурно? — спросил Леон, придвигаясь к ней.

— О, пустяки. Ночная свежесть, должно быть.

— От такого тоже женщины, поди, не бегают, — добавил матрос вполголоса, думая сказать приезжему любезность. И, поплевав на ладони, опять взялся за весла.

Пришлось, однако, расстаться! Прощанье было грустное. Он должен был писать по адресу тетки Роллэ; и Эмма дала ему столь подробные указания по поводу двойных конвертов, что он был приведен в восторг ее любовным коварством.

— Итак, ты уверяешь меня, что все хорошо? — спросила она, целуя его в последний раз.

— Да, разумеется! «Но почему, — подумал он, идя домой один по улицам, — почему она так настаивает на этой доверенности?»

Глава IV

Леон вскоре принял вид превосходства в сношениях с товарищами, стал избегать их общества и окончательно забросил свои дела. Он ждал ее писем, перечитывал их, сам писал ей. Он вызывал перед собой ее образ всею силой своей страсти и памяти.

Не ослабленное разлукой желание видеть ее, напротив, все росло, и раз в субботу утром он убежал со службы.

Когда с вершины холма увидел он в долине церковную колокольню с жестяною флюгаркой, вертевшейся по ветру, то ощутил в душе ту усладу, смесь торжествующего тщеславия и себялюбивого умиления, какую должен испытывать миллионер, навестивший родную деревню.

Он пошел бродить вокруг ее дома. В кухне был виден огонь. Он ждал, не появится ли за занавесками ее тень. Никто не появился.

Тетка Лефрансуа, увидя его, разохалась и нашла его «выше ростом и худощавее», а Артемиза заявила, что он «возмужал и посмуглел».

Он пообедал, как в былые времена, в маленькой столовой, но один, без сборщика податей. Бинэ наскучило вечно ждать приезда «Ласточки», и он окончательно перенес свой обед на час раньше; обедал он теперь ровно в пять, но все продолжал ворчать на постоянное запаздывание «старого рыдвана».

Леон наконец собрался с духом и постучал в дверь доктора. Барыня была у себя в комнате, откуда сошла только через четверть часа. Барин, кажется, был рад его видеть и не двинулся с места ни в этот вечер, ни весь следующий день.

Он увиделся с нею наедине поздно вечером за садом, в переулочке — в том же переулочке, как с тем, с другим! Была гроза, и они разговаривали под зонтиком при свете молний.

Разлука становилась невыносимой.

— Легче умереть! — говорила Эмма. Она извивалась в рыданиях, припав к его плечу. — Прощай!.. Прощай!.. Когда я тебя увижу?

Оба опять вернулись, чтобы обняться еще раз; она дала ему обещание, как можно скорее и во что бы то ни стало выдумать предлог для постоянных свиданий на свободе, хоть раз в неделю. Эмма не сомневалась в удаче, она была полна надежд: скоро она добудет денег.

Поэтому она приобрела для своей комнаты пару желтых с широкими полосками гардин, дешевизну которых выхвалял ей Лере, и даже

размечталась о ковре, а Лере, согласившись, что «это уж не бог весть как трудно», учтиво взялся достать и ковер. Она уже не могла обходиться без его услуг; раз двадцать на день посылала за ним, и он тотчас бросал дела и являлся безропотно. Никто не понимал и того, зачем тетка Роллэ завтракает каждый день у барыни и даже заходит повидаться с нею наедине. Как раз в это время, то есть в начале зимы, в ней вспыхнула вдруг особая страсть к музыке.

Однажды вечером, когда Шарль слушал ее, она четыре раза кряду начинала сызнова один и тот же отрывок и всякий раз была недовольна, тогда как он, не замечая разницы в игре, восклицал:

— Браво!.. Очень хорошо!.. Ты не права! Продолжай!

— Ах нет! Это ужасно! У меня одеревенели пальцы!

На другой день он попросил ее «сыграть еще что-нибудь».

— Хорошо, если это доставляет тебе удовольствие!

И Шарлю пришлось признать, что она действительно немного отстала. Она путала ноты, сбивалась; потом вдруг остановилась и сказала:

— Ах! Все пропало. Мне следовало бы брать уроки, но... — Она закусила губы и прибавила: — Двадцать франков за урок, это слишком дорого!

— Да, действительно... дороговато... — сказал Шарль, глупо усмехаясь. — Но, мне кажется, можно найти и подешевле, есть ведь артисты, которые не очень знамениты, но стоят знаменитостей.

— Поищи таких, — сказала Эмма.

Вернувшись на другой день домой, он взглянул на нее лукаво и не удержался, чтобы не сказать:

— Как ты иногда бываешь упряма! Я был сегодня в Барфешере. И что же! Госпожа Льежар уверяет, что ее три дочери, обучающиеся в монастыре «Милосердие», берут уроки музыки по пятьдесят су за урок, и к тому же у известной учительницы!

Она пожала плечами и более не открывала рояля. Но, проходя мимо инструмента (особенно если Бовари оказывался поблизости), вздыхала:

— Ах, бедный мой рояль!

Когда приходили гости, она неуклонно заявляла, что бросила музыку и что не может больше заниматься ею по слишком серьезным причинам. Начинались сожаления. Как жалко, ведь у нее такие способности! Принимались даже уговаривать Бовари. Стидили его, особенно аптекарь.

— Вы не правы! — говорил он. — Никогда не следует пренебрегать природными дарованиями. Сверх того, подумайте, друг мой, что, побуждая госпожу Бовари заниматься, вы тем самым сберегаете будущие затраты на

музыкальное образование вашей дочери. Я нахожу, что матери должны сами учить своих детей. Это мысль Руссо, быть может все еще слишком новая, но ей суждено в будущем восторжествовать, я в этом убежден, так же как и мысли о кормлении детей материнским молоком или идее оспопрививания.

Итак, Шарлю пришлось снова заговорить с Эммой о музыке. Она с горечью ответила, что лучше продать рояль. Но видеть, как его унесут, этот бедный инструмент, доставлявший ей столько тщеславных радостей, было для нее чем-то вроде частичного самоубийства.

— Если бы ты пожелала, — сказал он, — взять иногда урок, знаешь ли, этак время от времени, то ведь это, в конце концов, уже не было бы так разорительно.

— Уроки, — возразила она, — только тогда полезны, когда их берут исправно.

Вот каким способом добилась она от мужа разрешения ездить раз в неделю в город для свиданий с любовником. По истечении месяца многие нашли, что она заметно усовершенствовалась.

Глава V

Это бывало по четвергам. Она вставала спозаранку и неслышно одевалась, из боязни разбудить Шарля, который стал бы упрекать ее за слишком ранние сборы. Потом ходила взад и вперед по комнате, останавливалась у окон, смотрела на площадь. Тусклый рассвет забирался под своды рынка, и над аптекой с запертыми ставнями выступали в бледном мерцании крупные литеры вывески.

Когда часы показывали четверть восьмого, она направлялась к гостинице «Золотой Лев», где Артемиза, зевая, отпирала ей дверь. Служанка выгребала из-под золы уголья для барыни. Эмма ждала на кухне, одна. Время от времени она выходила на двор. Ивер неторопливо запрягал лошадей, выслушивая тетку Лефрансуа, которая, просунув в форточку голову в коленкоровом чепце, давала ему столько поручений и сопровождала их столькими наставлениями, что всякий другой давно сбился бы с толку. Эмма постукивала подошвами ботинок о плиты двора.

Наконец, съев суп, облачившись в род халата из грубой шерсти, раскурив трубку и взяв в руку кнут, Ивер удобно усаживался на козлах.

«Ласточка» выезжала мелкой рысцой и на протяжении первых трех четвертей мили то и дело останавливалась, забирая путешественников, ожидавших ее у дороги перед калитками дворов. Тех, что предупредили с вечера, приходилось дожидаться; иные еще не поднимались с постели; Ивер звал, кричал, ругался, потом слезал с козел и начинал колотить в ворота. Ветер свистел в щелях форточек.

Понемногу четыре скамьи заполнялись, карета катилась, мелькали рядами яблони, и дорога между двумя рвами с желтоватой водой бежала, суживаясь, к горизонту.

Эмма знала ее наизусть: знала, что за лугом будет столб, потом вяз, рига и сторожка. Время от времени, чтобы доставить себе удовольствие неожиданности, она закрывала глаза, но ей не удавалось потерять отчетливое чувство расстояния, которое оставалось проехать. Наконец кирпичные здания встречались чаще, колеса катились по гулкой почве. «Ласточка» скользила среди садов, в просветах листвы можно было заметить статуи, раковины, подстриженные тисовые деревья, качели. И вдруг открывался город.

Спускаясь амфитеатром и утопая в тумане, он смутно ширился за рекой с ее мостами. За ним поля поднимались однообразно в гору до

неопределенно далекой черты, где начиналось бледное небо. С этой высоты весь пейзаж казался недвижимым, как картина; суда на якоре сгущивались в одном углу; река описывала дугу у подножия зеленых холмов, а продолговатые острова казались на воде огромными заснувшими черными рыбами. Фабричные трубы выкидывали черно-коричневые султаны, расплывавшиеся на конце. Было слышно хриплое дыхание литейных заводов вместе с ясным перезвоном церквей, прорезавших мглу остриями колоколен. Голые деревья бульваров казались фиолетовым кустарником среди домов, а влажные от дождя крыши блистали на разной высоте, соответственно уровню кварталов. Иногда порыв ветра гнал облака к возвышенности Святой Екатерины, словно воздушные волны, безмолвно разбивавшиеся о береговой утес.

Голова кружилась у Эммы от этого скопления человеческих существований и сердце начинало усиленно биться, словно она вдыхала одновременно испарения всех угадываемых ею страстей, исходивших от ста двадцати тысяч жизней, что трепетали там, внизу. Любовь ее росла перед этим пространством и наполнялась смятением от доносившихся к ней неясных ропотов. Она изливала ее на площади, на бульвары, на улицы, и старинный нормандский город лежал перед ее взором, подобный какой-то необъятной столице, подобный Вавилону, и она въезжала в этот Вавилон. Опершись обеими руками об окошко почтовой кареты, она вдыхала свежий ветер; тройка скакала, колеса визжали по камням на грязной мостовой, дилижанс колыхался, Ивер покрикивал издали на встречные повозки, меж тем как горожане, прошедшие ночь в лесу Гильом, спокойно спускались с холма в маленьких семейных повозках.

У заставы была остановка. Эмма отвязывала деревянные подошвы, переменяла перчатки, поправляла шаль и, проехав шагов двадцать дальше, выходила из «Ласточки».

Город пробуждался. Приказчики, в низких шапочках, вытирали окна магазинов; женщины, нагруженные корзинами, звонко выкрикивали на перекрестках улиц. Эмма шла, потупив глаза, держась ближе к стенам и улыбаясь от удовольствия под черной опущенной вуалью.

Боясь, чтобы ее не узнали, она обыкновенно не решалась идти кратчайшей дорогой. Колесила по темным переулкам и, обливаясь потом, добиралась до нижнего конца Национальной улицы, близ находящегося там фонтана. Это квартал театров, кабачков и публичных женщин. Нередко ее обгоняла телега, на которой везли дрожащие декорации. Гарсоны, в передниках, усыпали песком тротуары между зелеными деревьями. Стоял запах абсента, сигар и устриц.

Она сворачивала на другую улицу и узнавала его по вьющимся волосам, выбивавшимся из-под шляпы.

Леон шел дальше по тротуару. Она шла за ним до гостиницы. Он поднимался по лестнице, отпирал дверь, входил... Как они прижимались друг к другу!

За поцелуями сыпались слова. Сообщались все горести истекшей недели, предчувствия, тревоги из-за писем; но теперь все было забыто, они глядели друг другу в глаза, смеялись сладострастным смехом, называли друг друга нежными именами.

Кровать красного дерева, огромная, имела вид ладьи. Складки красного шелкового полога нависали низко над широким изголовьем; и ничто в мире не могло быть прелестнее ее черноволосой головки и белой кожи на фоне этого пурпура, когда стыдливым жестом она прижимала к груди обнаженные руки, закрывая ладонями лицо.

Теплая комната, с заглушающим шаги ковром, забавными украшениями и мягким светом, казалась как нельзя лучше приспособленной для любовных интимностей. Стержни гардин кончались стрелами, медные розетки и шары у каминной решетки вдруг вспыхивали, когда в этот уют заглядывало солнце. На камине, между канделябрами, лежали две большие розовые раковины, в которых, если их приложишь к уху, слышится шум моря.

Как любили они эту милую комнату, веселую, несмотря на ее немного полинявшую пышность! Мебель находили они всякий раз на старом месте, а под каминными часами порой и шпильки, забытые Эммой в прошлый четверг. Они завтракали у огня на круглом столике, выложенном палисандровым деревом. Эмма резала мясо, накладывала ему куски на тарелку, шала и ласкаясь; смеялась звонким, вызывающим смехом, когда пена шампанского проливалась из тонкого бокала на ее пальцы, униженные перстнями. Они были так поглощены чувством взаимного обладания, что воображали себя в собственном доме, где они проживут до самой смерти вечно юными супругами. Они говорили: «наша» комната, «наш» ковер, «наши» кресла, и она говорила даже: «наши» туфли про подарок Леона — каприз, пришедший ей однажды в голову. То были розовые атласные туфельки с лебяжьей опушкой. Когда она садилась к нему на колени, ее нога висела, не доставая до полу, и грациозный башмачок, без задка, держался на одних пальцах босой ножки.

Леон впервые узнавал невыразимую прелесть женского изящества. Ему были новы эта грация речи, этот оттенок скромной сдержанности в одежде, эти позы прикорнувшей голубки. Он восхищался возвышенными

порывами ее души и кружевами ее юбок. Разве, впрочем, она не была настоящая «светская женщина», и к тому же замужняя? — разве то не была настоящая «связь»?

Переменчивостью нрава и настроения — то мечтательная и таинственная, то веселая и говорливая, то подолгу безмолвная, то вспыльчивая, то равнодушная, — она непрерывно вызывала в нем тысячу желаний, пробуждала смутные влечения и воспоминания. Она была любовница всех романов, героиня всех драм, неопределенная «Она» всех лирических поэм. На ее плечах он улавливал янтарный колорит «купающейся одалиски»; у нее была длинная талия, как у средневековых дам, владельниц феодальных замков; она походила и на «бледную женщину из Барселоны», но прежде всего она была ангел!

Когда он глядел на нее, ему казалось, что душа его, стремясь к ней, окружает волнами ее голову и, послушная сладостному притяжению, изливается в белизну ее груди.

Он падал к ее ногам и, облокотясь о ее колено, смотрел на нее с улыбкою снизу вверх.

Она наклонялась к нему и говорила задыхаясь, как опьяненная:

— О, не шевелись, не говори! Гляди на меня! Из глаз твоих струится какая-то сладость, она вливает в меня такое счастье!

Называла его дитятею:

— Дитя, любишь ли ты меня? — и, не дожидаясь ответа, стремительно и страстно тянулась к нему губами.

На часах был изображен бронзовый купидон, который, жеманясь, поддерживал ручками золоченую гирлянду. Они часто над ним смеялись; но в минуты разлуки все приобретало в их глазах необычайную серьезность.

Стоя недвижно друг перед другом, они повторяли:

— До четверга!.. До четверга!..

Она вдруг охватывала обеими руками его голову, быстро целовала в лоб и со словами: «Прощай!» — выбегала на лестницу.

Она шла на Театральную улицу, к парикмахеру, чтобы поправить свою прическу. Спускался вечер; в туалетной зале зажигали газ.

Она слышала звонок из театра, собиравший актеров на сцену, видела, как мимо проходили мужчины с бледными лицами и женщины в полинялых платьях, исчезающие в дверях аптекарского подъезда.

Было жарко в низенькой комнате, где среди париков и помад гудела печка. Запах накаленных щипцов и сальные руки, распорядившиеся ее головой, вскоре дурманили ее, и она задремывала под своим пеньюаром.

Нередко мастер, причесывая ее, предлагал ей билеты в маскарад. Потом она уходила; подымалась по улицам, добиралась до гостиницы «Красный Крест»; доставала свою деревенскую обувь, запрятанную утром под скамеечку, и усаживалась на свое место между нетерпеливыми пассажирами. Иные выходили перед началом подъема в гору. Она оставалась в дилижансе одна.

С каждым поворотом все шире открывалось море газовых огней, разостлавших мерцающее зарево над смутною громадой города. Эмма становилась на колени на подушку сиденья и вперяла взор в этот светящийся туман. Она плакала, звала Леона, называла его нежными именами, посылала ему поцелуи, уносимые ветром.

На горе жил нищий, бродивший с палкой среди дилижансов. Куча лохмотьев покрывала его плечи, и круглая, как таз, старая продырявленная шляпа затеняла его лицо; но когда он ее снимал, то на месте век открывались две зиявшие окровавленные орбиты. Мясо висело кусками, и из них сочились жидкость, застывавшая зелеными комьями у него на носу с черными, судорожно раздувавшимися ноздрями. Прося о подаении, он запрокидывал голову с идиотским смехом; тогда синеватые зрачки его, перебегая и закатываясь вверх, почти соприкасались у висков с краями живой язвы.

Бегая за дилижансами, он напевал песенку:

— Волнует летний томный зной
Желанья девы молодой...

Дальше речь шла о птичках, о солнце, о зелени...

Иногда он вдруг оказывался, с непокрытой головой, позади Эммы. Она вскрикивала и отшатывалась в сторону. Ивер подшучивал над ним. Предлагал ему снять балаган на ярмарке Сен-Ромен или со смехом допрашивал, как поживает его возлюбленная.

Иногда на ходу дилижанса вдруг просовывалась в окно его шляпа, а он сам, цепляясь другою рукою, взбирался на подножку между грязных колес. Голос его, сначала слабый и детски пискливый, становился пронзительным. Звуки тянулись в потемках, как бессловесная жалоба непонятной печали, и сквозь звон бубенчиков, шелест деревьев и грохот колымаги в нем слышалось что-то далекое, потрясавшее Эмму. Этот голос проникал ей в душу, как вихрь врывается в пропасть, и уносил ее в пространства беспредельной грусти. Но Ивер, заметив лишний вес с одной стороны

экипажа, доставал слепого бичом.

Плеть задевала по ранам, и он с рычанием скатывался в грязь.

Мало-помалу пассажиры «Ласточки» засыпали, одни с раскрытыми ртами, другие — уставив в грудь подбородки, третьи — склонясь на плечо к соседу или же просунув руку в ремень и мерно покачиваясь в такт движению экипажа; отблеск фонаря, качавшегося снаружи, у самого хвоста коренника, проникал внутрь сквозь коричневые коленкоровые занавески и отбрасывал кровавые тени на неподвижные лица спящих. Эмма, опьяненная горем, дрожала от холода под своим плащом; она чувствовала, что ноги ее стынут, что застывает душа в смертельном оцепенении.

Дома поджидал ее Шарль; «Ласточка» всегда запаздывала по четвергам. Наконец-то едет барыня! Мимоходом и наскоро она целовала свою малютку. Обед еще не готов, — не беда! Она извиняла кухарку. Теперь этой девке, по-видимому, все разрешалось.

Иногда муж, заметив ее бледность, спрашивал, не больна ли она.

— Нет, — отвечала Эмма.

— Но ты какая-то странная сегодня, — возражал он.

— Вовсе нет, пустяки, пустяки!

Бывали и такие дни, когда, едва войдя в дом, она тотчас же поднималась в свою комнату; Жюстен, торчавший там, начинал снова еле слышными шагами, прислуживая ей ловчее опытной горничной. Он ставил ей свечу, приносил спички и книгу, расправлял ночную кофточку, откидывал одеяло.

— Ну хорошо, — говорила она, — уходи!

А он стоял, опустив руки и широко раскрыв глаза, словно опутанный бесчисленными нитями внезапной грезы.

Следующий день всегда бывал ужасен, а ближайшие за ним — еще невыносимее: начиналось нетерпение вновь упиться недавним счастьем, острое вожделение, распаляемое привычными образами, которое лишь на седьмой день находило себе наконец исход и утоление в ласках Леона. В нем же страсть рождала восторги умиления и благодарности. Эмма наслаждалась этою любовью тайно и сосредоточенно, поддерживала ее всевозможными уловками своей нежности и уже трепетала ее утраты.

Не раз говорила она ему с тихою грустью:

— Ах, ты меня бросишь!.. Женишься!.. Поступишь как другие.

Он спрашивал:

— Кто эти другие?

— Все мужчины, — отвечала она. И прибавляла, отталкивая его томным движением: — Все вы бесчестные!

Однажды, когда они философически беседовали о земных разочарованиях, она сказала (с целью испытать его ревность или, быть может, уступая потребности высказаться), что в былое время, до него, любила другого. «Но не так, как тебя!» — поспешила она прибавить и клялась именем дочери, «что между ними ничего не было».

Молодой человек поверил, но все же начал расспрашивать: он желал знать, кто был тот, другой.

— Он был капитан корабля, друг мой.

Не преграждал ли этот ответ все розыски? И в то же время не возвышало ли ее в глазах Леона это мнимое обаяние, будто бы оказанное ею на человека, по всей вероятности мужественного, воинственного и привыкшего к успеху у женщин?

Тогда клерк почувствовал все ничтожество своего общественного положения; он стал завидовать эполетам, чинам, орденам. Все это должно ей нравиться: он это угадывал по ее склонности жить на широкую ногу.

Между тем Эмма умалчивала о многих своих сумасбродных мечтаниях: например, о желании располагать для поездок в Руан голубым кабриолетом, английской лошадью и грумом в сапогах с отворотами. Эту фантазию внушил ей Жюстен, умолявший ее взять его к себе в лакеи; и если это лишение не умаляло радостей приезда, то всякий раз, без сомнения, усиливало горечь возвратного пути.

Часто, когда они заводили разговор о Париже, она вздыхала:

— Ах, как хорошо бы мы там пожили!

— Но разве мы не счастливы? — нежно спрашивал молодой человек, глядя ее волосы.

— Да, ты прав, — говорила она, — я сумасшедшая, поцелуй меня!

С мужем она была милее, чем когда-либо, готовила для него фисташковый крем и по вечерам играла вальсы. Он считал себя счастливейшим из смертных, и Эмма жила не зная тревог, как вдруг однажды вечером он спросил:

— Твоя учительница музыки ведь мадемуазель Ламперер?

— Да.

— Так я встретился с нею только что у госпожи Льежар. Спросил про тебя: она тебя не знает.

То был словно удар грома! Тем не менее она ответила спокойно:

— Значит, она забыла, как меня зовут?

— А может быть, — сказал он, — в Руане несколько учительниц музыки с этою фамилией?

— Возможно! — И с живостью добавила: — У меня, однако, есть от

нее расписки! Посмотри!

И она пошла к письменному столу, перерыла ящики, перевернула вверх дном бумаги и так наконец захлопоталась, что Шарль уже упрашивал ее не беспокоиться из-за каких-то несчастных квитанций.

— О, я их отыщу, — сказала она.

И в самом деле, в следующую пятницу Шарль, натягивая сапог в темном чулане, где висело его платье, нащупал между кожей сапога и чулком листок бумаги, вытащил его и прочел:

«Получено за три месяца уроков и в уплату за издержки на ноты и пр. шестьдесят пять франков.

Фелисия Ламперер,
учительница музыки».

— Черт! Как могла эта расписка очутиться у меня в сапоге?

— Свалилась, должно быть, из картонки со старыми счетами, которая стоит на краю полки, — ответила она.

С этой минуты жизнь ее превратилась в сплошную ложь, которою она, как покрывалом, окутывала и прятала свою любовь.

Ложь стала для нее потребностью, манией, наслаждением, так что когда она утверждала, что прошла вчера по правой стороне улицы, можно было быть уверенным, что она шла по левой.

Однажды утром, как только она уехала, одетая, по обыкновению, довольно легко, повалил снег. Шарль, следя из окна за погодой, увидел, что аббат Бурнизьен выезжает в Руан в шарабане Тюваша. Доктор поспешно вынес теплую шаль и просил священника тотчас по приезде в гостиницу «Красный Крест» передать ее его жене! В гостинице Бурнизьен не замедлил осведомиться о супруге ионвильского врача. Трактирщица ответила, что эту даму она редко видит в своем заведении. Поэтому вечером, встретясь с госпожою Бовари в «Ласточке», священник рассказал ей о своем затруднении, не придавая, впрочем, этому обстоятельству никакого значения, так как вслед затем начал расхваливать соборного проповедника в Руане, молва о котором тогда гремела и которого все дамы бегали слушать.

Но пусть священник не потребовал у нее разъяснений — другие впоследствии могли оказаться менее скромными: Эмма сочла нужным останавливаться впредь в «Красном Кресте», чтобы деревенские знакомые, встречаясь с нею на лестнице, не могли ничего заподозрить.

Раз, впрочем, Лере встретил ее при выходе из «Булонской гостиницы»

под руку с Леоном; она испугалась, воображая, что он станет болтать. Он не был так глуп.

Зато через три дня он вошел в ее комнату, запер за собою дверь и сказал:

— Мне нужно было бы получить денег.

Она заявила, что денег у нее сейчас нет. Лере разохался и напомнил ей все оказанные им одолжения.

В самом деле, из двух векселей, подписанных Шарлем, Эмма до сих пор уплатила только по одному. Другой вексель Лере, по ее просьбе, согласился заменить двумя новыми, написанными на долгие сроки. Затем он вытащил из кармана список неоплаченных покупок, где значились: занавеси, ковер, материя для обивки кресел, несколько платьев и разные туалетные принадлежности; итог счета достигал почти двух тысяч франков.

Она опустила голову. Он продолжал:

— У вас нет денег, зато есть имущество, — и напомнил ей про домишко в Берневиле, близ Омаля, почти не приносящий дохода. Он составлял в былые времена часть фермы, проданной еще Бовари-отцом; Лере знал все — и количество гектаров, и даже фамилии соседей.

— На вашем месте, — сказал он, — я бы развязал себе руки, и у меня еще осталось бы кое-что.

Она сослалась на трудность найти покупателя; он намекнул, что мог бы поискать. Но как, спросила она, получить ей право на продажу дома?

— Да разве у вас нет доверенности? — ответил он.

Слова эти были для нее струей свежего воздуха.

— Оставьте мне счет, — сказала она.

— Не стоит об этом думать! — возразил Лере.

Он зашел еще через неделю и похвастался удачей: после многих хлопот удалось ему напасть на некоего Ланглуа, который давно уже подбирается к именищу, хотя и не говорит пока своей цены.

— Не в цене дело, — воскликнула она.

— Напротив, лучше выждать, пощупать молодца, — советовал Лере. Дело стоит того, чтобы из-за него съездить в те края; но так как ей самой не собраться, то он, Лере, мог бы туда отправиться и потолковать с Ланглуа.

Вернувшись, он заявил, что покупатель предлагает четыре тысячи франков.

При этом известии Эмма просияла.

— Откровенно говоря, — прибавил он, — цена хорошая.

Она получила половину суммы немедленно; и когда хотела уплатить

по счету, торговец воскликнул:

— По чести, жаль мне брать у вас сразу такую сумму!

Она взглянула на банковские билеты и, вспомнив, какое несчетное количество свиданий представляют собою эти две тысячи франков, пробормотала:

— Как же быть?

— О, — сказал он, добродушно смеясь, — в торговые счета можно поставить все, что угодно. Не знаю я, что ли, как обдeldываются хозяйственные делишки? — И он пристально смотрел на нее, вертя в руках две длинные бумажки. Наконец, открыв бумажник, разложил на столе четыре векселя по тысяче франков каждый. — Подпишите-ка их и оставьте себе все деньги.

Она возмутилась.

— А разве, давая вам лишние деньги, — возразил нагло Лере, — я не оказываю вам этим услугу? — И, взяв перо, он подписал внизу счета: «Получил от госпожи Бовари четыре тысячи франков». — О чем вы беспокоитесь, раз через полгода вы получите остальную сумму за ваш сарай и раз срок последнего векселя приходится после этой уплаты?

Эмму несколько затрудняли эти расчеты, в ушах у нее звенело, словно из мешков сыпались золотые и звякали по полу. Наконец Лере объяснил, что у него есть приятель, некий Венсар, банкир в Руане, который учтет эти четыре векселя, а затем Лере сам принесет барыне лишние деньги сверх действительного долга.

Но вместо двух тысяч франков он принес всего тысячу восемьсот, так как приятель его Венсар (как, впрочем, и следовало) оставил двести франков себе за учет и за комиссию.

Потом он небрежно спросил у нее расписку.

— Вы понимаете... в торговых делах... бывают случаи... И не забудьте, пожалуйста, пометить расписку сегодняшним числом.

Необъятный горизонт осуществимых фантазий вдруг развернулся перед Эммой. У нее хватило осторожности отложить тысячу экю и уплатить ими по первым трем векселям, когда подошли их сроки; четвертый же вексель был прислан на дом случайно в четверг, и Шарль, взволнованный, терпеливо ждал возвращения жены, чтобы получить от нее разъяснение.

Если она ничего не сказала ему об этом векселе, то только из желания избавить его от домашних дразг; она села к нему на колени, ласкала его, ворковала, перечислила длинный список всех необходимых предметов, взятых в кредит.

— Словом, ты должен согласиться, что ввиду такого количества это не очень дорого.

Шарль, не зная, как быть, обратился вскоре к тому же неизменному Лере, который клялся все уладить, если барин выдаст ему два векселя, из коих один будет на семьсот франков и сроком на три месяца. Чтобы как-нибудь выйти из затруднения, Шарль написал матери чувствительное письмо.

Вместо ответа мать приехала сама; и когда Эмма спросила, удалось ли ему что-нибудь получить от нее, он ответил:

— Да. Но она хочет, чтобы ей показали счет.

На другой день рано утром Эмма побежала к Лере и просила его написать другой счет, который бы не превышал тысячи франков, так как, показав счет на четыре тысячи, ей пришлось бы сказать, что она уплатила по нему две трети, а следовательно, пришлось бы признаться в продаже недвижимого имущества — деле, так ловко проведенном Лере, что о нем стало известно лишь гораздо позже.

Несмотря на весьма умеренные цены всех предметов, перечисленных в счете, старуха Бовари нашла расходы чрезвычайными.

— Разве нельзя было обойтись без ковра? Зачем было обивать заново кресла? В мое время в доме бывало одно-единственное кресло для стариков — так, по крайней мере, велось у моей матери, а она была порядочная женщина, смею вас уверить. Не всем же быть богачами! Да и никакое состояние не выдержит мотовства! Я краснела бы от стыда, если бы так нежилась, как вы! А ведь я старуха, мне нужно спокойствие... Полюбуйтесь, каких только здесь нет нарядов, уборов! Как? На подкладку шелк по два франка!.. Да разве нельзя было взять жаконету по десяти, даже по восьми су, и было бы ничем не хуже!

Эмма, полулежа на кушетке, старалась отвечать как можно спокойнее.

— Довольно вам, — говорила она, — будет!..

Но та продолжала ее отчитывать и предсказывала, что оба они кончат свое существование в богадельне. Конечно, во всем виноват Шарль. К счастью, он обещал уничтожить наконец эту доверенность...

— Что такое?

— Да, да, он мне побожился, — ответила старушка.

Эмма распахнула окно, позвала Шарля, и бедный малый должен был сознаться в обещании, вырванном у него матерью.

Эмма исчезла на мгновение и, вернувшись, величественно протянула ей большой лист бумаги.

— Благодарю вас, — сказала старуха. И бросила доверенность в огонь.

Эмма залилась резким, пронзительным, неумолкаемым хохотом: с нею сделалась истерика.

— Ах, боже мой! — восклицал Шарль. — Нехорошо так поступать, маменька! Ты устраиваешь ей сцены.

Та пожала плечами и заявила, что все это «одно кривляние».

Но Шарль, впервые возмущаясь, вступился за жену, старуха Бовари объявила, что уезжает. Она в самом деле уехала на другой день, произнеся на пороге дома, когда сын пытался ее удерживать:

— Нет, нет! Ты любишь ее больше, чем меня, и ты прав — это в порядке вещей. Впрочем, тем хуже! Сам увидишь!.. Будьте здоровы... Меня здесь больше не будет, чтобы, как ты выражаешься, устраивать ей сцены!

Шарль все же чувствовал неловкость и стыд перед женой, да и она не скрывала свою обиду за его недоверие; пришлось долго упрашивать ее, прежде чем она согласилась на выдачу новой доверенности, и потом пойти с нею к Гильоме, чтобы составить другой акт, во всем подобный первому.

— Я это понимаю, — сказал нотариус, — человеку, поглощенному наукой, некогда заниматься мелочами практической жизни.

Шарль ощутил некоторое облегчение от этой лести, прикрывавшей его слабость красивою маской высших интересов.

Зато как ликовали они с Леоном в следующий четверг, в своей комнатке, в руанском отеле! Эмма смеялась, плакала, пела, плясала, велела подать шербету, захотела выкурить папиросу — показалась Леону сумасбродной, божественно прекрасной.

Он не знал, что происходит с ней, какое душевное состояние заставляет ее так жадно набрасываться на все утехи жизни. Она делалась раздражительной, сластолюбивой и чувственной; прогуливалась с ним по улицам, высоко подняв голову, не боясь, по ее словам, погубить свое доброе имя. Иногда, впрочем, содрогалась при внезапной мысли о возможности встретить Родольфа; ей казалось, что, несмотря на окончательный разрыв, она все же не вполне освободилась от власти этого человека.

Однажды вечером она не вернулась в Ионвиль. Шарль потерял голову, а маленькая Берта не хотела ложиться без мамы и рыдала на весь дом. Жюстен вышел наугад бродить по дороге; даже Гомэ покинул свою аптеку.

Наконец в одиннадцать часов, потеряв терпение, Шарль заложил шарабан, вскочил в него, ударил по лошади и к двум часам ночи прибыл в гостиницу «Красный Крест». Эммы и следа нет. Он подумал, что, быть может, ее видел клерк; но где он живет? К счастью, Шарль вспомнил адрес его патрона. Бросился туда.

Светало. Над одною из дверей он различил вывеску нотариуса,

постучал. Не отпирая, кто-то выкрикнул ему требуемую справку и выругался по адресу нахалов, которые беспокоят людей по ночам.

В доме, где жил клерк, не было ни звонка, ни молотка, ни швейцара. Шарль принялся дубасить кулаком в ставни. Мимо прошел полицейский; он струсил и удалился от дома.

«Я сошел с ума, — сказал он себе, — она, наверное, обедала и заночевала у Лормо. Но Лормо давно уже не живут в Руане. Осталась, должно быть, ухаживать за госпожою Дюбрейль. Но нет! Уже десять месяцев, как Дюбрейль умерла... Где же она?»

Его осенила мысль. Он потребовал в кофейне «Ежегодник» и быстро отыскал там фамилию госпожи Ламперер, жившей на улице Ларенель-де-Марокинье, в доме 74.

Едва повернул он на эту улицу, как на другом конце ее показалась сама Эмма; он скорее набросился на нее, чем ее обнял, восклицав:

— Кто тебя задержал с вечера?

— Я заболела.

— Чем?.. Где?.. Как?..

Она провела по лбу рукой и ответила:

— У мадемуазель Ламперер.

— Я так и знал! Я шел туда!

— О, это бесполезно, — сказала Эмма. — Она только что ушла из дома; но на будущее время прошу тебя не беспокоиться. Я не могу чувствовать себя свободной, понимаешь, если малейшее опоздание так волнует тебя.

Это было чем-то вроде выданного ею себе самой разрешения не стесняться впредь в своих отлучках. И она воспользовалась им широко, как ей хотелось. Когда ее охватывало желание видеть Леона, она уезжала, приводя первый попавшийся предлог; и так как Леон не ждал ее в этот день, она заходила за ним в контору. Вначале это показалось ему большим счастьем; но вскоре он перестал скрывать от нее истину, а именно что патрон весьма недоволен его исчезновениями.

— Ах, глупости! Идем, — говорила она.

И он пропадал.

Она потребовала, чтобы он одевался в черное и отпустил себе эспаньолку, придававшую ему сходство с Людовиком XIII. Она захотела взглянуть, как он живет, и нашла его квартиру бедной; он покраснел, но она, не обращая на это внимания, посоветовала ему купить себе занавески, как у нее, а на возражение о расходах заметила со смехом:

— Так ты дрожишь над своими копеечками!

Леон должен был всякий раз давать ей отчет во всем, что делал с последнего свидания. Она ожидала от него стихов, стихов, посвященных ей, мадригала в честь ее; ему никогда не удавалось срифмовать двух строк, и он принужден был списать сонет из альманаха.

Сделал он это не из тщеславия, а с единственной целью ей угодить. Он не оспаривал ее взглядов, разделял все ее вкусы; в роли любовницы оказывался скорее он, нежели она. Она владела тайной нежных слов и поцелуев, которые выпивали всю его душу. Где приобрела она эту развращенность, почти невещественную, — так она была глубока и затаенна?

Глава VI

Наезжая в Ионвиль для свиданий с Эммой, Леон нередко обедал у аптекаря и из вежливости счел своим долгом пригласить его в свою очередь.

— Охотно приеду, — ответил Гомэ, — кстати, мне не мешает несколько освежиться, я здесь прямо заплесневел. Мы пойдем с вами в театр, побываем в ресторанах, — словом, покутим!

— Ах, дорогой друг! — нежно пролепетала госпожа Гомэ, испуганная смутною перспективою опасностей, которые ему предстояли.

— Ну что такое? Ты находишь, что я мало разрушаю свое здоровье среди постоянных испарений аптеки? Вот каковы женщины: они ревнуют к науке и в то же время препятствуют человеку прибегнуть к самым невинным удовольствиям. Но вы все-таки рассчитывайте на меня, на этих же днях приеду в Руан, и там мы с вами заварим кашу!

В прежние времена аптекарь остерегся бы употребить такое выражение, но теперь он увлекался легкомысленным тоном, который признал отвечающим изысканному вкусу; подобно госпоже Бовари, с любопытством расспрашивал он клерка о столичных нравах и даже, чтобы пустить пыль в глаза обывателям, говорил на бульварном жаргоне, пересыпая свою речь словечками из парижского аргю.

Итак, в один из четвергов Эмма, к немалому удивлению, встретила в кухне «Золотого Льва» с господином Гомэ, одетым по-дорожному: на нем был старый плащ, которого никто в Ионвиле не знал, в одной руке он держал чемодан, в другой грелку для ног, взятую из его заведения. Он никому не сообщил о своем плане, боясь, что его отсутствие встревожит публику.

Мысль увидеть вновь те места, где протекла его юность, разумеется, возбуждала его, и он всю дорогу не переставал говорить; едва приехав, выпрыгнул из кареты и побежал разыскивать Леона; сколько тот ни отговаривался, он увлек его в большую «Нормандскую кофейню», куда вошел с важностью, не снимая шляпы, так как считал провинциальною манерой обнажать голову в публичном месте.

Эмма ждала Леона три четверти часа. Наконец побежала к нему в контору и, теряясь в догадках, обвиняя его в равнодушии, упрекая себя в слабости, провела все послеобеденное время у окна, прижавшись лбом к стеклу.

Было уже два часа, а клерк и аптекарь все еще сидели за столиком друг против друга. Большой зал пустел; печная труба в форме пальмы округляла на белом потолке свой золоченый сноп; возле них, за стеклом, на ярком солнце маленький фонтан журчал в мраморном бассейне, где среди салата и спаржи три огромных омара растянулись во всю длину, достигая кучи разложенных рядом перепелок.

Гомэ наслаждался. Хотя опьянял его скорее вид роскоши, чем тонкий завтрак, все же и вино «Помар» сделало свое дело, и когда появилась яичница с ромом, он начал излагать безнравственные теории. Более всего в жизни соблазняет его шик. Восхитителен элегантный женский туалет в изящной обстановке будуара, что же до физических качеств, он предпочитает, пожалуй, женщин «с полными формами».

Леон в отчаянии поглядывал на часы. Аптекарь продолжал пить, есть и болтать.

— Вы должны в Руане испытывать по этой части большие лишения, — вдруг сказал он. — Впрочем, ваша симпатия недалеко.

Его собеседник покраснел.

— Полноте, будьте откровенны! Ведь вы не станете отрицать, что в Ионвиле...

Молодой человек пробормотал что-то.

— Что в Ионвиле, у госпожи Бовари, вы ухаживаете...

— За кем?

— За ее горничной!

Он не шутил; но Леон — так как тщеславие одерживает верх над осторожностью — невольно возмущился. Ему нравятся к тому же только брюнетки.

— Я одобряю ваш вкус, — сказал аптекарь, — у них больше темперамента. — И, наклонясь к уху своего друга, он указал ему признаки, по которым можно отличить женщин с темпераментом. Пустился даже в этнографические отступления: немки, по его мнению, истеричны, француженки развратны, итальянки страстны.

— А негритянки? — спросил клерк.

— Вкус художников, — определил Гомэ. — Гарсон, две чашки кофе!

— Что же, идем? — спросил наконец Леон, теряя терпение.

— Yes.

Но перед тем, как уйти, ему нужно было поговорить с хозяином ресторана и сказать ему несколько похвал.

Тогда молодой человек, желая остаться один, сослался на неотложные дела.

— В таком случае я вас провожу! — сказал Гомэ.

Шагая с ним по улице, он рассказывал ему о своей жене, о детях, о будущности детей, о своей аптеке, изображал упадок, в каком она была некогда, и степень совершенства, коей она при нем достигла.

Дойдя до «Булонской гостиницы», Леон оборвал на полуслове беседу, вбежал по лестнице и застал свою возлюбленную в большом волнении.

При упоминании об аптекаре она пришла в бешенство. Он уговаривал ее, приводил многочисленные доводы: он не виноват, разве она не знает Гомэ? Неужели она думает, что он может ей предпочесть его общество? Но она не хотела слушать; он удержал ее и, упав перед нею на колени, охватил ее стан обеими руками в томной позе, полной мольбы и страстного желания.

Она стояла; большие горящие глаза ее смотрели на него серьезно, почти грозно. Вдруг они затуманились слезами, розовые веки опустились, она уже не отнимала рук, и Леон прижимал их к губам, когда на пороге появился слуга и доложил, что барина кто-то спрашивает.

— Ты придешь? — спросила она.

— Да.

— Но когда?

— Сию минуту.

— Военная хитрость, — сказал аптекарь, завидя Леона. — Я решил положить конец этому свиданию, которое, как мне казалось, было вам неприятно. Пойдемте к Бриду выпить стаканчик прохладительного.

Леон клялся, что ему необходимо вернуться в контору. Тогда аптекарь начал отпускать шутки о канцелярщине и крючкотворстве.

— Да бросьте же хоть на часок всех ваших Куяциев и Бартоло, черт бы их побрал! Вы не на цепь посажены! Будьте молодцом! Пойдемте к Бриду, увидите его собаку. Это очень любопытно.

Клерк упорствовал; тогда он сказал:

— Ну так я пойду с вами. Подожду вас, прочитаю газету, наведу справки в Своде законов.

Леон, выведенный из душевного равновесия гневом Эммы, болтовнёю Гомэ, а быть может, и сытным завтраком, стоял в нерешительности, словно во власти аптекаря, твердившего:

— Пойдемте к Бриду! Это в двух шагах отсюда, на улице Мальпалю.

Из трусости, из глупости, из того темного чувства, которое толкает нас к неприятным и несвойственным нам поступкам, он дал себя увлечь к Бриду. Они застали его на маленьком дворике, наблюдающим, как трое молодых, запыхавшись, вертели колесо машины для выделки сельтерской

воды. Гомэ подал им несколько советов, обнял Бриду, выпили по стакану лимонада. Леон раз двадцать порывался уйти, но аптекарь удерживал его за руку, твердя:

— Сию минуту! Я выйду вместе с вами. Мы пойдем в «Руанский Маяк» повидаться там со всеми. Я вас познакомлю с Томассеном.

Наконец Леону удалось от него отделаться, и он сломя голову прибежал в отель. Эммы там уже не было.

Она только что уехала, взбешенная. Она его ненавидела. Нарушение честного слова, когда дело шло о свидании, казалось ей оскорблением, и она отыскивала дополнительные поводы к разрыву: он не способен к героизму, слаб, пошловат, мягок и малодушен, как женщина, к тому же скуп и труслив.

Наконец, успокоившись, она стала думать, что, вероятно, его оклеветала. Но изображение в невыгодном свете тех, кого мы любим, все же нас незаметно от них отдаляет. Нельзя касаться идолов, их позолота остается на пальцах.

Чаще стали они с тех пор говорить о вещах, безразличных для их любви; и в письмах Эммы речь пошла о цветах, о стихах, о луне, и звездах — невинные средства ослабевающей страсти, хватающейся для своего оживления за внешние приманки. Каждая предстоящая поездка сулила Эмме глубокое блаженство; но потом она признавалась себе самой, что не пережила ничего необычайного. Это разочарование вскоре изглаживалось новою надеждой; она возвращалась к любовнику еще более расpalенною, более жадною. Она грубо раздевалась, рвала тонкие шнурки корсета, свистевшие словно змеи, скользящие вокруг ее бедер. Шла босая, на цыпочках, взглянуть еще раз, заперта ли дверь, потом вдруг одним движением роняла всю одежду и, бледная, молчаливая, важная, с долгою судорогой, обрушивалась к нему на грудь.

Между тем на этом лбу, покрытом холодными каплями, на этих бессвязно лепечущих губах, в этих блуждающих взорах, в тесном охвате этих рук было что-то крайнее, роковое, неуловимо злое, тихо прокравшееся, мнилось Леону, между ними, с тем чтоб их разлучить.

Он не смел предлагать ей вопросов; но, видя ее опытность, он говорил себе, что она прошла, должно быть, чрез все испытания мук и наслаждения. То, что в ней пленяло его прежде, теперь неопределенно страшило. И в нем пробуждался мятеж против все большего поглощения его личности ее чарами. Он не мог простить Эмме ее вечной победы. Ему хотелось не любить ее, но один звук ее шагов уже его обессиливал, как пьяницу запах вина.

Она не переставала, правда, расточать ему знаки внимания, начиная с лакомств и кончая туалетными тонкостями и томными взглядами. Она на груди привозила из Ионвиля розы, чтобы бросать их ему в лицо, заботилась о его здоровье, давала ему советы, как себя держать, и, чтобы прочнее привязать его — в надежде на небесную помощь, — надела ему на шею образок Божией Матери. Расспрашивала его, как любящая мать, о его товарищах. Говорила ему:

— Не видайся с ними, не ходи никуда, думай только о нашем счастье, люби меня!

Ей бы хотелось следить за всей его жизнью и пришла даже в голову мысль — не подослать ли кого-нибудь, кто бы пошпионил за ним на улице. Возле гостиницы всегда торчал какой-то бродяга, пристававший к прохожим: этот, наверное, не отказался бы... Но ее гордость восстала против этого замысла.

«Ах, не все ли равно, если он меня обманывает! Мне какое дело? Разве я им дорожу?»

Раз, когда они расстались рано и она возвращалась одна по бульвару, она вдруг увидела стены своего монастыря; села на скамейку в тени вязов. Какое спокойствие было в ее душе в те дни! Как завидовала она испытавшим любовь — то неизъяснимое чувство, которое она старалась угадать по книгам!

Первые месяцы ее замужества, прогулки верхом в лесу, вальс с виконтом, пение Лагарди — все снова пронеслось перед ее глазами... И Леон вдруг показался ей столь же далеким, как и другие.

«Однако же я его люблю!» — говорила она себе.

Не все ли равно? Она не знает, да и никогда не знала счастья. Откуда эта скудость жизни, это мгновенное разложение всего, на что она думает опереться?.. Но если есть где-нибудь человек сильный и прекрасный, с душою мощной, возвышенной и нежно-отзывчивой, с сердцем поэта и ликом ангела, душа — меднозвучная лира, возносящая к небу свои мелодические вздохи, о, ужели не суждено ей встретить такое существо в жизни? Роковая невозможность! Нет, ничто на свете недостойно поисков: все солжет! Каждая улыбка скрывает зевоту скуки, каждая радость таит проклятие, каждая услада несет в себе зародыш отвращения, и самые жаркие поцелуи оставляют устам лишь неутолимую жажду высшего сладострастия.

Металлический стон пронесся в воздухе, и четыре мерных удара раздались с колокольни монастыря. Четыре часа. А ей казалось, что она сидит на этой скамейке целую вечность. Но громадная сложность страстей

может вместиться в одну минуту, как людская толпа уместается на малом пространстве. Эмма жила поглощенная этими страстями и о деньгах заботилась менее, чем любая эрцгерцогиня.

Однажды к ней явился, однако, тщедушный, краснолицый и лысый человек с заявлением, что его прислал Венсар из Руана. Он вынул булавки, которыми был заколот боковой карман его длинного зеленого сюртука, воткнул их в рукав и учтиво подал ей бумагу.

То был подписанный ею вексель на семьсот франков, который Лере, невзирая на все ее просьбы, передал в распоряжение Венсара.

Она послала за Лере служанку. Он отказался прийти.

Тогда незнакомец, продолжая стоять и с любопытством озираться, крадучись направо и налево из-под густых белокурых бровей, простодушно спросил:

— Какой ответ прикажете передать господину Венсару?

— Скажите ему, — проговорила Эмма, — скажите, что денег сейчас у меня нет... На будущей неделе я получу... Пусть подождет... Да, на будущей неделе.

Человек удалился, не сказав ни слова.

Но на другой день, в полдень, ей принесли исполнительный лист; вид гербовой бумаги, на которой несколько раз крупными буквами было выведено: «Аран, пристав Бюши», так испугал ее, что она со всех ног бросилась к торговцу материями.

Лере в своей лавке завязывал какой-то сверток.

— Ваш покорный слуга! — сказал он. — Что прикажете?

Тем временем он продолжал свое занятие при помощи девочки лет тринадцати, слегка горбатой, которая совмещала в его доме должности приказчика и кухарки.

Потом, громко стуча деревянными башмаками, он поднялся, сопровождаемый барыней, по лестнице и провел ее в тесный кабинет, где на неуклюжем бюро соснового дерева стояли под замком за поперечной железной перекладиной несколько толстых приходно-расходных книг. У стены, под кусками ситца, виднелся денежный сундук, таких, однако, размеров, что в нем, очевидно, должны были храниться не одни ценные бумаги. В самом деле, Лере выдавал и ссуды под залог вещей, в этот сундук спрятал он когда-то и золотую цепочку госпожи Бовари, и серьги бедняка Телье, который, будучи наконец вынужден продать все имущество, приобрел плохенькую мелочную лавчонку в Кенкампуа, где и умирал от своего катара посреди груды свечек менее желтых, чем его лицо. Лере уселся в широкое плетеное кресло и сказал:

— Что нового?

— Вот. — И она протянула ему бумагу.

— Ну, что же я могу тут поделать?

Она вспылила, напомнила его обещание, что он не пустит ее векселей в оборот; он не отрицал этого.

— Но я сам был вынужден, ко мне пристали с ножом к горлу.

— Что же теперь будет? — спросила она.

— О, все это очень просто: решение суда, а потом опись и наложение ареста на движимое имущество... Тю-тю!

Эмма едва удержалась, чтобы не дать ему пощечину. Она кротко спросила, нет ли возможности успокоить господина Венсара.

— Да, подите-ка! Успокойте Венсара! Вы его не знаете! Он свирепей араба.

Необходимо все-таки, чтобы Лере принял в деле участие.

— Послушайте! Кажется, до сих пор я был к вам достаточно снисходителен. — Он раскрыл одну из своих счетных книг. — Не угодно ли взглянуть? — и, переводя палец снизу вверх по странице, называл цифры: — Вот, видите ли... третьего августа двести франков... семнадцатого июня — сто пятьдесят... двадцать третьего марта — сорок шесть. В апреле... — Он остановился, словно боясь сказать лишнее. — Я не говорю уже о векселях, выданных мне вашим мужем, — один на семьсот франков, другой на триста! Что касается ваших мелких долгов и просрочек в уплате процентов, то им конца нет, тут такая путаница, что сам черт ногу сломит. Я больше ни во что не вмешиваюсь!

Она заплакала, назвала его даже «добрым господином Лере». А он все сваливал на «собаку Венсара». Сверх того, у него самого нет ни копейки, никто теперь не хочет платить, его поедом съели; нет, скромный торговец, как он, не может открывать кредит.

Эмма молчала; Лере, покусывая кисточку гусиного пера, вероятно, беспокоился ее молчанием и наконец вымолвил:

— Разве что если на этих днях будет сделан какой-нибудь взнос... тогда, пожалуй...

— Впрочем, — сказала она, — как только я получу остальные деньги за Барневиль...

— Как? — И, узнав, что Ланглуа еще не расплатился, Лере изобразил немалое удивление. Потом сладким голосом прибавил: — Так вы хотите заключить условие?

— Какое вам угодно!

Он закрыл глаза, что-то обдумывая, написал несколько цифр и, заявив,

что сделка ему очень тяжела, что дело совсем не шуточное, что он из-за нее разоряется, продиктовал четыре векселя, по двести пятьдесят франков каждый, на последовательные сроки, разделенные месячными промежутками.

— Только бы Венсар согласился! Впрочем, дело решено — я не люблю водить людей за нос, со мной дело чистое...

Потом показал ей небрежно несколько новинок, из которых, впрочем, ни одна, по его словам, не заслуживает внимания такой барыни.

— Подумать только — материя на платье, по семи су метр, и притом с ручательством, что не полиняет! Они и разинут рот, а им, разумеется, не говорят, в чем дело!..

Этим признанием в том, как он обманывает других, почтенный коммерсант хотел поставить Эмме на вид свою честность в торговых делах с нею.

Потом он вернул ее, чтобы показать ей три аршина гипюра, подцепленные им недавно «на одной распродаже».

— Ну, разве это не красиво? — говорил Лере. — Теперь много берут такого гипюра для накидок на кресла, это в моде. — И с проворством фокусника завернул гипюр в синюю бумагу и вручил его Эмме.

— Скажите же, по крайней мере, цену...

— Когда-нибудь в другой раз, — отвечал он, повертываясь к ней спиной.

В тот же вечер Эмма принудила мужа написать матери, чтобы та поскорее выслала им остальную часть наследства. Свекровь отвечала, что у нее больше ничего нет: ликвидация закончена, и на их долю, кроме Барневиля, осталось шестьсот ливров годового дохода, которые она и будет высылать им в точные сроки.

Тогда докторша разослала счета двум-трем пациентам мужа и вслед затем начала широко применять это средство, оказавшееся успешным. В постскриптуме она неукоснительно прибавляла: «Не говорите об этом моему мужу, вы знаете, как он горд... Прошу извинения... Готовая к услугам»... Было несколько протестов, но она их перехватила.

Чтобы добыть денег, она стала продавать старые перчатки, старые шляпы, старое железо и торговала с алчностью, — крестьянская кровь сказалась в страсти к барышам. Далее, во время поездок в город она закупала много безделушек в надежде, за неимением других покупателей, перепродать их Лере. Она набрала страусовых перьев, китайского фарфора, шкатулок; занимала для этой же цели деньги у Фелисите, у госпожи Лефрансуа, у хозяйки «Красного Креста» — всюду, где было можно. На

деньги, полученные за Барневиль, она погасила два векселя, остальные же полторы тысячи франков утекли у нее сквозь пальцы. Она снова должна, и так без конца!

Иной раз, правда, она принималась за подсчеты и выкладки, но вскоре открывала такой чудовищный дефицит, что не верила своим глазам. Начинала расчет сызнова, запутывалась, бросала все и старалась об этом больше не думать.

Грустно стало в лекарском доме! То и дело выходили из него поставщики с выражением ярости на лице. На плите валялись носовые платки; маленькая Берта, к ужасу госпожи Гомэ, ходила в продранных чулках. Если Шарль осмеливался пикнуть, что не все в порядке, Эмма отвечала грубо, что это не ее вина.

Откуда у нее эта раздражительность? Он объяснял все ее давнишним нервным расстройством и упрекал себя в том, что принимает ее болезнь за дурной нрав, обвинял себя в эгоизме и испытывал желание пойти к ней и поцеловать ее.

«Но нет, — говорил он себе тотчас же, — я могу ее еще больше растревожить!» — И оставался на месте.

После обеда он одиноко прогуливался по саду, брал маленькую БERTУ на колени и, развернув медицинский журнал, пытался учить ее азбуке. Девочка, не привыкшая к занятиям, широко раскрывала печальные глаза и готова была расплакаться. Он ее утешал: наливал воды в лейку и проводил по песку каналы или наламывал веточек с кустов и втыкал их в клумбы, устраивая игрушечную рощицу, что едва ли портило сад, и без того весь заросший высокою травою, — они были должны Лестибудуа уже за столько рабочих дней! Потом малютка начинала зябнуть и звала маму.

— Позови няню, — говорил Шарль. — Ты ведь знаешь, моя крошка, что мама не любит, когда ее беспокоят.

Началась осень, и уже опадали листья, как два года тому назад, когда она была больна! Когда же все это кончится?.. И он бродил по саду, заложив руки за спину.

Барыня сидела у себя в спальне. Туда никто не смел входить. Она проводила целый день в каком-то оцепенении, неодетая, и время от времени жгла восточные курительные свечи, купленные в Руане, в лавочке алжирца. Чтобы не чувствовать ночью спящим подле нее этого человека, она с помощью гримас сослала его в верхний этаж дома, а сама до утра читала сумасбродные книги, с картинками оргий и кровавыми сценами. Часто ее охватывал ужас, она вскрикивала, прибежал Шарль.

— Уйди, уйди! — говорила она.

Или же порой, сжигаемая внутренним огнем, который она питала в себе прелюбодеянием, задыхаясь от страстного возбуждения, распахивала окно, вдыхала всю грудью холодный воздух, распускала по ветру тяжелые волосы и, глядя на звезды, мечтала о царственном любовнике. Думала и о нем, о Леоне. В такие минуты она отдала бы все на свете за одно из свиданий с ним, которые ее утоляли.

То были ее празднества. И она любила справлять их пышно. Когда расходы были не под силу Леону, она доплачивала щедрою рукой остальное; а случалось это почти каждый раз. Он пытался внушить ей, что им было бы так же хорошо и в другом, более скромном отеле, но у нее находились возражения.

Раз она вынула из своего мешочка полдюжины серебряных вызолоченных ложечек (свадебный подарок старика Руо), прося его немедленно снести их в ломбард; Леон повиновался, хотя это поручение ему было не по душе. Он боялся, что его узнают.

Поразмыслив, он нашел, что его любовница начинает вести себя странно и что, быть может, не совсем не правы те, кто хотят разлучить его с нею.

Незадолго его мать получила длинное анонимное письмо, в котором ее предупреждали, что он «губит себя с замужней женщиной». Бедная дама, живо нарисовав в своем воображении вечное пугало семейств, неведомую губительницу молодых жизней, сирену, фантастическое чудовище, обитающее в безднах разврата, изложила все в письме к принципалу сына, Дюбокажу, который взглянул на дело серьезно. Он продержал Леона целых три четверти часа, пытаясь раскрыть ему глаза, предостеречь его от опасности: ведь подобная интрига впоследствии повредит ему в устройстве его карьеры. Он умолял разорвать связь: если Леон не хочет принести этой жертвы ради собственной будущности, пусть сделает это хоть для него, Дюбокажа.

Леон уступил и поклялся не видеться больше с Эммой; теперь он упрекал себя в том, что не сдержал своего слова, видя, сколько эта женщина может еще навлечь на него неприятностей и упреков, не считая насмешек товарищей, которые дразнили его по утрам, греясь у печки. Сверх того, ему было обещано место старшего клерка; пора было остепениться. Он уже отказывался от флейты, от возвышенных чувств, от фантазий. Ведь нет обывателя, который бы в пылу молодости, хоть на один день, на одну минуту, не считал себя созданным для мятежных страстей и великих подвигов. Самый мелкий развратник мечтал когда-то о султаншах, и в душе каждого нотариуса похоронены обломки от кораблекрушения

поэта.

Теперь он скучал всякий раз, как Эмма вдруг разрыдается на его груди; и его сердце, как бывает с людьми, способными воспринимать музыку только в умеренной дозе, погружалось в равнодушную дремоту среди вихря этой страсти, в которой он уже переставал различать оттенки.

Они так хорошо знали друг друга, телесное обладание потеряло для них свои неожиданности, удесятеляющие наслаждение. Он опротивел ей, и сам был утомлен ею. И в преступной любви проглянула для нее вся пошлость законного супружества. Но как освободиться? Пусть такое счастье было лишь унижением: все же она дорожила им по привычке ли, или по развращенности своей природы; более того, с каждым днем она все ожесточеннее за него хваталась, истощая запасы наслаждения усилиями обострить его. Она обвиняла Леона в том, что надежды ее обмануты, как будто он ее предал; и даже хотела катастрофы, влекущей за собою разрыв, так как в ней самой не было мужества этот разрыв вызвать.

И она не переставала поддерживать любовную переписку, будучи убеждена, что женщина всегда должна писать своему любовнику.

Но в то время как она сочиняла эти письма, она видела перед собою другого мужчину, призрак, созданный ею из самых пылких ее воспоминаний, из самых увлекательных чтений, из ее затаеннейших желаний; этот образ становился наконец столь живым и доступным, что она трепетала от счастья, не будучи, однако, в состоянии представить его себе отчетливо, — до такой степени он расплывался и исчезал, как некое божество в изобилии своих совершенств. Он жил в лазурной стране, где с балконов спускаются шелковые лестницы, среди дыхания цветов, под чарами лунного света. Она чувствовала его подле себя; вот-вот он придет и возьмет ее всю в одном поцелуе. Чрез минуту, разбитая, она падала на землю; эти порывы любовной грез утомляли ее сильнее, чем самые неистовые ласки.

Она испытывала общее недомогание и постоянную усталость. Часто, даже получив исполнительный лист на гербовой бумаге, она едва бросала на него рассеянный взгляд. Ей бы хотелось перестать жить или вечно спать.

В четверг на Масленице она не вернулась вечером в Ионвиль, а поехала в маскарад. На ней были бархатные штаны, красные чулки, взбитый парик конца XVIII века, над ухом фонарик. Она плясала всю ночь под яростный вой тромбонов; ее окружала толпа, а утром она очутилась на подъезде театра с пятью или шестью масками, работницами из порта и матросами — товарищами Леона; сговаривались идти ужинать. Все соседние кафе были переполнены. Они высмотрели в гавани плохенький

ресторанчик, где хозяин отпер им маленькую комнатку в четвертом этаже. Мужчины пошептались в углу, совещаясь, вероятно, о расходах. В их числе был один клерк, два лекарственных помощника, один приказчик, — какое общество для Эммы! Что касается женщин, то по звуку их голоса она вскоре заметила, что все были самого низшего разбора. Тогда она испугалась, отодвинула свой стул и опустила глаза.

Остальная компания принялась за еду. Эмма не ела; лоб у нее горел, веки подергивались, по телу пробегал озноб. В ее голове еще отдавалось дрожание пола, сотрясаемого мерным топотом тысячи пляшущих ног. Запах пунша вместе с дымом сигар одурманивал ее, она почти лишилась чувств; ее отнесли к окну.

День занимался, и большое пятно пурпура расплзлось по бледному небу над горою Св. Екатерины. Мертвенно-серая река подергивалась зыбью от ветра; на мостах не было ни души; фонари гасли.

Эмма очнулась и вдруг подумала о Берте, спавшей там, дома, в комнатке вместе с няней. Проехала мимо телега, нагруженная длинными железными полосами; улицу наполнило оглушительное дребезжанье металла.

Она убежала незаметно, сбросила свой костюм, сказала Леону, что ей пора ехать, и наконец осталась одна в «Булонской гостинице». Все кругом, как и она сама, было ей невыносимо. Она хотела бы упорхнуть, как птичка, улететь далеко-далеко, обновиться в какой-то чистой, незапятнанной сфере.

Она вышла из гостиницы, миновала бульвар, площадь Кошуаз и предместье и оказалась на открытой с одной стороны улице, над садами. Шла она быстро, свежий воздух успокаивал ее, и мало-помалу толпа, маски, кадрили, ужин, эти женщины — все исчезло, истаяло, как туман. Придя в гостиницу «Красный Крест», она бросилась на свою кровать в маленькой комнатке второго этажа, где висели картинки из «Tour de Nesle». В четыре часа пополудни ее разбудил Ивер.

Когда она приехала домой, Фелисите вытащила из-за часов какую-то серую бумагу. Она прочла:

«Согласно подлинному судебному приговору, направленному к исполнению...»

Какого приговора? Действительно, накануне ей принесли другую бумагу, которой она еще не видела; поэтому она была ошеломлена словами:

«По указу его королевского величества, именем закона и правосудия повелено госпоже Бовари...»

Пропустив несколько строчек, она прочла:

«Сроком в двадцать четыре часа, без промедления...»

Что же?

«Уплатить сумму в восемь тысяч франков полностью».

А ниже значилось:

«В случае неисполнения госпожою Бовари сего постановления повелевается поступить с нею по закону, а именно приступить к описи и аресту ее движимого имущества».

Что делать?.. В двадцать четыре часа; стало быть, завтра! Лере, подумала она, вероятно, опять хочет ее пугнуть; ей сразу стали понятны все его хитрости, цель всех его одолжений. Что ее успокаивало, это преувеличение суммы долга.

Постоянно покупая и не платя, делая займы, выдавая и потом переписывая векселя, стоимость коих и раздувалась после каждой отсрочки, Эмма мало-помалу сколотила для Лере целый капитал; он с нетерпением выжидал случая подобрать к рукам эти деньжонки, чтобы приступить к дальнейшим предприятиям.

Она заговорила с ним довольно развязно:

— Вы знаете, что случилось. Это, конечно, шутка?

— Ничуть!

— То есть как?

Он медленно обернулся и, скрестив на груди руки, сказал:

— А вы думали, милая барынька, что я, из любви к Господу, буду до скончания веков вашим поставщиком и банкиром? Надо же мне наконец вернуть мои денежки, будем справедливы!

Она возмущалась показанным в бумаге размером долга.

— Ага! Ничего не поделаешь! Суд признал! Приговор состоялся. Вам препроводили бумагу... Впрочем, все это не я, а Венсар.

— А вы не могли бы...

— О, ровно ничего.

— Но, однако... обсудим это...

Она залепетала что-то бессвязное: ведь она ничего не подозревала... это для нее такая неожиданность...

— Кто же в том виноват? — сказал Лере с насмешливым поклоном. — Пока я здесь работаю как негр, вы себе веселитесь да прохлаждаетесь.

— Прошу вас не читать мне нравоучений.

— Это иногда не мешает, — возразил он.

Она испугалась, стала его умолять и даже положила свою прекрасную руку, белую и длинную, на колено торговца.

— Оставьте меня в покое! Можно подумать, что вы хотите меня соблазнить!

— Вы — подлец! — вскричала она.

— Ого, как вы горячитесь! — проговорил он, смеясь.

— Я всем покажу, кто вы такой. Я скажу моему мужу...

— Ну и я кое-что покажу вашему мужу! — И Лере вынул из нестораемого сундука расписку в получении тысячи восьмисот франков, выданную ею после учета векселей Венсаром. — Неужто вы думаете, что бедный, милый человек не поймет вашего маленького воровства? — сказал он.

Она вся опустилась, словно ее обухом ударили. Он прохаживался от окна к письменному столу и твердил:

— Да, я ему покажу... я ему покажу... — потом подошел к ней и сказал мягким голосом: — Конечно, все это невесело, но ведь от таких историй никто еще не умирал, а между тем это единственный способ получить с вас мои деньги...

— Да где же я их достану? — сказала Эмма, заламывая руки.

— Ба! У кого есть, как у вас, близкие друзья... — И он взглянул на нее так проницательно и так ужасно, что она задрожала с головы до ног.

— Я вам обещаю... я подпишу...

— Довольно с меня ваших подписей...

— Я еще продам...

— Полно вам! — сказал он, пожав плечами. — У вас больше ничего нет. — И крикнул в окошечко, выходившее в лавку: — Анкета, не забудь трех остатков номер четырнадцать!

Служанка вошла: Эмма поняла и спросила, «сколько понадобится денег, чтобы приостановить взыскание».

— Теперь уже поздно!

— Но если я принесу вам несколько тысяч франков, четверть или треть суммы, или почти все?

— Не беспокойтесь, это не поможет.

Он тихонько подталкивал ее к двери на лестницу.

— Умоляю вас, господин Лере, подождите еще несколько дней.

Она рыдала.

— Ну этого еще не доставало: слезы!

— Вы приводите меня в отчаяние!

— Мне до этого нет дела, — сказал он, захлопывая дверь.

Глава VII

Она явила стоическую твердость духа, когда пристав Аран с двумя понятыми явились к ней на другой день для описи движимого имущества.

Начали с кабинета Бовари. Френологическая модель головы, будучи признана «орудием профессии», не была занесена в опись, зато на кухне пересчитали все блюда, горшки, стулья, подсвечники, а в ее спальне — все безделушки на этажерке. Осмотрели ее платье, белье, перерыли уборную; вся жизнь ее, до самых потайных уголков, была выворочена наружу и походила на вскрытый труп, распростертый во всю длину перед глазами этих трех мужчин.

Господин Аран, в плотно обтянутом и наглухо застегнутом черном сюртуке, в белом галстуке и тугих штрипках, время от времени приговаривал:

— С вашего позволения, сударыня, с вашего позволения!.. — или восклицал: — Какая прелесть! Очень милая вещь!

И потом снова принимался писать, обмакивая перо в роговую чернильницу, которую держал в левой руке.

Покончив с квартирой, они поднялись на чердак.

Там стояла конторка, где были спрятаны письма Родольфа. Пришлось отпереть ее.

— Ах, переписка! — сказал господин Аран с улыбкой скромности. — Но позвольте! Я должен убедиться, что в ящике нет ничего другого.

Он осторожно приподнял и наклонил бумаги, словно ожидая, что из них посыплются золотые. Ею овладело негодование при виде этой толстой руки с красными, мягкими, как улитки, пальцами, перебиравшими страницы, над которыми трепетало ее сердце!

Наконец-то они убрались! Фелисите вернулась. Эмма посылала ее сторожить у дома, чтобы как-нибудь задержать приход Бовари; и они живо спровадили на чердак полицейского, обязанного наблюдать за описанным имуществом, взяв с него клятву сидеть там смирно.

Шарль в течение вечера казался ей озабоченным. Эмма следила за ним тревожным взглядом: в морщинах его лица она читала безмолвное осуждение. А когда глаза ее устремлялись на камин, украшенный китайским экраном, на широкие занавески, на кресла, на все эти вещи, помогавшие ей забывать горечь жизни, ее душой овладевало раскаяние или, скорее, бесконечное сожаление, растравлявшее, но отнюдь не

уничтожавшее ее страсть. Шарль спокойно пошевеливал уголья, уперев ноги в каминную решетку.

На чердаке сторож, соскучившись, вероятно, в своем заключении, вдруг завозился.

— Наверху кто-то ходит? — сказал Шарль.

— Нет, — ответила она, — это от ветра хлопает рама слухового окна — его забыли припереть.

На другой день, в воскресенье, она поехала в Руан, чтобы обойти всех известных ей по имени банкиров. Но одни были на даче, другие в путешествии. Эмма не унывала; у тех, кого она застала, она просила денег, ссылаясь на крайнюю необходимость и обещая вернуть долг. Иные расхохотались ей в лицо, и все до единого отказали.

В два часа она побежала к Леону и постучалась в его дверь. Ей не отперли. Наконец подошел он сам.

— Зачем ты приехала?

— Я тебе помешала?

— Нет... но...

Он признался, что хозяин не любит, чтобы к жильцам ходили «женщины».

— Мне нужно с тобою поговорить, — отвечала она.

Тогда он достал ключ. Она остановила его:

— Нет, пойдем туда, к нам.

Они отправились в свой номер в «Булонской гостинице».

Едва войдя в комнату, она выпила полный стакан воды. Она была очень бледна. Проговорила:

— Леон, ты должен оказать мне услугу, — и, крепко пожимая обе его руки, прибавила: — Послушай, мне нужно восемь тысяч франков.

— Да ты с ума сошла!

— Нет еще. — И, рассказав ему тут же про опись, она излила перед ним свое горе: Шарль ничего не знает, свекровь ее ненавидит, старик Руо ничем не может помочь; но он, Леон, должен сейчас же броситься на поиски и добыть ей необходимую сумму...

— Но подумай, откуда же я...

— Как подло ты трусил! — воскликнула она.

Тогда он сказал глупо:

— Ты преувеличиваешь беду. Может быть, тысячи экю будет довольно, чтобы утихомирить этого черта.

Тем настоятельнее необходимость как-нибудь действовать; немыслимо, чтобы нельзя было достать трех тысяч франков. Леон может

подписать за нее долговое обязательство.

— Ступай! Попытайся! Это необходимо! Беги!.. Милый, постарайся же, постарайся! Я так буду любить тебя!

Он ушел, вернулся через час и торжественно сказал:

— Я был у трех лиц... и все безуспешно...

Они сидели друг против друга, по обе стороны камина, недвижные, не произнося ни слова. Эмма пожимала плечами и постукивала о пол ногою. Он расслышал, как она прошептала:

— Будь я на твоём месте, я знала бы, где достать денег!

— Где же?

— У тебя в конторе! — И она взглянула ему прямо в лицо.

Адская решимость горела в её глазах, веки щурились сладострастно, с выражением отваги и ободрения; молодой человек чувствовал, что слабеет перед немою волею этой женщины, толкавшей его на преступление. Тогда он испугался и, чтобы избежать всякого разъяснения, ударил себя по лбу со словами:

— Морель должен приехать сегодня вечером! Надеюсь, он мне не откажет (Морель был его приятель, сын богатого негоцианта), — тогда я привезу деньги завтра.

Эмма отнюдь не обнаружила той радости, какую он ожидал увидеть на её лице, утешая её новою надеждой. Или она подозревает ложь? Он продолжал, краснея:

— Впрочем, если к трём часам я не буду, не жди меня дольше, моя радость! Нужно уходить, прости. До свидания!

Он сжал её руку, но её рука была безжизненна. У Эммы не было сил ни на какое чувство.

Пробило четыре часа; она встала, чтобы ехать в Ионвиль, повинаясь привычке, как автомат. На дворе было ясно, стоял светлый и свежий мартовский день, когда солнце весело светит и небо бело. Руанцы, расфранченные для воскресенья, гуляли с довольным видом. Она дошла до площади перед собором. Народ выходил от вечерни; толпа текла из трех порталов, словно река из-под трех пролетов моста, а посредине, незыблемый как скала, стоял швейцар.

Ей вспомнился день, когда, полная тревоги и надежд, она вступила под эти готические своды, даль которых казалась ей менее глубокою, нежели её любовь; и она все шла вперед, плача под вуалью, оторопев и пошатываясь, близкая к обмороку.

— Берегись! — крикнул чей-то голос из распахнувшихся ворот.

Она остановилась, чтобы пропустить вороную лошадь, нетерпеливо

рвавшуюся в оглоблях английского шарабана, которым правил джентльмен в собольих мехах. Кто он? Его лицо ей знакомо... Экипаж промчался и скрылся из виду.

Да ведь это он, виконт! Она обернулась, на улице уже никого не было. Она была так подавлена, так удручена печалью, что прислонилась к стене, боясь упасть.

Потом ей пришло в голову, что она ошиблась. Ведь она перестала понимать что-либо. Все в ней самой и вне ее изменяло ей, ускользало. Она чувствовала, что гибнет, что катится по воле случая в какую-то пропасть, и, придя в гостиницу «Красный Крест», почти с радостью увидела добряка Гомэ, наблюдавшего, как грузят на «Ласточку» огромную корзину с аптекарскими товарами; в руке он держал завязанные в шелковый платок шесть руанских хлебцев для супруги.

Госпожа Гомэ очень любила эти маленькие тяжелые хлебцы в виде чалмы; их едят постом с соленым маслом: последние остатки готической пищи, восходящие, быть может, к поре крестовых походов; дюжие норманны поедали их в былые времена, воображая, что на столе, освещенном желтыми факелами, между жбанами с пряным вином и гигантскими окороками торчат перед ними и сарацинские головы в чалмах, предназначенные также для пожрания. Жена аптекаря уничтожала их, подобно норманнам, геройски, невзирая на плохое вооружение своих челюстей; поэтому всякий раз, когда Гомэ уезжал в город, он не упускал случая привезти ей эти хлебцы, которые покупал у лучшего булочника на улице Кровопролития.

— Рад вас видеть! — сказал он Эмме, подавая руку и помогая ей войти в дилижанс.

Потом он повесил хлебцы в сетку дилижанса и сел с непокрытой головой, скрестив руки, в задумчивой и наполеоновской позе.

Когда же после спуска с горы появился, по обыкновению, слепой, он воскликнул:

— Я не понимаю, как власти доныне терпят еще подобные промыслы! Следовало бы запирать этих несчастных и налагать на них принудительную работу! Поистине черепашьям шагом движемся мы вперед и все еще коснеем в варварстве!

Слепой протягивал шляпу, и она болталась у окна, словно карман отставшей обивки.

— Вот случай золотухи! — сказал аптекарь. И хотя он отлично знал нищего, вдруг притворился, что впервые его видит, начал бормотать слова «роговая оболочка, твердая оболочка глаза, склеротик, хрусталик» и

наконец спросил отеческим тоном: — Давно ли у тебя, друг мой, эта ужасная болезнь? Вместо того чтобы пьянствовать в кабаке, ты бы лучше следовал известному режиму.

Он посоветовал ему пить хорошее вино или пиво и есть сочное жареное мясо. Слепой тянул свою песенку; он казался слабоумным. Гомэ открыл кошелек:

— На вот тебе один су; дай мне сдачи два лиара да не забывай моих указаний, это тебе поможет.

Ивер вслух позволил себе усомниться в их действительности. Но аптекарь вызвался вылечить его сам с помощью антифлогистической мази собственного изобретения и сообщил нищему свой адрес:

— Гомэ, вблизи рынка, достаточно известный.

— Ну, — сказал Ивер, — за труды дай-ка нам представление.

Слепой присел на корточки, закинул назад голову и, перекатывая зеленоватые глаза и высовывая язык, стал обеими руками тереть себе живот, издавая при этом глухое рычание, словно голодная собака. Эммой овладело отвращение; она швырнула ему через плечо пятифранковую серебряную монету. То было все ее достояние. Ей показалось красивым выбросить его именно так.

Дилижанс уже тронулся, как вдруг Гомэ вывесился из окна и крикнул:

— Избегайте мучного и молочного! Носите шерстяное на теле и окуривайте пораженные части можжевельником.

Вид знакомых предметов, мелькавших перед нею, мало-помалу отвлек Эмму от ее горя. Невыносимая усталость охватила ее, и она приехала домой отупевшая, угнетенная, почти сонная.

«Будь что будет!» — думала она.

К тому же как знать? Разве с минуты на минуту не может случиться какое-нибудь чрезвычайное событие? Сам Лере может умереть.

В девять часов утра ее разбудил шум голосов на площади. Целая толпа собралась у рынка, перед большим объявлением, наклеенным на столбе. Эмма увидела, что Жюстен взлез на тумбу и срывает афишу, но сторож схватил его за шиворот. Гомэ вышел из аптеки, а тетка Лефрансуа разглагольствует, стоя посреди толпы.

— Барыня! Барыня! — кричала Фелисите, входя в комнату. — Какие злодеи!

Бедная девушка, взволнованная, протянула ей желтую бумагу, которую только что сорвала с двери. Эмма с первого взгляда поняла, что объявлена продажа всех ее вещей с молотка.

Обе переглянулись молча. Между барыней и служанкой давно не было

тайн. Наконец Фелисите вздохнула:

— На вашем месте, барыня, я пошла бы к господину Гильомену.

— Ты думаешь?

Этот вопрос имел такой смысл: «Ты знаешь, что делается в этом доме через лакея; слыхала ли ты, что хозяин говорил когда обо мне?»

— Да, сходите к нему, это будет хорошо.

Эмма принарядилась, надела черное платье, шляпу со стеклярусом и, чтобы ее не узнали (на площади всегда толпится народ), пошла задворками, вдоль речки.

Запыхавшись, подошла она к садовой решетке нотариуса; небо было темное, и шел мелкий снег.

Она позвонила; на крыльце появился Теодор, в красном жилете; он почти фамильярно отпер ей, как знакомой, и ввел ее в столовую.

Широкая фаянсовая печь гудела под кактусом, заполнявшим собою нишу, и в рамках черного дерева, на обоях под дуб, висели «Эсмеральда» Штейбена и «Пентефрий» Шопена. Накрытый стол, серебряные подставки для кушанья, хрустальные дверные ручки, паркет и мебель — все сияло безукоризненною английскою чистотой; окна были украшены по углам цветными стеклами.

«Вот столовая, какая была бы мне по вкусу», — подумала Эмма.

Вошел нотариус, левою рукою придерживая на груди халат, затканый турецкими узорами, а правою быстро приподняв и опять нахлобучивая коричневую бархатную шапочку, кокетливо сдвинутую на правый висок, куда ложились и три пряди белокурых волос, зачесанные с затылка и прикрывавшие его лысый череп.

Предложив стул, он уселся завтракать, усиленно извиняясь за свою невежливость.

— Я хочу просить вас, сударь...

— Что такое, сударыня? Я вас слушаю.

Она принялась излагать ему свое положение.

Нотариус Гильомен знал, в чем дело, будучи связан дружбою с галантерейным торговцем, у которого он всегда находил деньги для выдаваемых им закладных.

Итак, он знал, и знал лучше ее самой, длинную историю этих векселей, выдаваемых сначала на небольшие суммы и на долгие сроки, снабженных разнообразными бланковыми пометками, потом постоянно возобновляемых, вплоть до того дня, когда Лере, собрав все опротестованные векселя, поручил своему приятелю Венсару произвести взыскание от своего имени, так как не желал прослыть среди своих

односельчан тигром.

Она пересыпала рассказ обвинениями против Лере, на которые нотариус время от времени отзывался каким-нибудь незначительным словом. Кушая котлету и прихлебывая чай, он уткнул подбородок в свой небесного цвета галстук, заколотый двумя бриллиантовыми булавками, скрепленными тонкою золотою цепочкою, и улыбался странною улыбкою, слащавою и двусмысленною.

Но, заметив, что она промочила башмаки, он проговорил:

— Сядьте же, пожалуйста, ближе к печке... поставьте ваши ножки выше... на фаянс.

Она боялась испачкать его. Нотариус галантно заметил:

— Красивое никогда ничего не портит.

Она старалась его растрогать и, растрогавшись сама, поведала ему о скудости своих средств, о своих лишениях и нуждах. Он все это понимает: еще бы, изящная женщина! И, не переставая есть, повернулся к ней всем телом, так что коленом касался ее ботинка, подошва которого, дымясь, коробилась у печки.

Но когда она попросила у него тысячу экю, он поджал губы и сказал, что весьма сожалеет о том, что в свое время она не доверила ему управления ее состоянием, так как нашлось бы немало способов, удобных и для дамы, выгодно поместить свои деньги. Можно было почти без риска отважиться на великолепные спекуляции с торфяными болотами Грумениля или с земельными участками в Гавре; и он предоставлял ей казниться при мысли о фантастических барышах, какие она могла бы выручить.

— Как случилось, что вы не обратились ко мне? — спросил он.

— Не знаю, — ответила она.

— Почему? А?.. Боялись меня? А ведь жаловаться-то следовало бы мне! Мы с вами едва знакомы! Между тем я вам истинно предан, надеюсь, вы в этом теперь не сомневаетесь?

Он потянулся к ней, взял ее руку, жадно поцеловал ее и оставил у себя на колене, перебирая осторожно ее пальцы, нашептывая ей нежности.

Приторный голос нотариуса журчал, как ручей; в его глазах, поблескивающих из-под очков, загорались искры, а рука уходила все глубже в рукав Эммы, охватывая ее локоть. Она чувствовала у своей щеки его прерывистое дыхание. Близость этого человека была ей невыносимо тягостна. Она вдруг вскочила и сказала:

— Итак, сударь, я жду.

— Чего? — спросил нотариус, внезапно побледнев.

— Этих денег.

— Но... — Уступая слишком сильному желанию, вдруг его охватившему, он сказал; — Ну да, хорошо!.. — и на коленях потянулся к ней, забыв про свой халат. — Умоляю вас, останьтесь! Я вас люблю! — И он охватил ее талию.

Вмиг волна густого румянца залила лицо госпожи Бовари. Она отшатнулась грозно и крикнула:

— Вы бесстыдно пользуетесь моей бедой, милостивый государь! Меня можно жалеть, но нельзя купить! — И ушла.

Нотариус, оцепенев от изумления, принялся разглядывать свои красивые вышитые туфли. То был любовный подарок. Вид их под конец его утешил. К тому же он рассудил, что такая связь могла бы завлечь его слишком далеко.

«Каков негодяй! Скотина!.. Какая гнусность!» — говорила она себе, спеша нервным шагом под навесом придорожных осин. Досада на неудачу еще усиливала гнев оскорбленного целомудрия; ей казалось, что Провидение упорно преследует ее, и, проникаясь гордостью, она никогда еще так не уважала себя и не презирала так людей. Что-то воинственное поднималось в ней. Ей хотелось бить мужчин, плевать им в лицо, рвать их на куски. Она все шла быстрым шагом, бледная, дрожащая, взбешенная, пытливо вглядываясь заплаканными глазами в пустынный горизонт и словно услаждаясь душившей ее ненавистью.

Завидя свой дом, она оцепенела. Не могла ступить шагу. А войти было нужно. Куда деваться?

Фелисите поджидала ее у двери.

— Ну что?

— Нет! — сказала Эмма.

С четверть часа обе женщины перебирали всех лиц в Ионвиле, которые бы могли прийти на помощь. Но всякий раз как Фелисите называла кого-нибудь, Эмма возражала:

— Разве это возможно? Они не дадут.

— А барин-то сейчас вернется!

— Знаю... Ступай.

Она все испробовала. Теперь уже нечего было делать. Когда явится Шарль, она должна будет сказать ему: «Уходи. Этот ковер, по которому ты ступаешь, уже не наш. В твоём доме у тебя нет больше ни стула, ни булавки, ни соломинки, и это я тебя разорила, бедняга!»

Он зарыдает, будет долго плакать, потом привыкнет к мысли о случившемся и простит ее.

— Да, — шептала она, скрежеща зубами, — он меня простит, он,

которому я за миллион не простила бы, что с ним встретилась... Нет, нет!

Мысль о превосходстве Бовари над нею приводила ее в ярость! Но ведь признается ли она ему во всем или не признается, он все равно тотчас, вскоре, завтра узнает о катастрофе; итак, надобно ждать этой ужасной сцены и перенести всю тяжесть его великодушия. Ей захотелось еще раз сходить к Лере: но к чему? Писать отцу — поздно. И быть может, она уже раскаивалась, что не уступила нотариусу, — когда вдруг слышала топот копыт по аллее. То был он, он отпирал калитку и был бледнее, чем штукатурка стены. Бросившись с лестницы, она стремглав побежала по площади, и жена мэра, разговаривавшая у церкви с Лестибудуа, видела, как Эмма вошла к сборщику податей.

Она побежала сообщить об этом госпоже Карон. Обе дамы поднялись на чердак и, прячась за развешанное для просушки белье, разместились там поудобнее, чтобы видеть все жилище Бинэ внутри.

Он был один в своей мансарде и вытачивал деревянную копию с одного из тех неописуемых изделий из слоновой кости, что похожи на башенки, сложенные из шаров и полумесяцев, — прямые, как обелиск, и не служащие никакой цели; Бинэ выделявал уже последнюю фигурку, труд близился к завершению. В мастерской, где чередовались свет и сумрак, от его станка летела светло-желтая пыль, словно сноп искр из-под копыт скакуна. Оба колеса вертелись, гудели; Бинэ улыбался, голова его была опущена, ноздри раздувались, — казалось, он испытывает то полное счастье, какое доставляет мелочная, скромная работа, занимающая ум легкопреодолимыми трудностями и успокаивающая душу окончательными осуществлениями, после которых нечего больше желать.

— Ага, вот она! — сказала госпожа Тюваш.

Но гудение станка заглушало слова. Все же дамам послышалось, что она говорит о «франках», и тетушка Тюваш шепнула:

— Она просит отсрочить взыскание недоимок.

— Кажется, что так, — ответила другая.

Они видели, как Эмма ходит взад и вперед по комнате, разглядывая по стенам салфеточные кольца, подсвечники, шары для перил, меж тем как Бинэ самодовольно поглаживает себе бороду.

— Уж не пришла ли она заказать ему что-нибудь? — спросила госпожа Тюваш.

— Но ведь он ничего не продает! — возразила соседка.

Сборщик податей что-то выслушивал, тараща глаза и ничего, по-видимому, не понимая. Она продолжала говорить нежно, словно о чем-то умоляла. Подошла к нему близко; грудь ее тяжело вздымалась; оба

молчали.

— Никак она с ним заигрывает? — спросила госпожа Тюваш.

Бинэ побагровел до ушей. Она взяла его руки в свои.

— Вот до чего дошла.

Разумеется, она предлагает ему какую-нибудь гнусность, так как сборщик податей (а ведь он человек храбрый, сражался под Бауценом и под Люценом, участвовал во французской кампании и даже был представлен к ордену Почетного легиона) вдруг отшатнулся, словно при виде змеи, и вскричал:

— Сударыня! Как же это можно?

— Таких женщин следовало бы бить нагайками, — проговорила госпожа Тюваш.

— Да где же она? — воскликнула госпожа Карон.

При этих последних словах Эмма в самом деле исчезла. Увидя потом, что она проходит по Большой улице и свернула направо, по дороге к кладбищу, обе дамы потерялись в догадках...

— Тетка Роллэ, — сказала Эмма, вбежав к кормилице, — мне дурно!.. Распусти корсет.

Она упала на постель и разрыдалась. Тетка Роллэ прикрыла ее юбкой и постояла над ней. Потом, видя, что она ничего не говорит, отошла, села у прялки и стала пряхть лен.

— Ах, перестаньте, — пробормотала Эмма, думая, что слышит жужжание токарного станка Бинэ.

«Что приключилось? — недоумевала кормилица. — Зачем она сюда пришла?»

А она прибежала к кормилице, гонимая каким-то ужасом из собственного дома.

Лежа на спине, без движения, с остановившимися глазами, она едва различала предметы, хотя и прилагала к этому все усилия и почти идиотскую настойчивость внимания. Она разглядывала облупленную стену, две дымящиеся головни и большого паука, бродящего у нее над головой, в трещине бревна. Наконец ей удалось собраться с мыслями. Она припоминала... Однажды с Леоном... О, как это было давно!.. Река сверкала на солнце, благоухал жасмин... Унесенная мчащимся потоком воспоминаний, она скоро восстановила в памяти и вчерашний день.

— Который час? — спросила она.

Тетка Роллэ вышла на двор, заслонила правой рукой лицо от солнца и, взглянув вверх, медленно вернулась, со словами:

— Часа три будет.

— Спасибо! Спасибо!

Он сейчас приедет. Это уж верно! Конечно, он добыл денег. Но ведь он пойдет прямо туда, он не знает, что она здесь; и она приказала кормилице скорее сходить к ней в дом и привести его.

— Скорей, пожалуйста.

— Иду, милая барыня, иду!

Теперь Эмма удивлялась, как прежде о нем не вспомнила; ведь он дал ей вчера слово, он его сдержит. Она уже воображала себя у Лере, как она выложит перед ним на конторку три банковских билета. Потом придется сочинить какую-нибудь историю, чтобы объяснить все это Бовари. Но что придумать?

Кормилица между тем все не возвращалась; но так как в избе не было часов, Эмма подумала, что преувеличивает продолжительность отсутствия. Она принялась ходить по саду, шаг за шагом; пошла по тропинке вдоль изгороди и опять поспешно повернула назад, предположив, что крестьянка могла вернуться другой дорогой. Наконец, устав от ожидания, охваченная подозрениями, которые спешила от себя оттолкнуть, не зная, бродит ли она тут целый век или всего одну минуту, она села в угол, закрыла глаза, заткнула уши. Калитка скрипнула: она вскочила; не успела она выговорить слово, как тетка Роллэ объявила:

— У вас в доме никого нет.

— Как никого?

— Так-таки никого. А барин плачет, зовет вас. Послали везде вас разыскивать.

Эмма ничего не отвечала. Она задыхалась, водя вокруг глазами, меж тем как крестьянка, испуганная выражением ее лица, невольно отступала, подумав, что она сошла с ума. Вдруг Эмма ударила себя по лбу, вскрикнула, так как в душе ее, как яркая молния в темной ночи, пронеслось воспоминание о Родольфе. Он так добр, так чуток, так великодушен! И даже, если он будет колебаться оказать ей эту услугу, она сумеет принудить его, одним взглядом напомним ему их прежнюю любовь. Она бросилась в Гюшетт, не сознавая, что идет добровольно навстречу тому, что только что привело ее в такой гаев, и менее всего на свете подозревая, что принятое ею решение — та же проституция.

Глава VIII

Дорогой она спрашивала себя: «Что я ему скажу? С чего начну?» И по мере того как подвигалась вперед, узнавала кусты, деревья, тростники на холме, вдали замок. Оживали ощущения ее первой привязанности, и бедное, измученное сердце влюбленно на них отдыхало. Теплый ветер дул ей в лицо; снег таял и падал каплями с веток в траву.

Она проскользнула, как в былые дни, через калитку парка, потом вышла на двор замка, обсаженный двойным рядом густолиственных лип: их длинные ветви колыхались и шумели от ветра. Цепные собаки залаяли в конурах, но никто не вышел на лай.

Она поднялась по широкой прямой лестнице с деревянными перилами, вошла в коридор, вымощенный пыльными плитами, с рядом дверей, словно в монастыре или в гостинице. Его комната была в конце коридора, крайняя налево. Когда она коснулась дверной ручки, силы внезапно ее оставили. Она боялась не застать его, но почти желала не застать, хотя это была ее единственная, ее последняя надежда на спасение. С минуту она не находила в себе мужества, но, закаляя свою решимость сознанием неотложной необходимости, вошла.

Он сидел перед камином, положив ноги на решетку, и курил трубку.

— Как, это вы? — произнес он, вскакивая с места.

— Да, это я! Родольф, я хотела просить у вас совета. — И, несмотря на все усилия продолжать, по могла больше разомкнуть губ.

— Вы не изменились. Все так же прекрасна.

— О, — сказала она горько, — печальна эта красота, друг мой, если вы ее оттолкнули.

Он пытался объяснить свой образ действий, оправдываясь в общих и неопределенных выражениях, так как не мог придумать ничего лучшего.

Она поддавалась его словам, еще более его голосу и всему впечатлению его личности; притворилась, что верит, или, быть может, и в самом деле поверила мнимому предлогу разрыва; он сказал, что причина его поведения — тайна, от которой зависит жизнь и даже честь третьего лица.

— Как бы то ни было, — сказала она, глядя на него с грустью, — я много перестрадала!

Он ответил тоном философа:

— Такова жизнь!

— Была ли она, по крайней мере, к вам благосклонна за время нашей разлуки? — спросила Эмма.

— Ни благосклонна... ни слишком зла.

— Быть может, нам было бы лучше никогда не расставаться.

— Да... быть может!

— Ты думаешь? — сказала она, приближаясь к нему. И вздохнула: — О, Родольф! Если бы ты знал... как я тебя любила!

Она взяла его за руку, и они стояли так несколько мгновений, сплетя пальцы, как в тот первый день, на съезде. Усилием гордости он боролся с пробуждающейся нежностью. Она же припала к нему на грудь и говорила:

— Как ты хотел, чтобы я жила без тебя? От счастья нельзя отвыкнуть! Я отчаивалась. Лучше смерть! Все расскажу, ты увидишь. А ты... ты от меня убежал...

За эти три года он действительно избегал ее из трусости, прирожденной сильному полу; Эмма, покачивая головкой, ласкалась, как влюбленная кошка, и лепетала:

— Ты любишь других женщин, признавайся. О, я их понимаю, — так и быть, извиняю их; ты соблазнил их, как соблазнил и меня. Ты мужчина! В тебе есть все, чтобы нравиться... Но мы опять будем любить друг друга, не правда ли? Мы будем любить? Смотри, я смеюсь, я счастлива!.. Говори же!

Она была пленительна; в ее прекрасных глазах дрожали слезы, как капли дождя после бури на синем цветке.

Он привлек ее к себе на колени и ладонью гладил ее блестящие волосы, на которых в отсветах сумерек горел, словно золотая стрелка, последний луч солнца. Она поникла головой; наконец он поцеловал ее веки, тихо, едва касаясь их губами.

— Но ты плакала? — сказал он. — О чем?

Она разразилась рыданием. Родольф принял его за вспышку любви; она молчала, и он счел ее молчание за последнюю робость стыда. Он воскликнул:

— Прости меня! Ты одна мне нравишься. Я был глуп и зол! Я тебя люблю и буду любить всегда!.. Что с тобою? Скажи мне.

Он опустил перед нею на колени.

— Ну так вот... я разорена, Родольф! Ты одолжишь мне три тысячи франков!

— Но... однако... — говорил он, тихо поднимаясь, между тем как лицо его принимало серьезное выражение.

— Ты знаешь, — продолжала она скороговоркой, — что муж мой поместил все свое состояние у нотариуса; он бежал. Мы наделали долгов,

пациенты не платили. Ликвидация имущества, впрочем, еще не закончена, у нас еще будут деньги. Но сегодня, если я не достану трех тысяч франков, у нас все опишут и продадут; это должно произойти сейчас, сию минуту; и я пришла к тебе, рассчитывая на твою дружбу.

«А, — подумал Родольф, побледнев, как скатерть, — так вот зачем она пришла!»

Потом он сказал спокойно:

— У меня этих денег нет, дорогая госпожа Бовари!

Он не лгал. Если бы у него эти деньги были, он бы дал их, без сомнения, как ни неприятно принуждать себя к такому великодушию. Из всех бурь, которые обрушиваются на любовь, просьба денег — самая охлаждающая и разрушительная.

Она смотрела на него несколько минут.

— У тебя их нет! — И повторила несколько раз: — У тебя их нет!.. Я не должна была унижаться до этого последнего позора. Ты никогда не любил меня! Ты не лучше других.

Она выдавала и губила себя.

Родольф прервал ее, уверяя, что сам он сейчас «в стесненном положении».

— Ах, как мне тебя жаль! — сказала Эмма. — Да, очень жаль!.. — И, устремив взгляд на карабин с дамасской насечкой, красовавшийся на стене среди другого оружия, воскликнула: — Но когда человек так беден, то он не оправляет в серебро своих ружей! Не покупает каминных часов с инкрустацией из черепахи! — продолжала она, указывая на часы Буль. — Ни хлыстов с вызолоченными свистками, — она дотронулась до них, — ни брелоков на часовую цепочку! О, у него все есть, все есть! Не исключая даже графинчика с ликером в спальне; ты себя любишь, живешь в довольстве, у тебя есть замок, фермы, леса, ты охотишься с борзыми, едешь в Париж... Да взять бы хоть это, — вскричала она, хватая с камина его запонки, — взять малейшую из этих безделушек! За них можно выручить деньги!.. О, мне они не нужны, оставь их у себя! — И она отшвырнула запонки, золотая цепочка которых порвалась, ударившись об стену. — А я все отдала бы тебе, все бы продала, стала бы сама работать, собирала бы по дорогам милостыню за одну твою улыбку, за один твой взгляд, за то, чтоб услышать от тебя «благодарю»! А ты сидишь себе передо мною спокойно в кресле, как будто не причинил мне уже достаточно страданий! Без тебя, знаешь ли ты это, я могла бы прожить счастливо! Не твоя ли прихоть была за мной волочиться? Что это было? Пари? Но ты говорил, что любишь меня... Да сейчас, только что...

Ах, лучше бы ты меня выгнал! У меня руки не остыли еще от твоих поцелуев, и вот на ковре место, где ты на коленях клялся мне в вечной любви. Ты заставил меня поверить в нее: два года ты манил меня дивной, сладкой мечтой. Скажи, наши планы путешествия — ты их забыл!.. О, твое письмо, твое письмо! Оно растерзало мне душу!.. А теперь, когда я пришла к нему, богатому, счастливому, свободному, просить помощи, в которой не отказал бы первый встречный, когда я умоляю его и приношу ему вновь всю мою нежность, — он меня отталкивает, потому что это обойдется ему в три тысячи франков!

— У меня их нет! — ответил Родольф с тем совершенным спокойствием, которым, как шитом, обороняется глубоко затаившийся гнев.

Она ушла. Стены тряслись, потолок давил ее. Опять проходила она по длинной аллее, спотыкалась о кучи сухих листьев, развеваемых ветром. Добралась до рва у решетки парка, переломала себе ногти о замок — так торопилась отомкнуть калитку. Прошла сотню шагов дальше, остановилась, запыхавшись, чуть не падая. И, обернувшись, еще раз взглянула на безучастный замок с его парком, садами, тремя дворами и всеми окнами фасада.

Она замерла в каком-то оцепенении, не сознавая, не чувствуя ничего, кроме биения крови в артериях, которое показалось ей оглушительной музыкой, наполнившей всю окрестность. Земля под ее ногами была зыбкой, как вода, а борозды представлялись ей огромными, темными, катящимися на берег волнами. Далекие воспоминания, затаившиеся мысли и образы — все, что покоилось на дне души, вдруг ворвалось в сознание, как тысячи ракет фейерверка. Она увидела своего отца, кабинет Лере, свою комнату в городе, какую-то местность. Безумие овладело ею, она испугалась, и ей удалось, хотя лишь отчасти и смутно, опомниться. Причины своего ужасного состояния — вопроса о деньгах — она уже не могла восстановить в памяти: она страдала только от любви. Вспоминая о ней, она чувствовала, что душа ее уходит из тела — так раненные насмерть ощущают в агонии, как жизнь покидает их вместе с кровью, вытекающей из ран.

Темнело; летали вороны.

Ей привиделось, что в воздухе вспыхивают огненные шарики, как маленькие раскаленные ядра, сплюсциваются и кружатся, кружатся и тают на снегу, на ветках деревьев. В каждом шарике было лицо Родольфа. Их становилось все больше, они приближались, проникали в нее; все исчезло. Она узнала огни в домах, засветившиеся вдали, сквозь туман.

Тогда вдруг раскрылось перед ней ее положение, словно какая-то пропасть разверзлась. Грудь ее почти разрывалась от учащенного дыхания.

Через миг, в порыве героизма, влившего в нее почти радость, она бегом спустилась с горы, пробежала по мосткам через пастбище, по тропинке, по аллее, миновала рынок и остановилась перед аптекой.

В аптеке никого не было. Она хотела войти, но на звонок появились бы люди; и, скользнув в калитку, затаив дыхание, ощупывая стены, она подошла к порогу кухни, где на плите горела свеча, Жюстен, в жилете без сюртука, выносил блюдо.

«А! Они обедают. Подождем».

Он вернулся. Она стукнула в окно. Он вышел к ней.

— Ключ! Ключ от верхнего чулана, где...

— Что с вами? — И он посмотрел ей в лицо, удивленный ее бледностью, — так резко выделялось оно светлым пятном в темноте ночи. Она показалась ему необыкновенно прекрасной и величественной, как призрак; не понимая, чего она требует, он предчувствовал, однако, что-то ужасное.

Но она продолжала быстро сладким, вкрадчивым шепотом:

— Мне нужен ключ. Дай мне его!

Перегородка была тонкая, и из столовой доносился стук вилок по тарелкам.

Она уверяла, что ей надо извести крыс — они не дают ей спать.

— Я должен доложить барину.

— Нет, нет! Не ходи! — И равнодушно прибавила: — Не стоит его звать, я ему потом сама скажу. Пойдем, посвети мне!

Она прошла в коридор перед лабораторией. На стене висел ключ с ярлыком: «Склад».

— Жюстен! — раздался нетерпеливый голос аптекаря.

— Пойдем наверх!

Он последовал за нею.

Ключ щелкнул в замке, и она потянулась прямо к третьей полке, так верно руководила ею память, схватила синюю стеклянную банку, вырвала пробку, запустила руку в горлышко сосуда и, вытащив полную пригоршню белого порошка, начала его прямо есть.

— Стойте! — крикнул он, бросаясь к ней.

— Молчи! Услышат!..

Он был в отчаянии, хотел звать на помощь.

— Ни слова! Если ты скажешь, все обрушится на твоего хозяина! — И она пошла домой, внезапно успокоенная, почти светлая, словно исполнила некий долг.

Когда Шарль, потрясенный вестью об описи, вернулся домой, Эмма

только что ушла. Он кричал, плакал, доходил до обморока, но она не возвращалась. Где она могла быть? Он посылал Фелисите к аптекарю, к господину Тювашу, к Лере, в гостиницу «Золотой Лев» — всюду, а в промежутки душевной агонии видел перед собой гибель своего доброго имени, нищету семьи, разбитую будущность Берты. Что же случилось, в чем причина? Ни слова! Он прождал до шести часов вечера. Наконец не выдержал и, вообразив, что она уехала в Руан, вышел на большую дорогу, прошел с полверсты, никого не встретил, еще подождал и вернулся домой.

Она была уже дома.

— Что случилось?.. В чем дело?.. Объясни мне!..

Она села к письменному столу, написала письмо и медленно запечатала его, пометив число и час дня. Затем торжественно сказала:

— Ты прочтешь его завтра, а до тех пор, прошу тебя, не обращай ко мне ни с какими вопросами!.. Слышишь, ни с какими!

— Но...

— Ах, оставь меня!

Она легла на постель и вытянулась.

Едкий вкус во рту разбудил ее. Она увидела Шарля и снова закрыла глаза.

Она с любопытством наблюдала самое себя, старалась различить, не чувствует ли она страданий. Но нет, пока ничего. Она слышала тиканье часов, треск огня и дыхание Шарля, стоявшего у ее постели.

«Ах, смерть — сущие пустяки! — подумала она. — Засну, и конец!»

Она выпила глоток воды и повернулась к стене.

Противный чернильный вкус во рту не проходил.

— Пить хочу!.. Страшно хочу пить! — вздохнула она.

— Что с тобою? — спросил Шарль, подавая стакан.

— Ничего!.. Открой окно... мне душно!

Вдруг она была застигнута таким приступом рвоты, что едва успела выхватить из-под подушки носовой платок.

— Возьми его прочь, — сказала она поспешно, — выбрось его!

Он стал ее расспрашивать, она не отвечала. Она лежала не шевелясь, из боязни, что малейшее волнение вызовет новую рвоту. Между тем она чувствовала, как ледяной холод распространяется по ее телу от ног и подступает к сердцу.

— А, вот когда начинается! — прошептала она.

— Что ты говоришь?

Она металась по подушке, томясь и тоскуя, раскрывала рот, словно на языке у нее лежала большая тяжесть. В восемь часов рвота возобновилась.

Шарль заметил, что на дне таза остается какой-то белый крупитчатый осадок, приставший к фаянсу.

— Странно! Необычайно! — повторял он. Но она твердым голосом произнесла:

— Ты ошибаешься!

Легонько, как будто лаская, он провел рукой по ее животу. Она дико вскрикнула. Он отшатнулся в крайнем испуге.

Потом она начала стонать, сначала слабо. Сильный озноб сотрясал ее плечи, и она стала бледнее простыни, за которую цеплялась сведенными пальцами. Неровный пульс был теперь почти неслышен.

Капли пота струились по ее посинелому лицу, словно застывшему в металлических испарениях. Зубы стучали, она озиралась расширенными глазами и на все вопросы отвечала кивком головы; два-три раза даже улыбнулась. Мало-помалу стоны стали громче. Вырвался глухой вопль; но она уверяла, что ей лучше, что она скоро встанет. Вдруг с ней сделались судороги.

— О, какой ужас! О господи! — вскричала она. Он упал на колени у ее постели:

— Говори, что ты приняла! Отвечай, ради бога! — И он глядел на нее с такою нежностью, какой она еще не видывала.

— Ну вот там... там!.. — проговорила она слабеющим голосом.

Он бросился к письменному столу, сломал печать и прочел вслух: «Прошу никого не винить...» Остановился, провел по глазам рукою и перечел снова.

— Как!.. Помогите! Ко мне!

Он повторял одно только слово: «Отравилась! Отравилась!» — Фелисите побежала к аптекарю, который вышел с восклицаниями на площадь; госпожа Лефрансуа услышала их из «Золотого Льва», кое-кто из обывателей поднялся с постели, чтобы оповестить соседей, и все местечко было в смятении целую ночь.

Оглушенный происшедшим, что-то бормоча и едва держась на ногах, Шарль кружил по комнате, натыкался на мебель, рвал на себе волосы. Никогда не думал аптекарь оказаться свидетелем столь ужасного зрелища.

Он пошел домой, чтобы написать доктору Канивэ и доктору Ларивьеру, но едва мог собраться с мыслями и разорвал более пятнадцати черновиков. Ипполита послали в Невшатель, а Жюстен так загнал лошадь Бовари, что должен был оставить ее на спуске, в лесу Гильом, разбитую и издыхающую.

Шарль хотел было заглянуть в свой медицинский словарь, но ничего

не мог разобрать, строчки прыгали.

— Успокойтесь! — сказал аптекарь. — Необходимо одно: сильное противоядие. Какой яд?

Шарль показал ему письмо. То был мышьяк.

— Итак, следует произвести анализ, — продолжал Гомэ.

Он знал, что при отравлениях всегда делают анализ. Тот, ничего не понимая, отвечал:

— Делайте! Делайте! Спасите ее!..

Подошел опять к ней, упал на ковер и, прислонясь головою к краю постели, зарыдал.

— Не плачь! — сказала она ему. — Скоро я перестану тебя мучить!

— Зачем? Что тебя заставило?

Она ответила:

— Так было нужно, мой друг.

— Разве ты не была счастлива? Не я ли виноват? Но ведь я все делал, что мог!

— Да... это правда... ты добрый. — И она запустила руку в его волосы, тихо перебирая их.

Сладость этого прикосновения сделала его скорбь чрезмерной; он чувствовал, что все в нем рушится от отчаяния при мысли, что он должен лишиться ее в ту минуту когда она проявляет к нему больше любви, чем когда-либо. И ничего он не мог придумать, ничего не знал и не смел, а требовалось немедленное решение, и эта необходимость окончательно его подавляла.

Покончено все, думала она. Покончено со всеми изменами и низостями, кончилась и непрерывная пытка вождедений. Она никого не ненавидела теперь; смутные сумерки заволакивали ее мысли, и изо всех звуков земли Эмме слышна была только прерывистая жалоба этого бедного сердца, невнятный стон, похожий на последнее эхо удаляющейся симфонии.

— Приведите девочку, — сказала она, приподымаясь на локте.

— Тебе не хуже? Нет? — спрашивал Шарль.

— Нет, нет!

Нянька внесла на руках девочку — в длинной ночной рубашке, из-под которой выглядывали босые ножки, — насуспенную, полусонную. Она с удивлением оглянула беспорядок комнаты и зажмурила глаза, ослепленная горевшими в разных местах свечами. Они, должно быть, напомнили ей утро Нового года или Масленицы, когда ее будили при свечах и приносили в спальню матери за получением подарка, — так как девочка сказала:

— Где же он, мама?

Но все молчали.

— Где же мой башмачок?

Фелисите наклоняла ее над постелью, а ребенок все оглядывался на камин.

— Его, верно, мамка взяла? — спросила девочка. При этом слове, напомнившем ей и ее тайную любовь, и все ее бедствия, госпожа Бовари отвернулась, словно ощутила во рту отвратительный вкус еще более сильного яда. Берту тем временем посадили на кровать.

— Ой! Какие у тебя большие глаза, мама, какая ты белая и вся потная! Мать смотрела на нее.

— Я боюсь! — сказала малютка, отодвигаясь. Эмма хотела поцеловать ее ручку; Берта вырывалась.

— Довольно! Унесите ее! вскричал Шарль, рыдавший у изголовья.

Страдания на минуту прекратились; Эмма металась меньше; и при каждом незначительном ее слове, при каждом более спокойном вздохе в душе его пробуждалась надежда. Когда наконец в комнату вошел Канивэ, Шарль с плачем бросился к нему на шею.

— Ах, это вы! Благодарю, вы очень добры! Ей уже лучше. Вот, взгляните на нее...

Коллега был иного мнения и, действуя, как он говорил, всегда прямо, без околичностей, приказал дать ей рвотного, чтобы окончательно очистить желудок.

Ее вырвало кровью. Губы сжались еще плотнее. Члены сводило, по телу проступили темные пятна, а пульс скользил под пальцами, как натянутая нитка, как струна арфы, готовая лопнуть.

Вдруг она испустила раздирающий крик. Проклинала яд, корила его, умоляла спешить и коченеющими руками отталкивала все, что Шарль, переживавший пытку, худшую пытки ее смертельного борения, пытался влить ей в рот. Он стоял закрыв рот платком, хрипя и задыхаясь от рыданий, потрясавших его с головы до ног. Фелисите металась по комнате; Гомэ не двигался и громко вздыхал; сам Канивэ, всегда сохранявший вид самоуверенного достоинства, был взволнован.

— Черт возьми, однако... желудок теперь прочищен, а раз причина удалена...

— Следствие прекращается, — подхватил Гомэ, — это очевидно.

— Спасите же ее! — восклицал Бовари.

Не слушая аптекаря, который отважился высказать еще гипотезу о том, что «быть может, это благодетельный пароксизм», Канивэ уже готов был

прописать больной прием терияку, когда послышалось щелканье бича, задрожали стекла, и карета, которую во весь опор мчала тройка лошадей, забрызганная до ушей грязью, вылетела из-за угла рынка. То был доктор Ларивьер.

Появление какого-нибудь божества не могло вызвать большего волнения. Бовари поднял руки, Канивэ остановился как вкопанный, а Гомэ снял с головы свою шапочку задолго до появления в комнате знаменитого доктора.

Ларивьер был одним из светил славной хирургической школы Биша; он принадлежал к тому теперь уже исчезнувшему поколению врачей-философов, которое, фанатически преданное своему искусству, работало со страстью и талантом. Все трепетало в клинике, когда Ларивьер гневался, а ученики, его боготворившие, едва начав практику, старались как можно точнее подражать ему во всем; в окрестных городах можно было узнать его питомцев по длинному мериносовому пальто и широкому фраку с расстегнутыми обшлагами, которые лишь слегка закрывали крупные и очень красивые руки их наставника, не знавшие перчаток, словно готовые ежеминутно погрузиться в язвы болящей плоти. Беспечный к орденам, титулам и академиям, гостеприимный, щедрый, отечески ласковый к беднякам и добродетельный без веры в добродетель, он мог бы прослыть чуть не святым, если бы его пронзительный ум не заставлял всех бояться его, как демона. Взгляд его острее хирургического ножа проникал прямо в душу и сквозь все увертки, всю стыдливость обнаруживал ложь. Так жил он, полный того благодушного величия, которое дается человеку сознанием большого таланта, удач и четырьмя десятками годов безупречной трудолюбивой жизни.

Он нахмурил брови еще на пороге, увидя мертвенное лицо Эммы, распростертой на спине, с разинутым ртом. Притворился, что выслушивает Канивэ, и, проводя указательным пальцем под ноздрями, повторял:

— Так, так.

Потом медленно повел плечами. Бовари следил за ним: взгляды их встретились, и даже этот человек, столь привычный к виду страданий, не мог удержать слезы, скатившейся ему на воротник.

Он увел Канивэ в соседнюю комнату. Шарль пошел за ними.

— Плоха, не правда ли? Не поставить ли горчичники? Или что другое! Придумайте что-нибудь, вы столько спасали!

Шарль обнимал его обеими руками и смотрел ему в глаза с испугом и мольбой, припав без сил к его плечу.

— Ну, бедный мой, мужайтесь! Тут ничего уж не поделаешь! — И

доктор Ларивьер отвернулся.

— Вы уезжаете?

— Я еще зайду.

Он вышел как бы затем, чтобы распорядиться лошадьми; за ним последовал Канивэ, вовсе не желавший, чтобы Эмма умерла на его руках.

Аптекарь догнал их на площади. Такова уж была его природа, что он не мог отстать от знаменитостей. Он заклинал Ларивьера оказать ему высокую честь откусать у него в доме.

Поскорей послали в гостиницу «Золотой Лев» за голубями, к мяснику за котлетами, за сливками к Тювашу, за яйцами к Лестибудуа, и аптекарь сам помогал накрывать на стол, меж тем как госпожа Гомэ, теребя завязки своей кофточки, говорила:

— Вы уж нас извините, в нашей глуши, если не знаешь накануне...

— Рюмки!!! — шепнул ей Гомэ.

— Живи мы в городе, то, по крайности, могли бы всегда достать фаршированную...

— Молчи! Доктор, прошу к столу!

За первым же блюдом аптекарь счел уместным сообщить некоторые подробности катастрофы:

— Вначале наблюдалось ощущение сухости в глотке, затем начались невыносимые боли в брюшной полости, суперпургация, коматозное состояние.

— Каким способом она достала яд?

— Неизвестно, доктор, и я даже не могу себе представить, где она ухитрилась добыть мышьяковистую кислоту.

Жюстен, несший в эту минуту стопку тарелок, сильно вздрогнул.

— Что с тобой? — сказал аптекарь.

При этом вопросе молодой человек с оглушительным грохотом уронил все тарелки на пол.

— Дурак! — вскричал Гомэ. — Ротозей! Увалень! Осел проклятый! — Затем, овладев собою, продолжал: — Я, доктор, хотел произвести анализ и — *primo* — ввел осторожно в трубочку...

— Вы бы лучше ввели ей в горло палец! — сказал хирург.

Коллега его молчал, только что получив конфиденциально внушительную головомойку за свое рвотное; почтенный Канивэ, столь заносчивый и словоохотливый в достопамятную эпоху выпрямления кривой ноги, был сегодня весьма скромн и не переставал улыбаться с видом полного согласия.

Гомэ расцветал в своей роли амфитриона, и горестная мысль о Бовари

даже неопределенно содействовала его горделивому благополучию путем эгоистического сопоставления этой плачевной участи с собственной его, аптекаря, судьбой. Присутствие доктора Ларивьера окрыляло его восторгом. Он блистал эрудицией, — чего только не называл он: и кантарид, и растительные яды, анчар, мансенью, и яд гадюки.

— Мне приходилось даже читать, доктор, что некоторые субъекты отравлялись и падали, как пораженные молнией, от яда, развивающегося в сильно прокопченных колбасах. По крайней мере, об этом говорится в прекрасном докладе одного из наших фармацевтических светил, одного из учителей наших, знаменитого Кадэ де Кассикур!

Появилась вновь госпожа Гомэ, держа в руках одну из тех шатких машинок, которые подогреваются спиртом; Гомэ любил варить на столе свой кофе, собственноручно им изжаренный, приведенный с помощью кофейной мельницы в вид тонкого порошка и смешанный с соответствующими ингредиентами.

— *Saccharum*, доктор, — сказал он, пододвигая ему сахарницу. Затем он позвал сверху всех своих детей, желая знать мнение хирурга о их сложении.

Ларивьер уже собирался уезжать, как вдруг госпожа Гомэ пожелала посоветоваться с ним о здоровье мужа: она опасалась приливов крови к мозгу вследствие привычки его спать после обеда.

— О, будьте покойны, усиленное питание мозга может быть для него только полезно. — И, усмехаясь никем не замеченному двусмыслию своего ответа, доктор отворил дверь, ведущую из столовой в аптеку.

Но аптека была битком набита народом, и немалого труда стоило ему отделаться и от господина Тюваша, боявшегося за жену, что она наживет воспаление легкого, имея обыкновение плевать в золу; и от господина Бинэ, страдавшего приступами внезапного голода; и от госпожи Карон, у которой часто бегали по телу мурашки; и от Лере, подверженного головокружениям; и от Лестибудуа, с его жалобами на ревматизм; и от госпожи Лефрансуа, мучившейся отрыжкой. Наконец тройка почтовых лошадей тронулась в путь, после чего все нашли, что доктору следовало бы быть полюбезнее.

Общее внимание направилось между тем на аббата Бурнизьена: он шел через рынок, неся умирающей святой елей.

Гомэ, согласно своим убеждениям, немедленно сравнил священников с воронами, слетающими на трупный запах; вид служителя церкви был ему неприятен — ряса напоминала ему о саване, и он ненавидел первую отчасти из ужаса перед вторым.

Тем не менее, не отступая перед тем, что он называл своим «профессиональным долгом», он опять пошел к Бовари вместе с Канивэ, которого Ларивьер перед отъездом настоятельно об этом просил; и если бы не подействовали протесты жены, он взял бы с собою и двух сыновей для их душевного закала, дабы тяжелое зрелище послужило им уроком, наглядным примером, торжественною памятью на всю жизнь.

Когда они вошли, комната была полна мрачного величия. На рабочем столике, покрытом белую скатертью, на серебряном блюде, рядом с тяжелым серебряным распятием, между двух подсвечников с зажженными свечами, лежало пять-шесть комочков ваты. Эмма, уставившись в грудь подбородком, широко раскрывала глаза, а ее исхудалые пальцы шарили по простыне тем слабым и внушающим ужас движением, которым умирающие словно ищут натянуть уже на себя саван. Шарль, бледный как статуя, с красными, как угли, глазами, стоял, уже не плача, прямо против нее, в ногах кровати; священник, преклонив одно колено, бормотал молитву.

Она медленно повернула голову и, видимо, обрадовалась, увидя фиолетовую епитрахиль, — переживая, быть может, среди осенившей ее глубокой внутренней тишины утраченную сладость своих первых мистических восторгов вместе с забрезжившими видениями вечного блаженства. Священник поднялся, чтобы взять распятие; она вытянула шею, как жаждущий, которому дают пить, и, прильнув губами к телу Богочеловека, изо всех своих слабеющих сил запечатлела на нем самый страстный поцелуй любви, какой когда-либо дарила в жизни. Потом священник прочел *Misereatur* и *Indulgentiam*, обмокнул большой палец правой руки в освященный елей и приступил к соборованию: сначала помазал очи, ненасытно искавшие земных прелестей; потом ноздри, жадные до благоухающих дуновений и любострастных запахов; потом уста, открывавшиеся для лжи, стенавшие от гордости и сладострастия; потом руки, услаждавшиеся чувственными прикосновениями, и, наконец, ступни ног, некогда столь быстрых и проворных, чтобы бежать на зов желания, но которым теперь не суждено более ходить.

Священник отер пальцы, бросил пропитанную елеем вату в огонь и сел у изголовья умирающей, наставляя ее, что ныне должна она соединить свои страдания со страданиями Иисуса Христа и предать себя Божью милосердию.

Заканчивая свои увещания, он попытался вложить ей в руку освященную свечу, символ небесного света, коим она будет окружена вскоре. Эмма была так слаба, что не могла сомкнуть пальцев и без

поддержки священника свеча упала бы на пол.

Зато она казалась менее бледной, и лицо ее приняло выражение светлого спокойствия, словно соборование ее исцелило.

Священник не преминул обратить на это внимание и даже указал Шарлю на то, что Господь благоволит иногда продлить жизнь человека, если считает это полезным для его спасения; Шарль вспомнил тот день, когда Эмма, будучи также при смерти, причащалась.

«Не нужно, быть может, отчаиваться», — подумал он.

В самом деле, она обвела комнату глазами, медленно, как бы пробуждаясь от сна; потом ясным голосом попросила дать ей зеркало и оставалась склоненной над ним, пока крупные слезы не покатались из ее глаз. Тогда она запрокинула голову и со вздохом откинулась на подушку.

Грудь ее начала вздыматься быстро и прерывисто. Язык весь высунулся изо рта; глаза, выкатываясь, тускнели, как два шара гаснущих ламп; можно было подумать, что она уже умерла, если бы не ужасное и все ускорявшееся колыхание ребер, сотрясаемых яростным дыханием, словно душа ее рвалась и неимоверно усиливалась освободиться. Фелисите упала перед распятием, даже сам аптекарь слегка подогнул колени, один лишь Канивэ безучастно глядел в окно. Отец Бурнизьен стал читать новые молитвы, склонив лицо над краем постели, и его длинная черная сутана далеко легла за ним по полу. Шарль стоял по другую сторону кровати, на коленях, с протянутыми к Эмме руками. Он сжимал ее руки в своих и вздрагивал при каждом биении ее сердца, словно в нем отдавались сотрясения обрушивающихся развалин. По мере того как предсмертный хрип усиливался, бормотание священника ускорялось: слова молитв сливались с заглушенными рыданиями Бовари, и несколько раз, казалось, все исчезало в глухом рокотании церковной латыни, звучавшей, как похоронный перезвон.

Вдруг на тротуаре послышалось шарканье деревянных башмаков вместе со стуком палки; хриплый голос затянул песню:

— Волнует нежно летний зной
Желанья девы молодой.

Эмма приподнялась, подобная гальванизированному трупу, — с распушенными волосами, с широко раскрытыми, неподвижными глазами.

— С утра прилежная Нанета

Упругий стан над нивой гнет,
Сбирая дань златую лета,
Что серп жнеца пред нею жнет.

— Слепой! — вскричала она. И захохотала ужасным, диким, полным безумного отчаяния хохотом, словно отвратительное лицо урода предстало перед ней страшилищем на лоне вечной тьмы.

— Но ветер дунул в ясный дол
И вверх задрал ее подол...

Судорога снова бросила ее на матрас. Все подошли. Она уже не дышала.

Глава IX

Всякая смерть исполняет живых чувством непонятого изумления: мысль отказывается постичь внезапное прекращение бытия прежде, чем покориться и поверить совершившемуся. Приметив наконец, что Эмма уже давно не двигается, Шарль бросился на тело с воплем:

— Прощай! Прощай!

Гомэ и Канивэ вытащили его из комнаты.

— Будьте же благоразумны!

— Да, — говорил он, отбиваясь, — я буду благоразумен, я не сделаю ничего худого. Но пустите меня! Я хочу ее видеть! Ведь она моя жена! — И заплакал.

— Поплачьте, — сказал аптекарь, — дайте простор естественному выражению чувств, это вас облегчит!

Слабосильнее ребенка, Шарль уже не противился: его увели вниз в залу, а Гомэ пошел домой.

На площади к нему пристал слепой, который, дотащившись до Ионвиля в надежде на целебную мазь, расспрашивал каждого прохожего, где живет аптекарь.

— Ну вот еще! Словно у меня нет других хлопот! Некстати явился, приходи в другой раз! — И он стремительно скрылся в аптеку.

Ему надобно было написать два письма, приготовить успокоительное снадобье для Бовари, придумать какую-нибудь небылицу, чтобы воспрепятствовать распространению слухов об отравлении, и написать в этом духе заметку для «Руанского Маяка», не говоря уже о клиентах, ожидавших его для получения от него сведений. После того как ионвильские обыватели выслушали рассказ о том, как Эмма, готовя ванильный крем, приняла мышьяк за сахар, Гомэ снова вернулся к Бовари.

Он застал его одного: Канивэ только что уехал. Шарль сидел в кресле у окна, уставясь бессмысленным взглядом в пол столовой.

— Теперь вам следует установить самому час обряда. — сказал аптекарь.

— Зачем? Какого обряда? — И пугливо залепетал: — О нет, нет! Я ее не отдам! Я ее оставляю здесь!

Гомэ из приличия взял с этажерки графин с водою и полил герани.

— Ах, благодарю вас! — воскликнул Шарль. — Вы очень добры!

Он остановился, задыхаясь под наплывом воспоминаний, вызванных

этим движением аптекаря.

Тогда, чтобы немного рассеять его, Гомэ счел уместным поговорить о садоводстве: растения нуждаются во влаге. Шарль, в знак одобрения, кивнул головой.

— Впрочем, скоро настанет хорошая погода.

— А... — отозвался Бовари.

Аптекарь, не зная, о чем повести речь, слегка раздвинул оконные занавески:

— А, вот Тюваш идет.

Шарль повторил, как машина:

— Тюваш идет.

Гомэ не осмеливался опять заговорить с ним о похоронах; наконец священнику удалось добиться от него необходимых распоряжений.

Он заперся в своем кабинете, взял перо и после долгих рыданий написал:

«Я хочу, чтобы ее похоронили в подвенечном платье, в белых башмаках и в венке. Волосы распустить по плечам. Три гроба — дубовый, красного дерева и свинцовый. Пусть мне ничего не говорят, у меня хватит сил. На гроб положить вместо покрывала большой кусок зеленого бархата. Такова моя воля. Сделайте все, как я хочу».

Друзья были удивлены романтическими желаниями Бовари, и аптекарь поспешил заметить:

— Бархат кажется мне излишним. К тому же расходы.

— Не ваше дело! — вскричал Шарль. — Оставьте меня! Вы ее не любили! Уйдите вон!

Священник взял его под руку, чтобы заставить пройти по саду. Заговорил о тщете всего земного. Господь велик и благ, люди должны без ропота покоряться Его велениям и благодарить Его за все.

Шарль разразился богохульствами:

— Проклинаю я вашего Бога!

— Дух мятежа еще владеет вами, — вздохнул священник.

Но Бовари был уже далеко впереди. Он шел крупными шагами вдоль стены, под шпалерами, скрежетал зубами и поднимал к небу взгляды, полные ненависти; ни один листок не шелохнулся.

Заморосил дождь. Шарль, у которого была обнажена грудь, почувствовал холод; вошел в кухню и сел.

В шесть часов на площади раздалось гроыхание железа: то приехала «Ласточка». Шарль стоял, прислонясь лбом к оконному стеклу, и смотрел, как друг за другом выходили пассажиры. Фелисите постлала ему тюфяк в

гостиной на полу; он бросился на него и заснул.

Гомэ, хотя и был философ, все же оказывал усопшим уважение; поэтому, не помня зла и простив бедного Шарля, он пришел вечером пободрствовать над покойницей, захватив с собою три тома и записную книжку для заметок.

Аббат Бурнизьен был уже там, и две толстые свечи горели у изголовья постели, выдвинутой из алькова.

Аптекарь, которого молчание тяготило, не замедлил высказать несколько жалоб о плачевной участи «этой несчастной женщины»; священник ответил, что теперь остается лишь молиться за нее.

— Однако, — возразил Гомэ, — одно из двух: или она умерла в благодати (как выражается Церковь), и тогда она вовсе не нуждается в наших молитвах, или же она умерла нераскаянной (тоже, кажется, церковное выражение), и тогда...

Бурнизьен прервал его, сердито отрезав, что молиться нужно во всяком случае.

— Но, — возразил аптекарь, — раз Бог знает все наши нужды, к чему вообще молитва?

— Как так? — сказал священник. — К чему молитва? Да вы нехристь, что ли?

— Извините, — сказал Гомэ, — я преклоняюсь перед христианством. Оно освободило рабов, ввело в мир нравственные понятия...

— Дело не в этом! Все Писания...

— О, что касается Писаний, почитайте историю, известно, что все тексты были подделаны иезуитами.

В комнату вошел Шарль и, подойдя к кровати, тихонько раздвинул полог.

Голова Эммы была слегка склонена к правому плечу. Разинутый рот казался черной дырой в нижней части лица. Большие пальцы застыли пригнутыми к ладоням. Беловатая пыль облепила ресницы, а незакрытые глаза начинали подергиваться липкою, бледною пленкой, похожей на тонкую паутину, сотканную пауками. Простыня ввалилась над грудью и коленями и приподнималась только над пальцами ног; Шарлю казалось, будто неизмеримо тяжкая громада навалилась на мертвую.

На церковных часах пробило два. Слышно было громкое журчание реки, бежавшей в темноте под террасой. Аббат Бурнизьен по временам шумно сморкался, а Гомэ скрипел пером по бумаге.

— Послушайте, друг мой, — сказал он Шарлю, — уйдите, это зрелище раздражает вам душу.

Едва Шарль ушел, как аптекарь и священник опять заспорили.

— Прочтите Вольтера, — говорил один, — прочтите Гольбаха, прочтите Энциклопедию!

— Прочтите «Письма нескольких португальских евреев», — говорил другой, — прочтите «Дух христианства», книгу Николя, бывшего судьи!

Оба разгорячились, покраснелись, говорили зараз, не слушая друг друга. Бурнизьен был возмущен такою дерзостью, Гомэ изумлен такою глупостью; они были уже на шаг от обмена оскорблениями, когда опять внезапно появился Шарль. Его влекло сюда словно какое-то притяжение, и он ежеминутно поднимался по лестнице.

Он становился против нее, чтобы лучше ее видеть, и забывался в этом созерцании, которое уже не было мучительно, так как было слишком глубоко. Он припоминал рассказы о летаргическом сне, о чудесах магнетизма и убеждал себя, что стоит ему пожелать сильно — и, быть может, ему удастся вернуть ее к жизни. Раз даже он наклонился над нею и тихо окликнул: «Эмма! Эмма!» Его дыхание, вырвавшись с силою, заколебало пламя свечей у стены.

На рассвете приехала его мать; Шарль, целуя ее, опять разрыдался. Она, как и аптекарь, позволила себе несколько замечаний по поводу расходов на похороны. Он так рассердился, что она умолкла, и даже поручил ей самой отправиться немедленно в город, чтобы закупить все необходимое.

Все послеобеденное время Шарль оставался один; Берту отвели к госпоже Гомэ; Фелисите сидела в комнате наверху с теткой Лефрансуа.

Вечером он принимал посетителей. Вставал, пожимал руки, не будучи в состоянии сказать ни слова; новопришедший присаживался к другим гостям, составившим широкий полукруг перед камином. С опущенными головами и положив ногу на ногу, они покачивали ногой и время от времени выпускали глубокие вздохи; каждый скучал непомерно, и все старались пересидеть друг друга.

Когда в девять часов опять появился Гомэ (только его и видели на площади за последние два дня), он был нагружен запасом камфоры, бензоя и ароматических трав. Он принес также склянку хлора для уничтожения миазмов. В это время Фелисите, тетка Лефрансуа и старуха Бовари вертелись вокруг Эммы, кончая ее одевать; они покрыли ее длинным жестким тюлем вплоть до атласных башмаков.

Фелисите плакала:

— Ах, бедная моя барыня! Бедная барыня!

— Взгляните на нее, — говорила трактирщица, — какая она все еще

красотка! Подумаешь, вот сейчас встанет!

Они наклонились, чтобы надеть на мертвую венок: пришлось слегка приподнять голову; и вдруг изо рта хлынул — словно покойницу вырвало — поток черной жидкости.

— Ах, боже мой! Платье-то, платье берегите! — воскликнула госпожа Лефрансуа. — Да помогите же нам, — сказала она аптекарю, — или вы уже струсили?

— Я струсил? — возразил тот, пожав плечами. — Я и не то еще видывал в больнице Отель-Дье, когда изучал фармацевтику! Мы в анатомическом театре во время вскрытий, бывало, варили пунш! Смерть не пугает философа, и даже — впрочем, я не раз говорил это — я намерен завещать свой труп клиникам, чтобы он мог послужить науке.

Священник, придя, осведомился, как чувствует себя господин Бовари, и, выслушав ответ аптекаря, сказал:

— Утрата, понимаете, еще слишком свежа!

Гомэ, к слову, поздравил его, что он не подвержен, как другие люди, опасности потерять подругу жизни; отсюда вспыхнул спор о безбрачии духовенства.

— Неестественно, — говорил аптекарь, — чтобы человек жил без женщины! Случались даже преступления...

— Чертова кукла! — воскликнул священник. — Да мыслимо ли, чтобы человек, состоящий в браке, мог, например, сохранить тайну исповеди?

Гомэ напал на исповедь. Бурнизьен защищал ее; он распространился о тех случаях, когда она чудесно перерождает человека. Рассказал несколько анекдотов о ворах, превратившихся в честных людей. У многих военных, когда они приближались к исповедальне, словно чешуя спадала с глаз. Во Фрейбурге был священник...

Собеседник его спал. Так как в тяжелой атмосфере комнаты было слишком душно, он распахнул окно, что разбудило аптекаря.

— Не угодно ли? — сказал он ему, подавая табакерку. — Возьмите-ка щепоточку, это освежает.

Где-то вдалеке слышался протяжный лай.

— Слышите, собака воет? — спросил аптекарь.

— Говорят, они чуют покойников, — ответил священник. — Так же вот и пчелы: они улетают из ульев, если в доме покойник.

Гомэ не обличил суеверия этих предрассудков, так как опять заснул.

Бурнизьен, более крепкий, еще некоторое время беззвучно шевелил губами, потом, сам того не чувствуя, опустил подбородок, выронил из рук толстую черную книгу и захрапел.

Они сидели друг против друга, выпятив живот, с обрюзглыми, насупленными лицами, встретясь наконец после стольких несогласий в общей человеческой слабости, и были недвижны, как труп возле них, который, казалось, тоже спит.

Шарль, войдя, не разбудил их. То было в последний раз. Он пришел проститься с нею.

Ароматические травы еще курились; и клубы голубого дыма сливались у окна с туманом, проникавшим в комнату. На небе мерцало несколько звезд, ночь была тихая.

Воск со свечей крупными слезами падал на простыни постели. Шарль смотрел на свечи, утомляя себе глаза блеском желтого пламени.

На атласном платье, белом, как лунное сияние, трепетали переливы света. Эмма исчезала под ними; и ему казалось, что, выходя из своего тела, она смутно расплывается в окружающем мире, сливая себя с тишиной ночи, с дуновением ветерка, с влажными испарениями земли.

Потом вдруг он видел ее перед собой, как живую, то в саду Тоста на скамейке, у терновой изгороди, то на улицах Руана, то на пороге их дома, то на дворе фермы Берто. В ушах его раздавался смех парней, что плясали тогда под яблонями. Комната была полна ароматом ее волос, и платье ее шелестело у него под рукой, словно потрескивали искры. Оно было все то же!

Долго вспоминались ему все мгновения минувшего счастья, ее позы, движение, звук ее голоса. Едва стихал один приступ отчаяния, начинался другой, и так все время длилась их неисчерпаемая смена, как волны разбушевавшегося моря.

Он ощутил смешанное со страхом любопытство: тихо кончиками пальцев приподнял, дрожа, вуаль.

Крик ужаса вырвался из его груди и разбудил обоих спящих. Они увели его вниз, в гостиную.

Вслед затем пришла Фелисите и сказала, что он просит прядь волос покойницы.

— Отрежьте! — ответил аптекарь.

Она не осмеливалась, и Гомэ подошел сам с ножницами в руке. Он так дрожал, что в нескольких местах на виске проколол кожу. Наконец, подавляя волнение, резнул два-три раза наугад и оставил белые просветы в этих прекрасных густых черных волосах.

Аптекарь и священник снова погрузились в свои занятия, время от времени задремывая и взаимно упрекая в этом друг друга при каждом новом пробуждении. Тогда Бурнизьен кропил в комнате святою водой, а

Гомэ посыпал пол легким слоем хлора.

Фелисите позаботилась оставить для них на комодке бутылку водки, сыр и большой сдобный хлеб. Гомэ, выбившийся из сил к четырем часам утра, вздохнул:

— А знаете ли, я был бы не прочь подкрепиться!

Священника не нужно было уговаривать: он немедленно пошел отслужить краткую мессу, вскоре вернулся, и оба закусили и выпили, чуть-чуть посмеиваясь, сами не зная чему, — поддаваясь той безотчетной веселости, какая овладевает людьми после обрядов печали. И за последней рюмкой священник сказал аптекарю, похлопывая его по плечу:

— Уж мы с вами наконец-таки сталкиваемся!

Внизу, в сенях, они встретили пришедших рабочих. Часа два потом Шарль должен был выносить пытку молотка, стучавшего по доскам. Потом ее снесли вниз в дубовом гробу, который вставили затем в два других; но так как свинцовый был слишком просторен, пришлось законопатить промежутки шерстью, вынутой из тюфяка. Наконец, когда все три крышки были пригнаны, заколочены и запаяны, гроб поставили перед растворенными настежь дверями. Дом был открыт, и ионвильцы начали стекаться на вынос тела.

Приехал старик Руо. На площади, заведя над дверьми дома черное сукно, он лишился чувств.

Глава X

Он получил письмо аптекаря полутора сутками позже события; щадя его чувствительность, Гомэ составил извещение так, что нельзя было понять, к чему готовиться.

В первую минуту старик упал, словно пораженный апоплексическим ударом. Потом истолковал письмо в том смысле, что она не умерла, но что это может случиться. Тогда он надел блузу, схватил шляпу, нацепил на башмак шпору и понесся во весь опор; и всю долгую дорогу старик Руо, еле дыша, терзался тоской и страхом. Раз даже ему пришлось слезть с лошади: в глазах у него потемнело, за ним слышались какие-то голоса, ему казалось, что он сходит с ума.

Занялась заря. Он увидел трех черных кур, спавших на ветке, и задрожал от испуга при этом предзнаменовании. Тотчас дал он обет Пресвятой Деве пожертвовать на Церковь три облачения и пройти босиком от кладбища Берто до Вассонвильской часовни.

Он въехал в Маромму, клича людей с постоялого двора, высадил дверь плечом, подскочил к мешку с овсом, вылил в колоду бутылку сладкого сидра и вскочил снова на свою лошадку, которая поскакала во всю прыть.

Он твердил про себя, что Эмму, наверное, вылечат, врачи отыщут средство, это уж несомненно. Он припомнил все чудесные исцеления, о которых слышал в своей жизни.

Потом дочь представлялась ему мертвой. Лежала перед ним на спине, посреди дороги. Он дергал поводьями, и галлюцинация исчезала.

В Кенкампуа, чтобы как следует подбодриться, он выпил один за другим три стакана кофе.

Потом ему подумалось, не ошиблись ли в письме именем. Стал искать его по карманам, ощупал, но не посмел вынуть.

Он дошел до того, что стал подозревать во всем шутку, чью-нибудь месть, проделку подвыпившего весельчака: ведь если бы она умерла, это было бы всячески известно! Да нет, ничего не случилось! Кругом все по-прежнему: небо голубело, качались деревья, мимо гнали стадо баранов. Показалось местечко: видели, как он въезжал, пригнувшись к шее лошади, которую колотил изо всей мочи: вся подпруга была в крови...

Очнувшись от обморока, он в слезах упал на грудь Бовари:

— Дочка! Эмма! Дитя мое! Объясните мне...

А тот отвечал, рыдая:

— Не знаю, не знаю! Это какое-то проклятие!

Аптекарь разлучил их:

— Бесполезно излагать все ужасные подробности. Потом я все расскажу господину Руо. Вот уже люди сходятся. Побольше достоинства, черт побери! Немножко философии!

Бедняга Шарль хотел казаться твердым и несколько раз повторил:

— Да... побольше мужества!

— Что ж, — сказал старик, — у меня его хватит, гром меня разрази! Провожу ее до могилы.

Звонил колокол. Все было готово. Пора была тронуться в путь.

И, сидя в церкви рядом, они видели, как мимо них беспрестанно взад и вперед ходили трое причетников с протяжным пением. Хрипел и надрывался орган. Бурнизьен, в полном облачении, возглашал тонким голосом, склонялся перед дарохранительницей, воздевал руки вверх, простирая их вперед. Лестибудуа ходил по церкви со своей метелкой; вблизи аналая, между четырьмя рядами свечей, стоял гроб. Шарля подмывало встать, подойти и потушить эти свечи.

Он старался, однако, вызвать в себе набожное настроение, вознестись надеждой к будущей жизни, где он встретится с нею. Он представлял себе, что она уехала путешествовать, очень далеко и очень давно. Но когда он вспоминал, что она тут, в гробу, что все кончено, что ее сейчас зароят в землю, его охватывала ярость черного отчаяния. Порой ему казалось, что он уже ничего не чувствует; и он наслаждался этим затишьем своей скорби, презирая себя в то же время за свое подлое бессердечие.

Вдруг раздался по плитам сухой и мерный стук окованной железом палки. Он донесся из глубины церкви и смолк в боковом приделе. Человек в грубой коричневой куртке с большим усилием преклонил колени. То был Ипполит, конюх из «Золотого Льва». Он надел свою новую ногу.

Один из причетников обходил церковь, собирая пожертвования, и тяжелые медяки один за другим звякали о серебряное блюдо.

— Скоро ли вы, наконец, отслужите? Ведь это невыносимо! — воскликнул Бовари, сердито бросая ему на блюдо пятифранковую монету.

Церковный служитель поблагодарил его низким поклоном.

Опять пели, становились на колени, вставали, и казалось, этому не будет конца! Ему вспомнилось, что вскоре по приезде сюда они были однажды у обедни и сидели там, направо, у стены. Снова ударил колокол. Шумно задвигали стульями. Носильщики проделали три перекладыны под гроб, и все стали выходить из церкви.

На пороге аптеки показался Жюстен. Но тотчас же ушел обратно,

бледный, едва держась на ногах.

Из всех окон следили за печальным шествием. Шарль шел впереди, стараясь держаться прямо. Он бодрился и кивал тем, которые, выходя из переулков или дверей, присоединялись к провожавшим.

Шестеро носильщиков, по трое с каждой стороны, двигались мелкими шагами, немного запыхавшись. Церковный причт, певчие и два мальчика, прислуживавшие за богослужением, пели речитативом «De profundis»; их голоса разносились по полям, то усиливаясь на подъеме дороги, то замирая на спуске. Временами они исчезали на повороте тропинки, но большой серебряный крест оставался виден из-за деревьев.

Женщины шли позади, в черных накидках, со спущенными капюшонами; в руках у них были толстые зажженные свечи. У Шарля кружилась голова от этого бесконечного повторения молитв, от мелькания свечей, от приторного запаха воска и облачений. Дул свежий ветерок, зеленела рожь и полевая репа, мелкие капли росы дрожали на терновых изгородях вдоль дороги. Веселые звуки наполняли окрестность: стук телеги, катившейся где-то по далекой меже, пение раскричавшегося петуха, топот жеребенка, скачущего под яблонями. Чистое небо было усеяно розовыми облачками, голубоватые струйки дыма стлались по крышам хижин, поросшим ирисами. Шарль, проходя мимо, узнавал знакомые дворы. Он вспоминал другие утра, подобные сегодняшнему, когда, навестив своих больных, он выходил из этих домиков и возвращался к ней.

Черное сукно, усеянное серебряными слезами, от ветра приподымалось и открывало гроб. Носильщики, притомившись, замедляли шаг, и гроб подвигался толчками, словно лодка, ныряющая в волнах.

Дошли. Мужчины продолжали спускаться с холма, до того места на лужайке, где была вырыта могила.

Все стали вокруг; и пока священник говорил, красноватая земля, выброшенная из могилы, непрерывно и тихо осыпалась по углам обратно в яму.

Потом, поддев под гроб четыре веревки, стали его спускать. Шарль смотрел. Гроб опускался все глубже.

Наконец послышался глухой толчок; веревки со скрипом были вытянуты обратно. Бурнизьен взял лопату, протянутую ему церковным сторожем; держа в правой руке кропило, левою он с силой бросил в могилу глыбу тяжелой земли; деревянный гроб, по которому застучали камешки, издал тот страшный звук, который кажется нам отголоском вечности.

Священник передал кропило соседу. Им оказался Гомэ. Он торжественно потряс им, потом протянул его Шарлю, стоявшему по колено

в земле и бросавшему ее полными пригоршнями со словами: «Прощай!» Он посылал гробу поцелуи, тянулся к яме, словно желая быть зарытым вместе с погребаемой.

Его увели, и он тотчас утих, испытывая, быть может, как и все, смутное облегчение от того, что все кончилось.

Старик Руо на обратном пути спокойно закурил трубку, что Гомэ в глубине души счел не вполне приличным. Он отметил также, что Бинэ воздержался от присутствия на похоронах, что Тюваш «сбежал» тотчас после обедни и что Теодор, лакей нотариуса, одет в синий сюртук, «словно не могли ему достать черного, раз уж таков обычай, черт побери!». Чтобы поделиться своими наблюдениями, аптекарь переходил от одной группы к другой. Все выражали сокрушение о смерти Эммы, и особенно Лере, не преминувший явиться на похороны.

— Бедная барынька! Экое горе для мужа!

— Знаете, если бы не я, — подхватил аптекарь, — он, пожалуй, покусился бы на самоубийство.

— Такая милая дама! И подумать только, что еще в прошлую субботу она заходила ко мне в лавку!

— Мне было некогда, — сказал Гомэ, — приготовить несколько слов, которые я хотел бы произнести на ее могиле.

Придя домой, Шарль переоделся, и старик Руо снова облекся в свою синюю блузу. Блуза была новая, и так как он, едучи в Ионвиль, то и дело вытирал глаза рукавами, она слиняла и оставила пятна на его лице, а слезы нарисовали потоки в покрывавшей его пыли.

Бовари-мать сидела с ними. Все трое молчали. Наконец старик вздохнул:

— Помните, друг мой, как я приехал к вам в Тост, когда вы только что схоронили вашу первую жену. Тогда я мог вас утешать. У меня нашлось что вам сказать. А теперь... — И с глубоким стоном, всколыхнувшим всю его грудь, он сказал: — Ах, да что! Для меня это — видите ли вы — всему конец. Схоронил жену... потом сына... а вот сегодня и дочку!

Он пожелал немедленно ехать в Берто, говоря, что не сможет заснуть в этом доме. Даже внучку не захотел повидать.

— Нет! Нет. Еще больше горя — уж и не под силу. Поцелуйте ее за меня покрепче! Прощайте... вы славный малый! А насчет этого, — и он ударил себя по ляжке, — я никогда не забуду, будьте покойны! Всегда аккуратно будете получать свою индюшку!

Но, доехав до вершины холма, он обернулся, как обернулся некогда по дороге в Сен-Виктор, провожая дочку. Окна ионвильских домов горели

пожаром под косыми лучами солнца, спускавшегося за луг. Он покрыл глаза рукою и на горизонте увидел ограду, за которой кое-где купами чернели деревья меж белых камней; потом продолжал путь мелкой рысцой, так как лошадка его захромала.

Шарль и его мать, несмотря на усталость, просидели долго вместе в этот вечер. Вспоминали прошлое, гадали о будущем. Она переедет к нему в Ионвиль, будет вести хозяйство; они уже не расстанутся. Она была находчива и ласкова, радуясь в душе, что наконец опять овладеет любовью сына, столько лет от нее ускользавшей. Пробило полночь. В местечке воцарилась обычная тишина; но Шарль бодрствовал и все думал о ней.

Родольф целый день бродил по лесу, стараясь рассеяться, и теперь спокойно спал в своем замке. Леон, в городе, тоже спал.

Но был еще человек, проводивший без сна этот полуночный час.

На могиле, между сосен, стоял на коленях юноша и горько плакал. Грудь его, разрываемая рыданиями, тяжело дышала в темноте под гнетом огромного горя, безмолвного, как луна, и бездонного, как ночь. Вдруг скрипнула калитка. То был Лестибудуа, он пришел за своим заступом. Он узнал Жюстена, перелезавшего через ограду, и наконец догадался, кто тот вор, что таскает у него по ночам картофель.

Глава XI

Шарль наутро послал за девочкой. Она хотела видеть маму. Ей сказали, что мама уехала и привезет ей игрушек. Берта несколько раз вспоминала о ней, потом забыла. Веселость ребенка надрывала сердце Бовари, и, сверх того, ему приходилось выслушивать невыносимые утешения аптекаря.

Вскоре начались сызнова денежные дразги: Лере подстрекал своего приятеля Венсара, и Шарль выдал ему векселей на огромную сумму, так как не соглашался продать ни одной из ее вещей. Мать его была вне себя от гнева. Он негодовал еще сильнее. Его нрав резко изменился. Она уехала из его дома.

Тут уже каждый торопился пользоваться. Мадемуазель Ламперер пожелала получить шестимесячный гонорар за уроки музыки, хотя Эмма не взяла у нее ни одного (вопреки оплаченному счету, который она показала мужу): таков был уговор между обеими женщинами. Из библиотеки требовали абонементную плату за три года чтения. Тетка Рол-лэ предъявила счет почтовых издержек за отправку двадцати писем, и когда Шарль попросил разъяснений, она весьма скромно ответила:

— Я почему знаю? То были барынины дела!

Уплачивая каждый новый долг, Шарль думал, что это последний. Но постоянно обнаруживались другие.

Он попросил пациентов уплатить ему за прежние визиты. Ему показали письма его жены. Пришлось извиняться.

Фелисите носила теперь барынины платья, не все, впрочем, так как некоторые Шарль спрятал и ходил смотреть на них в ее уборную, где запирался. Горничная была почти одного роста с Эммой, и часто Шарль, видя ее спину, поддавался иллюзии и восклицал:

— Постой! Не двигайся!

Но к Троицыну дню она покинула Ионвиль, похищенная Теодором и украв все, что оставалось еще из барынина гардероба.

Как раз в это время вдова Дюпюи имела честь сообщить ему о «бракосочетании ее сына, господина Леона Дюпюи, нотариуса в Ивето, с девицею Леокадией Лебёф из Бондевиля». Шарль, поздравляя ее, между прочим, вставил в письмо следующую фразу: «Как была бы рада моя бедная жена!»

Однажды, бесцельно бродя по дому и поднявшись на чердак, он наступил туфлей на скомканный листок почтовой бумаги, развернул его и

прочел: «Мужайтесь, Эмма! Мужайтесь! Я не хочу составить несчастье вашей жизни...» То было письмо Родольфа: оно завалилось за ящики и лежало там до тех пор, пока ветер из слухового окна не пригнал его к двери.

Шарль замер с раскрытым ртом на том самом месте, где некогда Эмма, еще бледнее его и в полном отчаянии, призывала смерть. Наконец он разобрал еле заметную букву «Р» в конце второй страницы. Что это? Он припомнил ухаживания Родольфа, его внезапное исчезновение и смущение на его лице при нескольких позднейших встречах. Но почтительный тон письма обманул его.

«Быть может, они любили друг друга платонической любовью», — подумал он.

Шарль к тому же был не из тех, что не могут успокоиться, не добравшись до сути дела. Он закрыл глаза на явные улики, и ревность, смутно шевельнувшаяся в нем, потонула в его беспредельном горе.

Всем, думал он, она должна была нравиться. Мужчины, без сомнения, жаждали обладать ею все. При этой мысли она показалась ему еще прекраснее; к его тоске присоединилось непрерывное, жгучее желание, распялявшее его отчаяние и не имевшее границ, так как теперь оно было неосуществимо.

Чтобы нравиться ей, словно она была еще жива, он стал принаравливать к ее вкусам, к ее пристрастиям — носить лаковые ботинки и белые галстуки, фабрить усы и подписывать векселя, как она. Она развращала его и за могилой.

Он был принужден распродать одну за другой серебряные вещи, потом мебель из гостиной. Все комнаты опустели, но спальня, ее спальня, оставалась нетронутой. После обеда Шарль поднимался по лестнице и входил туда. Он ставил ближе к камину круглый стол и придвигал ее кресло, сам же садился напротив. Свеча горела в бронзовом вызолоченном подсвечнике. Возле него Берта раскрашивала картинки.

Бедняга страдал, видя, что она так плохо одета, что на ее башмачках нет тесемок, а проймы блузочек разорваны до пояса, так как прислуга совсем о ней не заботилась; но она была так мила, так кротка, так грациозно склоняла головку, причем густые белокурые волосы закрывали ее розовые щечки, что его охватывала безграничная радость, наслаждение, отдававшее горечью, подобно тому как плохие вина иногда пахнут смолой. Он чинил ее игрушки, вырезывал паяцев из картона, зашивал распоротые животы кукол. И вдруг, если взгляд его падал на рабочий ящик, на валявшуюся ленточку или на булавку, застрявшую в трещине стола,

погружался в задумчивость, и так грустно было его лицо, что и малютка опечаливалась, как он сам. Никто теперь не приходил к ним: Жюстен убежал в Руан, где поступил в мелочную лавку приказчиком, а дети аптекаря навешали девочку все реже и реже, так как Гомэ, ввиду разницы их общественного положения, не настаивал более на укреплении их дружбы.

Слепой, которого ему не удалось вылечить своею мазью, бродил снова по возвышенности Гильомского леса и рассказывал проезжим о тщетной попытке аптекаря, так что Гомэ, едучи в город, прятался за шторы дилижанса во избежание неприятной встречи. Он глубоко его ненавидел и в интересах своей репутации, стремясь во что бы то ни стало от него избавиться, подвел под него тайную мину, раскрывавшую глубину его хитрости и происки его тщеславия. Месяцев шесть кряду в «Руанском Маяке» появлялись заметки, составленные в следующих, примерно, выражениях:

«Все лица, направляющиеся в плодородную долину Пикардии, несомненно замечали на возвышенности Гильомского леса несчастного калеку с ужасною язвой на лице. Он надоедает проезжим, преследует их и взимает с них форменный налог. Неужели мы не вышли еще из чудовищного средневековья, когда дозволялось бродягам выставлять напоказ на городских площадях золотуху и проказу, принесенные ими из крестовых походов?»

Или же:

«Невзирая на законы против бродяжничества, окрестности наших больших городов кишат по-прежнему толпами нищих. Есть между ними и такие, которые бродят в одиночку и являются отнюдь не наименее опасными. О чем думают наши эдилы?»

Потом Гомэ придумывал анекдоты:

«Вчера на горе, в Гильомском лесу, лошадь испугалась и понесла»... Следовал рассказ о несчастном случае, причиненном появлением слепого.

Он добился того, что калеку засадили. Но вскоре его выпустили, и он принялся за старое. Гомэ не уступал; то была упорная борьба. Победил аптекарь: враг был приговорен к пожизненному заключению в приюте.

Этот успех придал ему смелости: с тех пор в округе не было ни одной задавленной собаки, сожженной риги или побитой женщины, о коих он не оповестил бы тотчас публику, всегда одушевляемый любовью к прогрессу и ненавистью к попам. Он проводил параллель между начальными школами и выучкой у невежественных монахов, — конечно, в ущерб последним; напоминал по поводу присуждения суммы в сто франков в

пользу Церкви — о Варфоломеевской ночи, обличал злоупотребление, спускал отравленные стрелы. Это было его собственное словечко. Гомэ подкапывался под основы существующего строя; он становился опасен.

В то же время он задыхался в узких рамках газетной работы: вскоре ему понадобилась книга, большой труд! Тогда он написал «Общую статистику округа Ионвиля, с приложением климатологических наблюдений», а статистика привела его к философии. Он занялся важными проблемами: социальным вопросом, повышением нравственного уровня бедных классов, задачами рыбоводства, вопросом о каучуке, железнодорожной политикой и т. д. Он уже стыдился быть простым буржуа, подражал замашкам художников, стал курить. Купил две весьма модные статуэтки, во вкусе помпадур, для украшения гостиной.

Но и фармацевтику он не забросил: напротив, ни одно из открытий в этой области не было ему чуждо. Он зорко следил за ростом шоколадного производства. Он первый выписал в департамент Нижняя Сена коку и реваленцию. Гидроэлектрический пояс Пульфермахера он приветствовал с энтузиазмом, сам носил такой пояс и вечером, когда снимал фланелевую фуфайку, госпожа Гомэ бывала совершенно ослеплена золотой спиралью, под которой исчезало его тело. И чувствовала, как любовь ее возрастает к этому человеку, опутанному повязками, как скиф, и великолепному, как маг.

Ему приходили в голову прекрасные проекты памятника на могиле Эммы. Вначале он предложил обломок колонны с драпировкой, потом пирамиду, потом храм Весты, род круглой колоннады... или же просто «грудю развалин». Во всех этих планах он не отступал от одного общего мотива — плакучей ивы, считая это дерево обязательным символом скорби.

Шарль и он ездили однажды в Руан, чтобы осмотреть надгробные памятники у монументного мастера, — в сопровождении живописца по имени Вофриляр, друга Бриду, который все время отпускал шуточки. Наконец, пересмотрев сотню рисунков, заказав надпись и съездив вторично в Руан, Шарль остановил свой выбор на мавзолее, лицевая сторона которого должна была быть украшена изображением «гения с потухшим факелом в руке».

Что до надписи, Гомэ находил, что нет ничего прекраснее двух латинских слов: «Остановись, прохожий», но никак не мог сочинить продолжения, как ни напрягал мысль, повторяя без конца: «*Sta, viator*»... Наконец придумал: «*amabilem coniugem calcas*» (то есть «прах топчешь супруги любезной») — и это было одобрено.

Странно: Бовари, ни на минуту не перестававший думать об Эмме, забывал ее; и он приходил в отчаяние, чувствуя, что милый образ

ускользает из его памяти, как он ни силится его удержать. Каждую ночь, однако, он видел ее во сне; и сон был всегда один и тот же: он приближался к ней, но когда хотел обнять ее, она рассыпалась в прах в его объятиях.

В течение целой недели по вечерам видели его идущим в церковь. Бурнизьен даже навестил его два или три раза, потом бросил. Впрочем, аббат склонялся все более и более к нетерпимости и фанатизму, по словам Гомэ: он метал громы против духа времени и раз в две недели упоминал с церковной кафедры об агонии Вольтера, который умер, как всем известно, пожирая свои экскременты.

При всей бережливости, Бовари не в силах был погасить старых долгов. Лере отказался отсрочить платежи, хотя бы по одному векселю. Опись имущества была неминуемой. Тогда он обратился к матери, которая разрешила ему достать денег под закладную ее имения, но при этом осыпала Эмму обвинениями и в награду за приносимую ею жертву просила, чтобы ей прислали шаль, уцелевшую от хищений Фелисите. Шарль отказал. Они поссорились.

Она сделала первые шаги к примирению, предложив взять к себе девочку, которая была бы ей утешением в ее одиночестве. Шарль согласился. Но в минуту разлуки мужество его покинуло. Тогда последовал окончательный, полный разрыв.

По мере того как исчезало все, что он прежде любил, он все теснее привязывался к ребенку. Но девочка беспокоила его: по временам она кашляла и на щечках у нее горели красные пятна.

А через улицу жила цветущая и веселая семья аптекаря, довольству и преуспеянию которого служило, казалось, все на свете. Наполеон помогал ему в лаборатории, Аталия вышивала отцу ермолку, Ирма вырезывала из бумаги кружки для банок с вареньем, а Франклин одним духом прочитывал наизусть всю таблицу умножения. Гомэ был счастливейший из отцов, благополучнейший из смертных.

Увы, то было заблуждение! Его грызло глухое честолюбие. Гомэ жаждал получить орден. Заслуг у него было более чем достаточно:

1) в эпоху холерной эпидемии выказал безграничное самоотвержение;
2) на свой счет напечатал несколько общепользных трудов, как-то... (он имел в виду исследование «Сидр, его выделка и его действие на организм»; затем посланную им в академию заметку «Наблюдение над травяною вошью»; далее, книгу по статистике, и, наконец, свою диссертацию на степень фармацевта); притом состоит членом нескольких ученых обществ (на самом деле только одного).

— Наконец, — восклицал он, делая пируэт, — достаточная заслуга

хотя бы то, что я не раз выделялся энергией при тушении пожаров!

Политические симпатии Гомэ начали склоняться к правительственной партии. Он тайно оказал господину префекту большие услуги во время выборов. Наконец, он начал торговать собой. Он написал даже прошение на монаршее имя, умоляя оказать ему справедливость; называл короля «нашим добрым королем» и сравнивал его с Генрихом IV.

Каждое утро аптекарь набрасывался на газету, ожидая встретить свое имя в разделе о наградах. Но ожидаемое пожалование все медлило. Потеряв терпение, он приказал вывести в саду по газону звезду Почетного легиона с двумя кусочками травы у ее вершины, изображавшими ленту.

Он прогуливался вокруг звезды, скрестив руки и размышляя о неспособности правительства и о неблагодарности людей.

Из уважения ли к жене или из особого рода чувственности, побуждавшей его замедлять последние розыски, Шарль не решался до сих пор открыть потайной ящик в палисандровом бюро, служившем обычно Эмме. Наконец однажды он уселся перед ним, повернул ключ в замке и нажал пружинку. Все письма Леона оказались там. На этот раз сомнения не было. Он жадно прочел их все до последнего, перерыл все уголки, искал в мебели, в ящиках, под обоями, рыдая, воя, ошеломленный, обезумевший. Нашел какую-то коробку и вышиб в ней крышку ногою. В глаза ему бросился портрет Родольфа среди переверорощенных любовных записок.

Все удивлялись его безнадежной угнетенности. Он перестал выходить, никого не принимал и даже отказывался посещать больных. Тогда стали ходить слухи, что он запирается и втихомолку пьет.

Порою какой-нибудь любопытный заглядывал через высокую изгородь сада и с изумлением видел там человека, обросшего бородой, в грязной одежде, с диким выражением лица, который ходил по саду и плакал навзрыд.

Летом по вечерам он брал за руку свою девочку и вел ее на кладбище. Возвращались они уже поздней ночью, когда все огни на площади были потушены и светило только оконце Бинэ.

Однако его упоение горем было неполно, так как близ него не было никого, с кем бы он мог им поделиться; и он стал ходить к старухе Лефрансуа, чтобы поговорить о ней. Но трактирщица слушала его одним ухом: у нее были свои неприятности; Лере учредил наконец свою линию дилижансов, под фирмой «Кареты Торгового посредничества», и Ивер, славившийся аккуратным выполнением поручений, требовал прибавки жалованья, грозя в случае отказа перейти к «конкуренту».

Однажды, когда Шарль поехал на Аргельский рынок продавать лошадь

— свое последнее достояние, — он встретил там Родольфа.

Оба побледнели, увидя друг друга. Родольф, приславший только свою визитную карточку, пробормотал какие-то извинения, потом расхрабрился и довел свою самоуверенность до того, что предложил ему распить бутылку пива в кабачке. Стоял август месяц, и было очень жарко.

Облокотясь на стол, Родольф жевал сигару и болтал, а Шарль погрузился в мечтание, глядя на это лицо, которое она любила. Ему странно мнилось, что в этом человеке он улавливает частицу ее самой. Непонятное чувство он испытывал: ему хотелось быть этим человеком.

А тот продолжал говорить о посевах, о скоте, об удобрениях, затыкая повседневными фразами все щели и трещины, через которые мог бы проскользнуть какой-нибудь намек. Шарль не слушал его; Родольф видел это и следил за мыслями собеседника по изменениям его лица. Оно мало-помалу краснело, ноздри раздувались, губы дрожали; была минута, когда Шарль с такою мрачною злобой остановил взгляд свой на Родольфе, что тот в безотчетном испуге вдруг умолк. Но вскоре та же смертельная усталость запечатлелась в чертах Шарля.

— Я на вас не сержусь, — сказал он.

Родольф онемел. Шарль, захватив голову обеими руками, продолжал слабым голосом с покорностью безграничной скорби:

— Нет, я на вас больше не сержусь! — Он произнес даже, впервые в жизни, пышную фразу: — Во всем виновата судьба.

Родольф, руководивший этою судьбой, нашел, что Шарль слишком добродушен для человека в его положении, смешон и даже немного гадок.

На другой день Шарль пошел посидеть в беседке на старой скамье. Солнечные пятна пробивались сквозь трельяж; виноградные листья рисовали на песке свои тени, благоухал жасмин, небо синело, шпанские мухи жужжали вокруг цветущих лилий, и Шарль задыхался, как юноша, от смутного любовного волнения, наполнявшего его горестное сердце.

В семь часов вечера маленькая Берта, не выдавшая его с полудня, пришла сказать ему, что обед готов.

Голова его упиралась в стену, глаза были сомкнуты, рот раскрыт; он держал в руке длинную прядь черных волос.

— Иди же, папа, — сказала она. И, подумав, что он с нею шутит, она слегка его толкнула. Он упал на землю. Он был мертв.

Тридцать шесть часов спустя, по просьбе аптекаря, прискакал доктор Канивэ. Он произвел вскрытие и ничего не нашел.

По распродаже имущества очистилось двенадцать франков семьдесят пять сантимов, которых барышне Бовари хватило на проезд к бабушке.

Старуха в тот же год умерла; деда Руо разбил паралич, и девочку приютила у себя тетка. Она бедна и посылает ее зарабатывать кусок хлеба на хлопчатобумажную фабрику.

По смерти Бовари в Ионвиле переменились три врача, и ни один не мог ужиться: до такой степени тотчас же забивал их Гомэ. У него адская практика; власти смотрят на него сквозь пальцы, а общественное мнение к нему благосклонно...

Недавно он получил орден Почетного легиона.



Мало-помалу опасения Родольфа сообщились и ей. Любовь опьяняла ее вначале, так что она ни о чем другом не думала. Но теперь, когда она уже не могла жить без этой любви, она боялась утратить из нее хоть что-нибудь, хоть чем-нибудь возмутить ее. Возвращаясь от Родольфа, она бросала кругом беспокойные взгляды, всматриваясь в каждую темную тень на горизонте, в каждое слуховое окно на деревне, откуда ее могли увидеть. Прислушивалась к шагам, крикам, грому ханю плугов и останавливалась, помертвевшая и трепещущая, как листья тополей, колымавшихся над ее головою.

Первый том коллекции
распространяется
бесплатно только вместе
с экземпляром газеты
«Комсомольская правда»